

ГРАНИ

GRANI

243-244

2012

Juillet – Décembre

*Легко и радостно жить тому, кто ищет
в других хорошее, ищет и находит.*

*Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить светлые
границы души. Но для этого он прежде всего
в самом себе должен раскрыть их, должен
стремиться к совершенствованию.*

Каждый человек – часть органического целого, человечества. Совершенствуется часть – совершенствуется целое.

*Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству стать на тот
же путь.*

А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову, — Слову Правды.

*Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.*

Edmund

ГРАНИ № 1, 1946

...Мы жили на этой земле, не давайте ее
в руки опустошителей, пошляков и невежд.
Мы – потомки Пушкина, с нас за это спросится...
Константин Паустовский.
Из завещания



Журнал основан в 1946 году

Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,

Б. В. Серафимов

1947–1952 Е. Р. Романов

1952–1955 Л. Д. Ржевский

1955–1961 Е. Р. Романов

1962–1982 Н. Б. Тарасова

1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984–1986 Г. Н. Владимов

1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года

Издатель и Главный редактор

Татьяна Жилкина

Москва–Париж–Мюнхен–

Сан-Франциско

Г Р А Н И

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL

Год LXVII

№ 243–244

2012

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ТРЕТИЙ ВЫПУСК
ЮБИЛЕЙНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СБОРНИК

ТОМ II

Составители:

Николай Панченко и Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:

Виктор Кузнецов, Елена Левина, Ольга Постникова,
Варвара Шкловская-Корди

Тарусские страницы. Ассоциация «GRANI». L' association «GRANI». Paris. 2012. 174 с.; цв. вкладка.

Первый выпуск сборника «Тарусские страницы» в 1961 году с благословения и при участии писателя Константина Паустовского стал поистине событием в литературной и общественной жизни России.

Второй – «Тарусские страницы. Тридцать лет спустя» был собран в 1991 году.

Двенадцать лет редколлегия альманаха тщательно боролась с капитализацией книжного рынка в стране. Сборник был издан русским литературным журналом «Грани» в 2003 году за счет его зарубежных подписчиков и счастливо повторил судьбу Первого – разошелся мгновенно, в том числе и за рубежом: США, Франция, Великобритания, Швейцария, Германия, Канада и другие страны.

Рождение Третьего выпуска – это не просто дань полувековому юбилею и памяти замечательным писателям, для которых «Тарусские страницы» стали судьбой, но и живая нить лучших традиций русской литературы, протянутая через десятилетия в XXI век, в наше такое непростое время.

Татьяна ЖИЛКИНА



Памяти ушедших,
тех, кто был причастен
к изданию трех выпусков
«Тарусских страниц» –
посвящается

«Т.С.» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Детство и царство

Отец Владимир ЗЕЛИНСКИЙ*

Время «умаления»

Предлагаемые заметки – вступление к книге о детстве, которую мне хотелось бы написать. Уже почти закончив их, я неожиданно наткнулся в интернете на рассказ давнего и близкого моего друга. И понял его, как всегда, с полуслова. С его рассказа я и решил начать.

«...друзья в институте в первый раз мне предложили почитать Евангелие. Тогда это было очень трудно, обычно его давали всего на одну ночь, больше не могли дать. Я прочитал и понял, что это правда, все, что в нем написано, – правда. И тут же последовал внутренний вопрос: «Какое это имеет отношение к тебе? Ну, конечно, имеет. Но, может, не сейчас? Так много вокруг интересного, так много, чего еще хочется попробовать и испытать, – наверно, надо потом».

Так я решил для себя. Но это я решил, а Господь решил по-другому. Потому что сначала молодость, жизнь, женитьба меня привели к тому, что я как бы об этом забыл, хотя все время помнил, что есть вопрос, на который я не дал ответ.

И вот у меня родился сын. Когда я первый раз его увидел, ему было несколько дней всего, и мы встретились глазами, я чуть не упал в обморок, потому что я увидел живой взгляд, в нем было столько любви, столько благодарности, что я понял, что больше нельзя тянуть, что надо немедленно давать ответ на этот вопрос.

...В эти самые первые суматошные дни – как это бывает, когда первенец дома – я несколько дней провел в церкви: сидел, молился и понял, что больше так нельзя, нужно отвечать. Если есть призыв, то тянуть дальше и говорить: «Нет, потом, когда-нибудь...», – будет предательством. Ну и поскольку это было какое-то решение, то с этого момента началась другая жизнь. Крещение пришлось еще не скоро, прошел почти год, месяцев

восемь или девять, но с этого момента началась другая жизнь. И она длится по сей день».

Когда ребенок, в минуты покоя, глядит на тебя, кажется, он передает чье-то вопрошание. Это случается редко. Вдруг ты ощущаешь, что Кто-то всматривается в тебя глазами Своего творения. Его взгляд не передает иного противостоящего «я», до которого еще надо вырасти, подняться на общезначимую поверхность из какой-то скрытой, светлой, не ясной нам глубины. Встречаясь со взглядом ребенка, воспринимаешь его как дар или призыв. Он обращен к тебе, здесь и сейчас.

В предразумной стадии его взгляд иногда поражает недоступной нам полнотой знания. Он соотносится не с тем, что впереди, но с тем, что позади, с пребыванием в утробе... *Несоткрыты от Тебя были кости мои, когда я создаем был втайне* (Пс.139). И эта несокрытость «взирания Божия» проступает в глазах новорожденного. И просит, вызывает – о благодарности.

Благодарность – первый и самый глубокий корень нашей веры. Второй – очищение себя для Бога и покаяние за неумение благодарить.

По одному из иудейских поверий, в утробе матери ребенок изучает Тору. То есть познает Бога. А потом, когда рождается, Ангел Божий стирает в нем эту память. И мы в новорожденных ощущаем этот след изначальной мудрости, не до конца еще стершийся, не вполне забытый.

Может быть, в пред-сознании ребенка свернуто нечто, что нам недоступно? Во взрослой жизни часто кажется: забытое окликает нас. Отсюда у самых догадливых и великих возникают теории познания как воспоминания: у Платона или Хайдеггера... Здесь же источник творчества (поэзии, музыки) как пробуждения памяти. Не той взрослой, грузной доверху нашим «я» и продавливающей под его весом, но скорее общин-

* Православный священник, философ, богослов. Родился в Ташкенте, в эвакуации, в 1942 году. С 1943 жил в Москве, с 1991 – в Италии. Окончил филфак МГУ. Автор книг «Взыскую лица Твоего», «Наречение имени», «Открытие Слова», «Приходящие в церковь» и других. Активный участник множества международных религиозных форумов, конгрессов, конференций. Его перу принадлежат сотни статей по самым смелым богословским и одновременно остро современным вопросам. Пишет по-русски, по-французски, по-итальянски и по-английски. Служит в г. Брешиа (Северная Италия). Преподает в местном университете.



ной прапамяти, в день творения познавшей Бога, увидевшей Лик Его...

«**Дивно для меня ведение Твое**». Всякий раз, когда перечитываю 138 псалом, оказываюсь с этим ведением лицом к лицу. Словно жаркий мороз по сердцу. Куда там Платон или иной мудрец, книжник и совопросник! Устами Давида Бог рассказывает о Своей «работе», о том, как дело Его совершается в *глубине утробы*, о том, как *ведение* облекается костями, наполняется днями жизни, не оставляет нас ни на миг. И если некогда это ведение физически, плотью вошло в нас, неужели оно исчезнет, когда не будет плоти?

И «**вечная память**» — не означает ли возвращения в это *дивное ведение Твое*, сотворившее нас, вошедшее в нашу жизнь и где-то живущее в нас. И разве не со встречи с *дивным ведением* начинается вера? Раннее детство напоминает нам об этой не до конца проясненной связи, между «до» и «после» человеческой жизни.

Загадка Евангелия. *В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает* (Мф.18,1-4).

Обратиться — в кого? Отцы говорят: если не станете кроткими, послушными, смиренными, невинными как дети, не войдете... Однако у детей вовсе нет таких свойств! Взрослым надлежит умалиться, а детям радоваться и расти! И обращение в детство взрослых в устах Слова Божия, через которое все пришло в бытие, не всегда означает только лишь нравственное стяжание первозданной невинности. Может быть, Христос говорит о чем-то более существенном: о возвращении в эту первозданность, в замысел Творца о каждом из нас, который так явно сквозит и тайно светит через *дитя*? Умаление требует осознанной направленной воли, обращение — это как удар благодатного луча в сердце.

Все последующее — лишь робкая попытка разгадать евангельские слова. Даже не разгадать, а просто побыть около них, согреться от «славы» их. То «дитя», которое призвал Иисус, остается невидимой мерой и точкой отсчета нашего существования. И даже евангельским таинством его. К участию в нем призван каждый человек. Оно не зависит от нашей церковности, но по-настоящему мы прикасаемся к нему лишь в Церкви. При этом открывается оно по-разному; по-своему отрочеству, едва оторвавшемуся от своего начала, по-иному — зрелости, отошедшей от детства на дальней

расстояние. Толстой где-то писал: от меня сегодняшнего до меня пятилетнего — один шаг. От меня пятилетнего до меня новорожденного — огромное расстояние.

Огромное расстояние пробегает наша интуиция или память, когда начинает искать себя «за гранью прошлых дней», за оградой оставленного нами Царства. Путь к нему прокладывается *только верой*. Но верой юной, умеющей, не задумываясь, принять Христа в «малых сих»: *И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких во имя Мое, тот принимает Меня; а кто Меня принимает, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня* (Мк.9,36-37).

«**Кто примет это дитя во имя Мое...**» А если понять буквально? Личность ребенка заключает в себе имя Сына Божия. Имя начертано на нем: на чуде, тайне его творения. Вочеловечение: плоть становится носительницей имени.

Богословие детства. Перед нами, по сути, твердое и развернутое учение. Сложившееся богословие детства, забывшее «почему-то» о грехе Адама. Святость детскости не только провозглашается здесь, но и является делом. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: *пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне. И, возложив на них руки, пошел оттуда* (Мф. 19,13-14).

Жизнь Самого Иисуса, как не вспомнить об этом? — началась именно с самого радикального «непринятия» — истребления Вифлеемских младенцев. Мог ли Он не помнить об этом, не ощущать кровную связь с убиенными детенышами? И не оттого ли категоричность Спасшегося, Уведенного в Египет: *ибо таких есть Царство Небесное?*

«...**вопреки всякой внешней очевидности** (дети, заколотые в Вифлееме — В.З.) признаются Церковью мучениками Христовыми, с Ним и за Него пострадавшими. Здесь указывается наличие этой таинственной связи, соединяющей Христа с человечеством в избранном Его народе. Однако такая связь одним этим случаем не ограничивается и не исчерпывается...» (О.Сергий Булгаков, *Христианство и еврейский вопрос*).

Но и за пределами этой первой загадки (связи Христа с Его народом) есть еще большая загадка, главная: связи Христа, Сына и Слова Божия, со всяким человеком, грядущим в мир. 139 Псалом Давида многими Отцами толковался христологически: зародыш, *созидаемый втайне*, — Сам Господь. Он возникает во всяком человеке, запечатлевает на нем Свой образ до рождения, Он узнается верой, но чаще остается неузнанным до самой кончины, Он *изображается* в нем (см.Гал.4,19),



но также и распинается. Но при этом дарует ему Себя, окликает Собой – из детства или из Царства.

Мать, кормя грудью, разговаривая с младенцем, рассказывая ему сказки, живет верою, ибо вера есть глубина общения. Пророк говорит: *праведник жив верою*. Материнство не только естественно, но и в библейском смысле праведно, ибо: *женщина спасается чадородием*. Чадородие есть исполнение веры, пусть даже и не исповеданной, в благость Божию, служение вести Божией, *иносказание* ее в комочке человеческой плоти.

Принять дитя – принять Иисуса. Даже и буквально: личность ребенка скрывает в себе лик Сына Божия. Собственно, тайна вочеловечения именно здесь: Слово становится плотью, плоть делается носительницей Слова. Плоть ребенка не безгрешна, просто грех еще не проснулся в ней.

Детство (как и Царство) есть время свободы, не связанности прошлым, ненавязанности выбора. Время наибольшей даруемой нам открытости Богу и творению Его.

Обратиться – значит и обернуться на прошлое. Не мыслью только, но всем сердцем и всей крепостию вспомнить себя в Царстве. И, вспомнив, обрести его «внутри вас», в себе.

Войти в Царство – прежде всего умалиться. Образы Царства всегда возвращают нас к чему-то малому. *Царство Божие подобно зерну горчичному...* Горчичное зерно таит в себе образ нашего «я», еще не прикоснувшегося к сознанию.

Обратитесь к подлинному изначальному детству, которое даровано Мною, – так можно понимать слова Иисуса, ибо прямо за лугом твоего детства начинается *Мое Царство*. За пределы этого луга нам пока не переступить (как сказано: *не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его* – 1 Кор.2,9), но вот к неистоптанному лугу, хоть он и далек, мы, *обратившись*, еще можем приблизиться. Едва вступив в эту близость, мы все яснее начинаем ощущать внутреннюю связь между всеми заповедями Иисуса, всеми словами, внешне как бы совсем разрозненными. *Умалитесь, пребудьте в любви моей, кто не собирает со Мною, тот расточает...* Какие-то живые скрытые нити соединяют одни слова с другими, складываясь в единый образ святости.

В святом исчезает средостение между взглядом Божиим и его душой. Душа становится неопалимой купиной в этом вошедшем в нее взгляде. Отсюда слезы покаяния, «томление томящего» (св.Серафим), Иисусова молитва... Это у взрослого. А ребенку присутствие Бо-

жие дается через мир Божий, то есть даром, через предметы, в удивлении перед ними.

Собирает ребенок, расточает взрослый. Точнее в ребенке все уже собрано от начала и заключено в образе Божиим.

То, что тайно светит ребенку, погасло для нас. Не отсюда ли изобретенный Платоном образ знаменитой пещеры, стены которой отражают отблески истинных вещей?

Детство не измеряется годами. Оно мелькнет и спрячется в ребенке и раскрывается в святом. Святость, в сущности, полнота детства.

Если не будете, как дети... Исполните сию заповедь, войдете в Царство, не исполните, ждите и уповайте на милость... Ибо каждый ребенок – это совершенно ясный, отчетливый, обращенный к нам язык любви Божией. Этот язык нужно не только услышать, ему нужно научиться, чтобы любви ответить.

«Уход» из детства

Созидание «я». Где пролегает рубеж между собиранием и расточением? Детством и взрослостью? Рильке сказал: «Наша судьба есть сгусток нашего детства». Оно так и не так. Ибо то, что называется «судьбой», есть и вырождение детства. Она есть, в сущности, собирание нашего «я», образующегося от наших решений, помыслов, желаний, выборов. И тут, как говорится, «Бог и дьявол борются и поле битвы сердца людей». И тела их – поле битвы и дела, и работы, и книги, и проекты, и великие империи... Чем крепче и выше создаем мы свое «я», чем успешнее складывается его карьера во взрослой жизни, тем мы дальше от начала, из которого *все начало быть*.

Из греха происходит обособление как норма жизни. «Я», разрастаясь, отделяется от людей, мира, предметов. Возводит стены вокруг себя и образовавшееся пространство чем-то хочет заполнить. Жизнь в «поте лица», труд, рост, власть, успехи, накопление или обида на то, что ничего этого нет. Все это мы «оприходуем», забираем во внутреннее хозяйство. И никак заполнить себя не можем. А в начале жизни та искомая нами полнота дается сама собой. Но потом тает.

Разум и пол. Из чего складывается взрослое «я»? Из развития двух начал в человеке – рационального мышления и полового инстинкта. Мышление представляет прежде всего среду, в которой мы живем, ибо разум – полномочный посол внешнего, упорядоченного без нас мира, он безличен и вместе с тем сугубо индивидуален. Он как мина с часовым механизмом, кото-



рая заложена в каждого. Тело рождается со своей готовой программой, и она предусматривает не просто перестройку, но некий взрыв, который должен неизбежно произойти. Конечно, стрелка биологических часов движется очень медленно, так что ребенок не знает, когда именно он «взрывается», превращаясь во взрослого. Но душа его принимает очертания взрыва и покоряется ему. После взрыва мы уже иные, мы выходим из него обезображенными, или изредка – преображенными. Взрослость начинается раньше, чем кончается детство.

Адам, «став разумным», вкусив яблока познания добра и зла, тотчас заметил чужую и свою наготу. А ребенок наготы не видит, не знает ее. Стало быть, еще не дорос, не дотянулся до того яблока? Не осознал, что именно оно – самое вожаденное из плодов? Но вот просыпаются разум и пол, и переплавляют в себе младенческую нашу личность, формируют новую и действуют заодно. Они и принимают на себя все последствия первородного греха. Но когда разум еще не развился, а пол не выпустил своего жала, где пребывает он, первородный грех?

«Где?», «когда?», «в чем?» – не знаем. Хотя можем по опыту и догадаться. То, в чем изменил, как-то дается в опыте, что растоптал – тоже, изменил кому? – ясно... Но вот когда? Когда? А если ты с ранних лет в посте, молитве и целомудрии? Постригаемый в монашество исповедуется в молитве: «блудно мое изжих житие». Но нельзя не верить, сила скорби и покаяния ругается за правду. Где-то, когда-то я предал и расточил то, что было дано мне Богом, и рая нет со мной.

Меня поражала сосредоточенность на искушениях плоти, которую мы встречаем в писаниях великих подвижников. Никак ее разумно не объяснишь. Вот протестанты, скажем, подошли к делу рационально: сей инстинкт – часть нашей естественной, тварной человеческой природы. Природа ненасытно жаждет того, что ей от начала положено, так надо ее накормить, погасить разгоревшееся в ней пламя во влажной теплоте «честного и нескверного ложа». Но если не гасить, остаться с пламенем наедине, попытавшись переменить изнутри его «субстанцию»? Огонь будет жечь, и всякое прикосновение его ощущается как падение. Отсюда интенсивность, почти навязчивость покаяния в том, чего обычный, насытивший природу человек просто не ощущает. Потому что в либидо – корень земной, телесной, душевной личности. *Сеется тело душевное, восстает тело духовное*. И восстает оно из побежденного пола, возвращаясь, «обращаясь» в царственное детство.

Красота укрощенного пола – в православии, католичестве, даже в буддизме. Правда, укрощение дости-

гается всякий раз по-разному. В православии аскезой, духовным деланием, изоляцией, «невидимой бранью»... В католичестве, религии более взрослой и волевой, брань против плоти и крови совершается прежде всего дисциплиной внешней и внутренней, самоконтролем, усилиями разума. Но победа при этом ни тем, ни другим, ни третьим отнюдь не гарантирована...

Секрет индивидуальности неразрывно связан с полом. Он выстраивает личность, но и умножает маски ее. Маски гордыни, иронии, агрессивности, превозношения, тщеславия, «любоначалия, змеи сокрытой сей...».

Но разве детство безгрешно? Связь между ним и грехом, их сочлененность между собой остаются величайшей загадкой, до сих пор не решенной. Кто прав, Запад, утверждавший, что грех передается как болезнь вместе с зачатием – *во гресех роди мя мати моя* (Пс.50), или Восток, оставляющий за детством некоторое незапятнанное еще пространство, тот луг духовный, который странным образом сам собой увядает, усыхает, как только «откуда-то», вдруг является грех.

Пастернак: «Он отказался от противоборства, как от вещей полученных взаймы...». Суть взрослости – в противоборстве действия, разума, логики, карьеры, одних благих намерений, противоборствующих другим...

Может быть, первородный грех вырастает именно из этого корня? И быть как дети, значит умалиться до непротивоборства, до изначального «я», до того дара, который был в тебе «от начала», от щедрости Божией?

Жестокость детства. Во взрослом она бывает чудовищна, как чудовищна всякая «естественная» жестокость животного в разумном существе. Отрывание крыльев у бабочек, выкалывание глаз или отрубание рук у людей...

И вместе с тем сострадание. Помню, как моя дочь всякий раз умела находить на помойке старого клоуна, вконец износившегося и выбрасываемого за ненадобностью, приносила домой, купала его, мыла, лечила, одевала заново, пыталась накормить...

Жестокость и жалость остаются и во взрослости, но неизменно тяжелеют.

Единственная мысль, которая мне пригодилась у Фрейда: Ребенок не чист, он еще не дорос (не дожил или не доразвился) до своей чистоты.

Вера детей

...**Почитание Богородицы** в православии преисполнено неизгладимым присутствием детства. Словно «дитя», которое призвал Иисус, оставшись без Него, не престанно зовет Его и Мать, и этот вечный его зов на-



ходит для себя все новые образы, обращения, личные, ласковые имена. Ибо ребенок – творец. Среди прочих христианских вер Восток более всего сохранил в себе эту первоначальную творческую детскость. Икона, когда она подлинна, открывает детское восприятие рая, в котором просыпается гениальность. Как лучше мы можем передать догмат о «Троице», если не метафорой Трех Ликов, безмолвно и любяще повернувшихся друг ко другу? Икона создает и передает сам воздух общения-молчания. Три Небесных и Равных Существа словно внезапно отстранили пелену невидимого, пришли к нам, и нас как будто коснулось Их дыхание.

Из жития преп. Серафима вспоминается игра с детьми. Не плавно-сладко-поучительная беседа о Боге, а просто игра, кажется в прятки, которая была не «проведением времени», пока родители готовились к исповеди, а, видимо, доставляло святому нескрываемое удовольствие. Лето, трава высокая, я тут спрячусь, а ты попробуй найди. В человеке, чье существование было пронизано Богом в каждое мгновение, игра должна была быть еще одним образом общения с Тем, Кто сотворил Серафима, свет, детей, небо, землю, траву и позволил играть на ней.

Не было двух Серафимов, один тысяченощный на камне с молитвой Иисусовой, «без числа согреших», другой на лугу, прячущийся в траве. Был один, названный преподобным. Подобие (кому? ангелам? детям? делам Божиим?) – оно и во всем подобие и потому неделимо.

Всякая религия – дело взрослых, умных, грешных, осмотрительных, желающих надежно застраховаться. У детей еще нет религии, а есть нечто иное, то, что еще не нуждается ни в обряде, ни в твердом понятии, то, что дается непосредственно, здесь и теперь. И «здесь» моей жизни еще не отделено стеной от «не-здесь» жизни тамошней, а «теперь» – от того мира, где *времени больше не будет*.

Пусть так, возражают нам, но детскость не может быть навязана, одно дело – лепет питающихся молоком, другое – язык прибегающих к твердой пище.

Эта гениальная наивность древних текстов: «Аще и во гроб сошел еси, Бессмертне, но адову разрушил еси силу...» И эта натужная игра взрослых в детей в новейших акафистах и кондаках. Какое-то намеренное впадение в детство, обязательное для всех.

Детскость здесь основана на отождествлении опыта, приобретенного аскезой с даровым духовным опытом, посылаемым ребенку. В православии практически нет никакого символизма, все реально, как реальна игра и вера, ибо ничто не указывает на нечто, что сто-

ит за спиной внешнего знака и за ним прячется, ибо нет внешнего, есть единое, есть целостное.

Иисус из Назарета против Иисуса, сына Сирахова. Книга последнего была любимым чтением древней Руси. Но это, увы, мудрость старения. Отец хочет оставить свое продолжение в сыне. И этого сына он должен вылепить как сосуд. *Лелей дитя, и оно устрашит тебя, играй с ним, и оно опечалит тебя* (30,9).

Все это нужно для земного родового бессмертия. *Умер отец и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе* (30,4).

Подобного в чем? В добродетели, мудрости, власти, осмотрительности, тлении. Не умаление, но сохранение своего «я» в потомстве. Мудрость Иисуса, Сына Давидова: восстановление изначального человека в Царстве, уготованном для него.

Ему вторит ап. Павел: *Ибо Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и неразумное мира избрал Бог, чтобы посрамить разумных...*

Правило веры и образ горести: *Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди* (Пс.130,2).

Причастность. Когда душа в человеке только просыпается, она нащупывает это затаенное «ты» вещей и вступает с ними в беседу, как одно творение с другим. Это то, что хотел выразить Бубер своей философией отношений «Я-Ты» и «Я и Оно». Это можно заметить даже в детской речи. Проследуем дальше и услышим, как Слово, через которое все, что начало быть, обнаруживает себя в этом общении тварей. А затем начинается мир «оно», имеющий терпкий вкус съеденного, когда-то отравленного яблока. И сам Бог, отвлеченное понятие, покоряется законам этого мира.

«Нездешние, верные сны»

Гений. Помню высказывание Шиллера: всякий гений наивен, иначе он не гений. За пределами общих мест, означает ли это, что гений – непременно ребенок? В том смысле ребенок, что он открывает в себе неистраченный запас доверия, который лежит и в основе детской веры. Доверия к ассоциациям, впечатлениям, памяти, всему тому, что взрослый содержит на обочинах сознания? Ибо то, что выбрасывают взрослые, годится для игры детей. Наивность не боится выйти за поставленные разумом пределы. Она – в том, чтобы брать, не спрашивая то, что лежит под ногами, то, за чем только руку протянуть.

Новорожденный несет собой язык, на котором Бог говорит с нами. Можно и смелее: он *есть* тот язык, если



сумеешь его понять. Если ты не веруешь текстам, обрядам, догмам, встречам, никаким посылаемым тебе знакам, доверься славе Божией, о которой вещают дела рук Его.

Из уст младенцев Ты устроил хвалу. Ту хвалу надо услышать в самом первичном, до-истолковательном смысле: «уста младенцев» суть гусли Господни.

Где еще есть такая близость к чуду творения, как в русской поэзии? «И как в неслыханную веру я в этот сад перехожу». Это сад, из которого мы некогда вышли и куда не вернулись. В этом саду – почти весь Баратынский, и почти весь Фет, и Тютчев и, как ни удивительно, Бродский. Сейчас этого стали стесняться. Но попробуйте выгнать Фета из того сада, и выйдет помещик Шеншин.

Весь Хлебников – словно нетронутым взрослостью вышел из младенчества, почти лишенного рефлексии о себе самом, вспомнившего о своей гениальности. Потому что исток поэзии – догадка и воспоминание.

Кузнецик в кузов пуза уложил

Прибрежных много трав и вер...

Почему «вер»? А потому что дети знают, только не скажут: прибрежные травы исповедуют свою веру, а лесные свою... Здесь не игра в детей, но мгновенное возвращение изначального восприятия фрагмента мира.

Измученность: «там, где жили свиристели, где качались тихо ели, пролетели, улетели, стая легких времий...» Это и есть младенческое сознание: время овеществляется, пролетает над нами легко, слегка касаясь елей и нас...

«У колодца расколоться так хотела бы вода...» Твердо знаем: вода падает, потому что повинуется закону тяготения. Ребенок видит иначе: не вода покоряется, а сама хочет, потому что живая и живет рядом, в нашем взгляде и слухе, но субстанция ее жизни не повинуется правилам нашего дневного сознания, а скорее живет по правилам сна. Лучшее у Хлебникова то, что может неожиданно присниться. Как «закричальность зари». «О, расмейтесь смехачи!». «О, Достоевскиймо бегущей тучи».

Слова еще не застыли во всеобщих смыслах, они абсолютно, по-детски личностны, они передают нам тайну первого контакта с вещью и вводят нас в общение с нею...

«Словарь языкового расширения» А. Солженицына – попытка прорваться в детство слов через взрослое ремесло, языковое трудничество, но отнюдь не мгновенная встреча с реальностью, которой незачем раскапывать слова, они даются и отдаются такими, какие есть.

Дело поэта – довериться детским словам и вещам, прислушаться к речи воды, которая и течет и снится.

«Серый язык воды» (И. Бродский). «Серый мозг воды» (А. Тарковский). «И было чуть светлей от запаха воды...» (О. Седакова). Или давнее, лермонтовское:

«...расскажам волн кочующих внимая, а море Черное шумит, не умолкая». Дар поэтического детства – внезапность, точность и неожиданность общения, слух к окликанию предметов.

Отчего бы нам, безнадежно повзрослевшим, не собраться, чтобы встретиться в этой навсегда ушедшей близости детства, общей для всех людей? Разве все воспоминания, при всем бесконечном их разнообразии, не сводятся, в сущности, к одному – тому, как Бог явил Себя миру и нам? Этот миг остается с нами, откладываясь в копилке Царства.

Память освобождает от скованности временем. Поэт, подняв голову, видит, как легкое, сказочное время летит над елями. Есть детские, царские слова, которые взлетают за ним следом. Они заставляют нас вспомнить то, что давно стерлось и больше не вернется. Не представить воображением, но именно прикоснуться в памяти к тому, что всегда было с нами и где-то хранилось. Воспоминание взрывает иногда целый пласт неведомого и до срока щедро и неожиданно, дарит нам то, чего *не видел... глаз, не слышало ухо, и не приходило... на сердце человеку...*

Талант есть среди прочего оттаивание памяти, умение растопить этот замерший, онемевший, погрузившийся в немоту язык и дать ему выговориться, разговориться. Подобно нотам, немым на бумаге, но приходит «имеющий уши» и музыка проливается через него...

«Только детские книги читать, только детские думы лелеять...» Поэт собирается приступить к недетской работе стихосложения и перебирает струны, настраивает свою уже недетскую отяжелевшую лиру. Он отлично помнит о своей только что приобретенной взрослости, но собирается от нее избавиться и работать «по детской программе». «Я от жизни смертельно устал, ничего от нее не приемлю». До детства с его думами и книгами уже не дотянуться.

Ранний Мандельштам (по-моему еще не открытый) выразил то, что не удавалось выразить другим: тайну первого прикосновения к реальности. «Звук осторожный и глухой плода, сорвавшегося с дерева...»

«Дано мне тело» – простое и первичное выражение данности мира и его чуждости. Мир (чужое) начинается с тела.

Как происходит открытие смерти? Тело жило, а потом отказалось жить. Не выполняет обещания. Предает себя. Потому что тело для ребенка есть обещание.

Что общего между восприятием мира ребенком и искусством, тем наивным искусством, еще не догадавшимся, что оно, если захочет, станет «модерном»? В непосредственности узнавания, в интуитивном всплеске (мгновенном или медленном), открывающем то, что



есть и что «хорошо нам здесь быть». Всякий ребенок несет в себе это первоначальное «хорошо», это «добро зело», иным словом, отблеск славы Божией.

В музыке Моцарта, как давно замечено, передано это открытие детства, омытого каким-то солнцем, но уже повзрослевшего.

«Задумаемся: откуда же он точно знал обо всем – ведь эту точность мы ясно слышим в его музыке? Он знал весь окружающий мир не хуже, чем Гете – но не обладал тем интересом, той открытостью ко всем наукам и искусствам, которой славился Гете. И конечно, он знал мир гораздо лучше, чем сотни тысяч более начитанных, более «ученых» знатоков мира и людей, которые есть в каждом поколении. Наверное, он обладал каким-то особым органом чувств, который давал ему возможность, несмотря на кажущуюся «герметичность», воспринимать и отражать мир во всем его разнообразии». Карл Барт, *Моцарт*).

«Его называют ребенком, божественным ребенком, вечным юношей, который обращается к нам в своей музыке...» Однако ребенок еще не может выразить своей детскости, той «невинности», которая потом оказалась раздавлена тяжестью созревания. Тот особый орган чувств, о котором говорит Барт – гениальность воспоминания и воспроизведения памяти.

Он собрал детство в музыке. Но это детство, переходящее в смуту отрочества, уже ощущается в нем как угроза, как неотвратимость. «Реквием» – поистине отроческое открытие смерти.

О Моцарте. «Вероятно во мне, от старости, все ярче выступают состояния и настроения детства, то есть быть с Моцартом и в Моцарте. Но это – ненадуманная теория и не просто эстетический вкус, а самое внутреннее ощущение, что только в Моцарте, и буквально и иносказательно, то есть в райском детстве – защита от бурь... Недавно по радио (даже по радио, мне ненавистное) услышал отрывок концерта из Моцарта. И всякий раз с изумлением узнаю снова эту ясность, золотой, утерянный человечеством рай. Мир сходит с ума и неистовствует в поисках чего-то, тогда как ясность, которая только и нужна, у него в руках. Буржуазная культура распадается, потому что в ней нет ясного утверждения, четкого «да» миру. Она вся в как будто, как если бы, иллюзионизм – ее основной порок. Когда субъект оторвался от объекта и противопоставился ему, все становится условностью, все пустеет и предстает иллюзией... Только в детском самосознании этого нет, и таков Моцарт» (*Все думы о вас*. Из писем о Павла Флоренского).

Флоренскому было еще далеко до старости, когда он писал об этом, но близко к смерти. И эта близость,

пусть и неведомая, изнутри манила к началу жизни. Его пристальное внимание к миру (научность) и любовь к мысли, которые неразделены – от нерасстраченной детскости, которая сохраняется в гении. «Ты полуспрашиваешь, почему я возвращаюсь к впечатлениям детства. Прежде всего потому, что внутренний мир выкристаллизовывается около них и ими существенно определяется... И наконец жизнь, смыкаясь под старость, возвращается к детству, таков закон, такова форма целостной жизни» (там же).

Может быть, о. Павел разгадал то, о чем говорил Иисус? Ничего не пропадает из того, что мы и вспомнить не можем. Не пропадает в памяти Божией, где исчезнувшие воспоминания младенчества, где в травах кузнецик оставил золотописьмо тончайших жил, где весь этот несказанный, где-то сохранившийся дар встретит нас в Царстве? И само Царство где-то граничит с памятью?

Научиться общению с Богом, ибо это общение и есть вера, не та, что застыла, но та, что воплотилась и потенциально являет себя во всяком человеке, грядущем в мир.

«Права человека» – один из великих этапов человеческого пути на земле. Но начинать надо было с прав ребенка – расти, есть, детствовать ... Взрослые поторопились присвоить себе звание, до которого еще нужно вырасти.

Когда-нибудь будут созданы гарантии глобальной охраны детей: от злобы, голода, труда, войн, педофилии, аборт. И за каждое обиженное дитя пусть отвечает вся держава. И соперничает за сверхдержавство с другими по этой части. I have a dream. Нет, фантазия? Но кто полтора века назад слышал о «правах человека»?

«Все проходит, но все остается. Это мое самое заветное ощущение, что ничего не уходит совсем, ничего не пропадает, а где-то и как-то хранится. Ценность пребывает, хотя мы и совсем перестаем воспринимать ее. И подвиги, хотя бы о них все забыли, пребывают как-то и дают свои плоды. Вот поэтому, хоть и жаль прошлого, но есть живое ощущение его вечности. С ним не навеки распрощался, а лишь временно. Мне кажется, все люди, каких бы ни были они убеждений, на самом деле, в глубине души, ощущают также» (*Все думы о вас*).

Отсюда – «нездешние, верные сны», которые сняты всем. Они запечатлевают верность творению или призванию быть, тому свету, который просвещает всякого человека и доносит до него близость и опыт Царства. Человеческая жизнь начинается с откровения, потом его затемняет грех. Чтобы вернуться к этому началу, следует *умалиться* до своей «детской», любовью созданной личности, и вечность примет ее.

«...До седьмого пресветлого дня»

Ольга ПОСТНИКОВА

ИМПЕРИЯ

* * *

Я устала от злобных твоих поцелуев.
Гневной мамкой не стой надо мной!
Неужели страну воров и холуев
Ты останешься в правде земной?

Ведь сегодня последний звонарь умирает,
Снова благовест нем, и набат,
И под серными ливнями золото сгорает,
И на брата очерился брат.

Взгляд притушен крысиной тоской отчужденья,
Все бегут, все раскиданы врозь.
Неужели вот эти черты вырожденья
Грозной нации апофеоз?

Ты не плачешь об этом растоптанном люде,
Ты погубишь верней, чем спасёшь.
Головой Иоанна на кованом блюде
Ты сама себя кротко несёшь.

Так и Рим погибал, и, боясь Воскресенья,
Он пощады не дал никому.
Где уста, что вещали любовь и спасенье,
Где глаза, что глядели сквозь тьму?

Но и злая, острожная даль Акатуя
Озаряется скудной весной.
Не приемлю посмертную дань поцелуя.
Рано доски смыкать надо мной!

Дьявол истины переиначит,
Лишь чуть-чуть переставив слова,
И ласканьем до смерти занянит,
И подменит закон естества.

И уйдёт из торжественной плоти
Дух добра, и всклекочет нутро,
И тогда в троеперстной щепоти
Вдруг убийственным станет перо,

И напишет призывы такие,
И такие начертит пути,
Что запутает души людские,
И спасенья уже не найти.

Дай мне, Господи, косноязычья,
Дай мне немощи и немоты:
По-звериному лучше, по-птичьи
Мне кричать из моей темноты.

Не оставь меня, я умираю,
Мне могильник цементный отлит.
Я хочу говорить, повторяя
Лишь слова покаянных молитв.

Отвори мне священное Слово,
Дай покоем избыть забытьё,
Чтоб для Истины было готово
Окремневшее сердце моё.



РЕСТАВРАЦИЯ НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ

*Во время войны в подвале Смоленского собора
Новодевичьего монастыря было бомбоубежище*

Когда в подвале старого собора
Я вижу ряд могил перед собою,
И каждая так странно неопятна,
И вязи скорбной речь едва понятна,
Нет, я не смею тронуть эту грязь.
Смотрю-смотрю на траурные пятна –
Такая тут с войной последней связь!

Темна бомбоубежища прохлада.
Я слышу зов, а это канонада,
Мне плиты мыть, а это колыбели,
Где вспуганные губы голубели.
И так же страшен памятника торс.
И лилия из камня в абрис белый
Изношенных пальто вплетает ворс.

И отпечатки детские скупые –
Процесс наивный дактилоскопии...
Повесят здесь портрет царевны Софьи –
Свирепить брови и глядеть по-совьи,
А я на древний известняк смотрю:
О, как сотру свечные слёзы вдовьи! –
Они родней гробниц монастырю.

Я будто помню каждую бомбёжку
И ту игру – ладошка о ладошку, –
И кашлю в лад – Заречья сотрясенье...
Сюда в музей придут ли в воскресенье
Девочки* рахитичные сыны?
Смоленский храм, как вечное спасенье
От смерти, от сиротства, от войны.

* * *

*Страна, где учили книги Случевского
и Павла Васильева – очень богатая страна.*
Илья Рубин

О, как ты богата, родная страна,
Но снова поэтов плодишь.
Ещё не запомнивши их имена,
Даруешь могильную тишь.

О, милая родина, ты не грусти
О тех, кто ещё не убит,
Кто нищенской хваткой не держит в горсти
Державных побед и обид.

А тот горлопан от сибирских племён
Посмертной утишен гоньбой,
Печатью уценки злорадно клеймён
В обложке своей голубой.

О, милая родина, ты не скорби
О тех, кто ещё не готов
Для той лесопильни на голой Оби,
Где дров заготовят для вдов.

О, как же ты любишь проклясть на миру,
Развезть по свету всему.
И сыну – синайскую эту жару,
Чужбину назначить ему.

И если поэты в ночных сторожах,
То время – из лучших годов.
Из нас ещё Слова не вытравил страх,
Генетика русских родов.

* Район возле Новодевичьего монастыря (простореч.) – О. П.



* * *

* * *

Включила приёмник – и небо болит
От мусоргских скорбных безумных низов...
А смена безгласная вышла в дозор,
И головы горное солнце палит.

Я знаю, сегодня в небесных штабах
Решается участь несчастных юнцов:
Кому возвращаться в казённых гробах,
Кому доживать с обожжённым лицом.

А в школе запомнили наши сыны,
Что русский язык и могуч, и велик,
Но дымом войны и слезами вины
Мне застит глаза и глядеть не велит.

И руки в занозах, и губы в золе,
И глухнут ущелья от злобы погонь,
И снова, и снова звучит на земле
По-русски перуново слово «Огонь!»

Последний Покров отслужив,
Он взят был и, верно, допрошен.
С кем вместе в могилу он брошен?
С какого он года не жив?

Он бурым суглинком укрыт,
Вовек не отпетый покойник.
С тех пор только белый поповник*
Над местом забытым стоит.

Родства запоздалый помин
Мне горечью к сердцу прихлынет:
Как много в России полыни,
Седая до сини полынь.

Фамилию деда храня,
Была крещена половодьем,
Осталась поповским отродьем,
Как звали соседки меня.

Темнеет лицо до бровей,
В минуту сжимаются годы,
Когда я вступаю под своды
Поруганных этих церквей.

Но там, где без часу и дня
Прошу о последнем покое,
Как будто родною рукою
Он крестит и крестит меня.

ХЕРСОНЕС

Ах, лаванда, лаванда, лаванда,
Сизый стебель и синий цветок,
Светоносной Эллады прохлада
И Востока тряпичный восторг.

Так Сафо, притворяясь коварной,
Говорила на ложе: «Уйди!»,
Чтоб лавандовой каплей янтарной
Озлатить полусферы груди.

Может, выжженной степи отрада
Голубых генуэзских кровей?
От прищура, от скифского взгляда
Расцветающий пух голубей?

Боже-боже, какое родное!
Неужели нашла, наконец?
Средь развалин ты встал предо мною,
Севастопольский смуглый беглец,

Дезертир необъявленных армий,
Чья полтавская мова сладка,
Подарил мне лаванды базарной
Два тугих, два блакитных пучка.

Византийскою смолкой сухою
Аромат её реет впотьмах.
Ах, распалась пахучей трухою –
Только серый лавандовый прах.

* Ромашка – О. П.



* * *

* * *

П. К.

*Здесь всё меня переживёт,
Всё, даже ветхие скворешни...*
Анна Ахматова

Не дворянская статья,
 не рылеевский жар,
Не брожение крови голубой, –
Нам отпущен плебейский
 рыдательный дар,
Брат мой вечный,
 мы крови другой!

Наши тайны
 бодлеровских тайн пострашней,
Но отчаянья не береги!
Всё же вырвались мы
 из гигантских клешней,
Хоть и торжествовали враги.

Ты иссохнул уже
 от смертей и потерь,
Самых близких навек отпустив.
Ты некрасовской хворью
 страницы проверь,
Ты Владимиркой
 вымеряй стих.

Нет прививки для нас
 от вселенской беды,
Но и плачу, и пенью внемли!
Только ужас не знай
 той сыновней вражды –
Он Марину довел до петли,

Ту курящую бабу
 в железных очках,
Что сказала себе: «Не живи!..»
Как несчастный Шевченко,
 пиши на клочках
Безответные песни любви!

Для того ты воззван
 из московских трущоб,
Перемучен в стыде и во зле.
И комета Галлея
 стремится к Земле
Льдистым светом
 обвеять твой лоб.

Я вспомню, чуть ли не заплавав,
Голубоглазых и седых
Серьёзных галок в чёрных фраках,
Апрельский судорожный дым,
Сквозные листики, серёжки
И чуть промокшие дорожки
Среди травинки молодых.

Зачем даётся вместо смерти
Надежда, родственная сну?
Тревожна, как письмо в конверте,
Вернув доверие всему...
Зачем летят чешуйки с веток
И солнце тысячами меток
Конкретизирует весну?

И что прекрасней и нелепей –
Знаменем на старость лет –
Чем тот, из грязи многолетней
Под ноги прущий первоцвет...
И неужели так у Бога
Легко прочерчена дорога
Из ужаса в тепло и свет?

* * *

Та неправда, которой мы вскормлены, в лицах у нас
Выггла эти морщины, прикушенных слов напряжение.
В недоспавших очах мы держали одно выраженье,
Общий голос на всех был: по радио бодренский бас.

Эту некрасоту нам на Страшном суде не простят:
Столько мы намолчали и столько наголосовали!
От того наши дети чужаются нашей печали,
Русских песен не знают и русскими быть не хотят.



АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР

*В подклете Архангельского собора
Московского Кремля
стоят гробницы
русских великих княгинь
из разрушенного
в тридцатые годы
Вознесенского монастыря.*

Там, где ангелы небо свивают*
Где последнего сна торжество,
Где подвальные тайны скрывают,
Я спросила себя: «Для кого

Прожила эту жизнь, протерпела?»
Я в молитве не падала ниц,
Всё своими словами пропела
В тёмном складе ненужных цариц.

Здесь, под вагою стен исполинской
Умаление и забытьё.
Я стою над отравленной Глинской,
Над ограбленным гробом её.

А над нами – то красные флаги,
То хмельное безумье страны.
Сквозь бандитский пролом в саркофаге
Только робкие кости видны.

В этих трещинах царственной кладки,
В этой плесени страшных углов
Есть хронической хвори разгадки,
Откровенье пророческих слов.

У высокого иконостаса,
У столпа, у цветного ствола
Я скажу пред зеницами Спаса,
Как мне стыдно: «Зачем я жила?»

...Чтобы, горней дыша синевою,
Кто-то вспомнил забытых, и чтоб
Кто-то слышал, как бабища воем,
Упадая на цинковый гроб.

О, белое чудо,
семилепестковый цветок!
Как редки в природе
оси седьмого порядка!
Сгущенная радуга,
живой семицветья исток,
Малец травяной,
ты – Линнеева ряда загадка.

И белым, и чёрным
написано что-то для нас,
Но мы недоучки
и домыслы наши неловки.
Седмица младенчества,
миг детства да юности час
Летят семиточьем
на крылышках божьей коровки.

А родинки эти –
как меты родства для меня.
Седмичник-цветок
ворожит нам в ознобе осеннем.
Сквозь чёрные дни
до седьмого пресветлого дня
Семьёю дожить,
сквозь небытие –
до Воскресенья!

* «Ангелы свивают небо» – живописная композиция в росписи собора – О. П.

Оборванная сюита

Борис КРЯЧКО

Борис Крячко был – и остается – абсолютно «своевременным» писателем, преподносящим нам реалии XX века в их классической, рельефной, античной наготе.

В первом, «пушкинском», выпуске журнала «Вышигород» в девяносто пятом году мы, сведя личное знакомство с Мастером, сразу же опубликовали его завораживающий азиатской мудростью рассказ «Сказал стихами». С радостью предоставили страницы для повести «Во саду ли, в огороде». И совсем не думали, что будем давать его большой роман – с продолжением чуть ли не в каждом номере. Но не устояли перед магией Слова Бориса Крячко, который неожиданно одушевляет такие одеревеневшие, такие «отесанные» факты истории, придавая современной «античности» узнаваемое, интимно-индивидуальное выражение...

В «Сценах», которые он «ставил» в журнале «Вышигород» с первого номера девяносто седьмого года, – подлинное действующее лицо – ссыльный после лагерей, известный всему ученому миру археолог, поэтому и гости к нему «заезживают» в его убогое жилище из Франции. И вот этот Сергей Николаевич Юренев живет в среднеазиатском городе и занимается необычными «раскопками»: он нашел послевоенное заброшенное захоронение солдат, умиравших от ран в местном госпитале, и восстанавливает их имена, восстанавливает исторический пласт человеческой памяти.

Однако неистощимая на выдумки советская пропаганда претворяет этот гражданский подвиг в Мемориал-обманку с фальшивыми надгробиями и вымышленными именами... А гид-переводчик Володя Киселев – alter ego автора – водит туда иностранных туристов... И однажды открывает им глаза на всю эту «мертвечину»! Что властями предержащими не прощается. Ибо все-все-все, и память наша – как определение себя по отношению к прошлому, отечественному ли, мировой ли истории – все подлежит «программной заданности».

Автор «Сцен из античной жизни» эту «заданность» опрокидывает. «Несостоявшийся яковинец», он от любви к революциям и обожания Робеспьеров переметнулся на сторону уже взойшедшего на эшафот Людовика Шестнадцатого, потому что тот спросил – и это было его последней заботой, – «нет ли каких вестей о Лаперузе?».

Вестей об адмирале не было. «Король скорбно вздохнул и бестрепетно вложил голову в деревянный ошейник. Я запомнил его слова и долго над ними думал...»

Завещанием звучат строки: «Казалось бы, какая ему разница, какое дело до кого б то ни было в последнюю минуту жизни, а вот поди ж ты! Не все, стало быть, со смертью кончается, кое-что и остается. Тут не только сочувствие-соучастие, но и смена ориентиров...»

Он верил в высокое предназначение литературы, в то, что «никогда телевизор не заменит книгу».

...Оставалось всего четыре дня жизни. В письме двадцать шестого октября девяносто восьмого года Борис Юлианович написал нам в Таллинн из Пярну, где он жил и занимался писательским трудом четверть века: «Меня постиг очередной сердечный приступ и я слег в больницу, откуда вышел буквально на днях».

И тут же снова взялся за работу. Заканчивал – перекраивал, переписывал, перепечатывал – роман «Сцены из античной жизни». Заканчивал, «возвращаясь» из Пярну в далекую жаркую Бухару, в те давние-давние годы... Что он чувствовал?.. Об этом можно судить по февральскому письму того же девяносто восьмого года: «Не так давно мне сообщили, что в Бухаре теперь есть улица его (Юренева – Л.Г.) имени, чему я бесконечно рад».

Мы решили тогда сделать Борису Юлиановичу сюрприз и в ближайшем номере журнала очередную «сцену» предварить, повторив напечатанный в начале романа сонет Сергея Юренева: «Ах, это вы, великий Дон Кихот, / Я ваш слуга, целую ваши руки». Ингрид, жена Бориса Крячко, говорила, что в больнице – уже после двух инфарктов – он изучал испанский, хотел в оригинале прочесть «Дон Кихота»!

С нетерпением ожидая «продолжений», мы прочитывали их взахлеб, – так это чудно, и так слову весело у него, и так смех тебя разбирает... А потом комок застревает в горле и глаза застилает...

И вот – последние его строки. Точка.

«Одну из своих глав в «Сценах» я нашел излишней и выбросил. Она слишком ретроспективна и отвлекает от современной конкретики. Называлась она «На кругу своя», но теперь ее уже нет и осталась распоследняя глава: «Стихи непрофессиональных поэтов о городе, в котором проходила большая часть описанных событий». Это



будет немного в духе сюиты Чайковского «Осень», которая кончается вдруг, и недосказанно, – да будет так».

Вместе с заключительными главами он прислал для журнала рассказ «Движение масс», посвященный Тамаре Павловне Милютиной, которую называл матушкой. Помню, он читал именно эти страницы вслух у нее дома, в Тарту. И как мы все, слушатели, уговаривали его немедленно рассказ печатать. Но он любил «отшлифовать», выпячивая под ударами нелепые, уродливые зазубрины жизни. Потому что относился к этой жизни с пронзительной нежностью...

Блистательный филолог, знаток языков, гид-переводчик; интеллектуал и чернорабочий-котельщик; одновременно «адмирал, король и несостоявшийся яковинец» – он испытал себя на земле от края до края: Средняя Азия, Дальний Восток, Камчатка, Балтика.

В наследство он оставил свои произведения в журналах «Радуга», «Таллинн», «Грани», «Вышгород». В России же опубликовался при жизни только в журнале «Охота и охотничье хозяйство», спасибо за то. Многие по разным причинам в условиях жесткой советской идеологической цензуры отвергались, «отлеживались» в столе, до сих пор не было напечатано, не поспело за уходящим часом...

Когда-то Борис Юлианович написал замечательную повесть «Битые собаки», включенную в одноименный сборник рассказов. Битые собаки...

На пярнуском кладбище, где нашел свой последний приют один из самых выдающихся русских писателей Эстонии, – мы прощались там с Борисом Юлиановичем, – какой-то незнакомец подошел к его сыновьям: Владимир приехал из Волжска, Александр – из Москвы. Незнакомец спросил их:

– Он был счастливым человеком?
– Счастливым. Он оставил людям свои книги.
– Так он писатель... И какие он оставил книги?
– У него есть повесть «Битые собаки»...
– Битые собаки?.. В переносном смысле?..
– В прямом... Повесть о собаках...
– Да нет, – сказал незнакомец, – так по-русски называют много страдавших, битых жизнью людей... Битые собаки... Битая собака...

Это был девятый день. И если душа его была с нами, ей понравился этот диалог...

Людмила ГЛУШКОВСКАЯ
Таллин
Эстония

Борису Крячко, десять лет спустя...

Борис Юлианович, драгоценный мой друг, десять лет, как не пишу тебе писем и не получаю от тебя. Десять лет, как не слышу твоего голоса, десять лет... А между тем – и вижу, и слышу, а письма... перечитываю – из тех, что не передал в РГАЛИ*. Когда собирал твой архив, не сразу нашел все письма, а теперь даже рад этому обстоятельству, потому что обещанных ксерокопий от них не получил, и у меня осталось хоть несколько. Ну и, разумеется, проза твоя, настолько слитная с личностью, – характерно, интонационно, – что кажется: ты рядом, здесь и что не я вожу глазами по строчкам, а читаешь ты...

Тебе ведь нужно было новую вещь вычитывать вслух кому-нибудь из друзей. Не только для того, чтобы выверить звук фразы – это и без друзей возможно – но и для того, чтобы вместе посмеяться и погоревать над нашей все же не безутешной жизнью, запечатленной тобой.

Помнишь, как я рыдал от смеха, чуть не падая со стула, в кухоньке у Гордонов? Ты тогда жил у них на Мустамаяэ. Да и ты не удерживался, тоже смеялся, отжимая слезы от глаз. Наша национальная трагедия непостижима без юмора. Гоголь это заметил первый.

В Пярну ты жил большей частью один – с книгами, с музыкой, в кругу домашних животных... И молитвенно – со всеми близкими, кто был далеко. Как ты обрадовался Брюссельской Библии, с комментариями отца Александра Меня. Не случайно тебе довелось исповедоваться у него и побывать на службах.

«Очень радуюсь, – пишешь ты мне в мае девяностого года, – когда вижу отца Александра в газетах и журналах; то, о чем он говорит, содержит не меньше смысла и энергии, чем статьи Белинского или Писарева, но в другом, созидательном плане. Я о нем часто думаю».

А позже, несколькими месяцами спустя, точнее, чем многие, назвал причину его гибели...

Ты был не склонен сваливать беды на внешних врагов, русский беспримесно, плоть от плоти своего народа, ты трезво судил о нем. И революция, и светлое будущее, и выморощенное настоящее – все лежит на нашей совести, а значит на каждом из нас. «Коммунисты еще лет с десяток будут людям голову морочить, так что великомученик Александр – это первая жертва за наши грехи, Царствие Небесное».

С коммунистами ты, пожалуй, ошибся. Их идеология глубоко сидит в безрелигиозном сознании и оно, преобладающее в массе, все так же угнетенной, видит в коммунистах, или в их модификации с человеческим лицом, альтернативу существующей власти.

* Российский Государственный архивно-литературный институт. – Ред.



Нет, нам, если суждено выздороветь, еще долго – на протяжении нескольких поколений предстоит выкарабкиваться из родовых немощей.

В девяносто третьем году, мятеж уже подавлен, ты, не обольщаясь будущим, с горечью пишешь: «...каждая политическая фигура обязательно раз в день декларирует, что Россия обречена на величие и ссылается на Тютчева: «Умом Россию не понять... В Россию можно только верить».

Удобная ссылка, – прочитал первую строку, сделал паузу и развел руками. А вот на Лермонтова не кивают, хотя он точнее и честней Тютчева сказал: страна рабов и господ, да еще и неумытая к тому же. И насчет веры: дурили, дурили, а теперь снова верить просят. У Линкольна прекрасное опровержение есть такой вере: «Можно обманывать всех людей некоторое время и можно обманывать некоторых людей все время, но нельзя обманывать всех людей все время».

У меня к России двойственное отношение. Как ее отпрыск, я ее люблю до последнего часа подобно тому, как сын любит родителей, ни на что не взирая и при всех обстоятельствах, кто бы они ни были, но уважать ее не могу, как не уважал бы и собственных родителей, будь они у меня алкоголики, карточные шулера или побирушки, потому что в данном случае любовь это – долг, а уважение – свободный выбор. Помереть в России очень хотелось бы, но жить в ней – слуга покорный.

Эстония, на мой взгляд, наиболее благополучное место в бывшем Союзе. Хороший климат, чистый воздух, незагаженная природа, устойчивая обстановка, множество продуктов и товаров и при этом высокие цены, надо подрабатывать. ... Личная жизнь, как и раньше, для меня первой общественной, а не наоборот, как нам мозги вправляли, и я знаю по опыту, что, если частная жизнь отдельного человека благоустроена, то и все прочее со временем благоустраится.

Конечно, есть моменты, когда общественная жизнь значит больше личной, но это всего лишь моменты: мор, глад, война, землетрясение и прочее, а в основном нормальные люди живут частной жизнью и личными взаимоотношениями, как эстонцы живут. «С радостью смотрел Павка на подругу, превращающуюся в большевика». Какой кошмар наяву мы пережили. В России, небось, еще долго вонять будет».

Каждую новую вещь ты присылал мне и, распечатанная друзьями – «Эрика» берет четыре копии», она мгновенно растворялась в самиздате. Отрадно было потом узнать, что некоторые из них всплыли в «Гранях». Этот журнал и сегодня печатает твою прозу, увы, все также мало известную в России.

Твое «Избранное», вышедшее в Таллине в двухтысячном году, сюда практически не дошло. Зато, как дружно и щедро откликнулась критика на считанные твои, уже посмертные, публикации: «Новый мир», «Дружба наро-





дов», «Знамя», «Независимая газета», «Книжное обозрение», «Предлог», еще какие-то издания, не помню...

Конечно, писателю отклик важен при жизни, но, если творчество, как Божественный дар, – бессмертно, то даже и запоздалое признание своевременно.

Дети твои возрастают. Старший, художник, когда восхищал тебя резбой по дереву. Он давно уже профессиональный мастер, живет искусством и кормится от него, участвует в выставках, работы его нарасхват. Есть настоящие шедевры.

Младший – лингвист. Недавно защитил диссертацию. Отважный человек. Дерзко и вместе с тем строго научно изложил ее в теме: «Концептосфера «Война» в английской и русской лингвоструктурах». Стиль изложения ближе к художественному, чем к научному и часто своей изобразительной точностью напоминает мне твой стиль.

Объявился и еще один твой сын, самый младший, о котором ты сокрушенно поведал мне однажды. Ты его никогда не видел и даже не знал, где он живет. У него

сложные чувства к тебе... Но, если он все же нашел своих братьев, то, будем надеяться, найдет и простит тебя...

Он с матерью живет в Италии. Хорошо образован, пробует себя – в журналистике, в науке. Закончил, как и ты, языковой ВУЗ.

Крепкая корневая система у казачьего рода Крячков. Крепкая и многообразно ветвящаяся в сторону внуков.

Вот так... Слышишь ли ты меня, мой друг... Разбираю твои письма, надо бы их самому отсканировать и дослать в архив.

Твоя фотография... Сад, кусты сирени, ты в рабочем свитере, похожем на кольчугу, волосы и борода, тронутые серебром. Внимательно, пугающе-пристально смотришь сюда, в сегодняшний день.

Александр ЗОРИН.

30 октября 2008 г.

Москва

Корни*

Бабушка встает раньше всех, часов в пять. Смочив ладони из кухонного рукомоя, она разглаживает лицо, вытирается, причесывает волосы, и все это быстро-быстро. Еще быстрее мотается по стенам и потолку ее тень, и я по ней догадываюсь, что бабушка делает. Ходит она мелко и неслышно, боится нас разбудить, бесшумно скользит-катается, не споткнется, не уронит, не прогремит. Покатавшись-посновав и не сменив ночной до пят полотняной сорочки, она вдруг останавливается, и тень тоже, – сейчас молиться будет. Делает она это вслух, отчетливо выговаривая слова, а когда они изо дня в день повторяются, запомнить их несложно. Я их вытвердил до одной, не загадывая наперед, сгодятся они мне когда-нибудь или нет.

Чередовались молитвы по порядку: «Отче наш», «Достойно», «Пресвятая Троица», а за ними начинался разговор с Богом: что было вчера, что будет сегодня, что – подай, Господи, от чего – оборони и помилуй. Слова всякий день были новые, трудно упомянуть, разве что отдельные места: «Забыла Тебе вчера сказать, Господи» или «Это Ты, Господи, хорошо придумал, до ума довел», а то еще «Бачишь, Господи, как я боялась, так и вышло», а дальше имена, имена, имена, разные пустяки бытовые, семейно-родовые нелады Богу в

уши, чтоб разобрался хорошенько и до беды не доводил. Одна такая отсебятина запомнилась крепко и надолго.

Как-то она стала просить Бога, чтоб ее старшая дочь Таиска, моя, значит, тетка, не бросала мужа Ивана ради своей подруги Пашки, которая бессрамно похвастается жить с Таиской лучше, чем муж с женой, людям на зависть, врагам на зло, – тут бабушкин голос звучал, как с пластинок: «Хиба ж цэ дило? Хиба ж цэ так треба, щоб ворогам та злыдням, а нэ дитям на радисть? Та звидкиля ж воны йих возьмуть, дитэй, баба вид бабы, чи що? А Ты, Божечко, усэ бачишь и ничего нэ робышь». И бабушка стала учить Бога, что делать и как: чтоб они обрыдли друг другу; чтоб их разрознить одну от другой подальше; Таиска нехай с Иваном живет, а Пашку, розбышаку, пройдысвитку, бисову душу, выслать на край земли и пусть там, как знает.

Тетка Пашка мне и самому не нравилась. Она ловила меня за мотню и таскала, приговаривая: «Расти большой на радость маме», а потом обижалась, что я шуток не понимаю. Дядя Иван звал ее «конь с яйцами». Она точно была на мужика похожа, ходила враскачку, как грузчик, кривая на один глаз, в драке выбили, самогон жрала стаканами, выражалась позорно и папиросы ку-

* Отрывок из повести. – Ред.



рила, ну, мужик-мужиком из самых что ни есть наперед церкви отпетых.

Был ли какой-нибудь прок в том, что я узнавал из бесед бабушки с Богом, трудно сказать, но с тех пор и до сих я совершенно не понимаю однополой любви, испытываю к ней чувство сильнеешего прещения и определенно знаю, кому я за эту неприязнь обязан. Что касается той молитвы, то она без внимания не осталась и была выполнена по существу нижайшего ходатайства, правда, не раньше, чем тетя Тая развелась с дядей Иваном и померли дедушка с бабушкой. После того Бог сманил Пашку большими заработками за Полярный круг, где она среди суровой красоты Севера безвестно затерялась.

Вечерами бабушка норовила лечь пораньше и кратко прочитывала «Царю небесный» и «Богородица-Дева, радуйся» без каких-либо собеседований, – то ли стесняясь нас, то ли боясь надоесть Богу. Мы с братом Алькой долго оставались некрещеными, – в те годы это было рискованно: попов за такие дела стреляли, кумовьев гнали взашей с работы, а родителей отправляли строить каналы. По признаку отношения к вере все в доме делилось на сознательных и несознательных. Дедушка и бабушка были, конечно, несознательными, остальные до одного сознавали, как надо отвечать, когда их о Боге спрашивают.

Дедушка молился иначе. Он подолгу мылся, брился, одевался, переключаясь с домашними, пока, наконец, не замирал перед Оплечным Спасом, как солдат перед фельдмаршалом по стойке «смирно», и молча простаивал минут пять-семь, только в начале молитвы да в конце осенялся крестным знаменьем и утвердительно кивал Богу головой.

Зато он ходил в церковь, приносил просфорку, торжественно разрезал на восьмерых и каждого одаривал. На Пасху он шел стоять всю ночь и возвращался часа в четыре ночи. Войдя в дом он так громко возвещал «Христос Воскресе», что все просыпались, заспанными голосами вразнойбой отвечали «Воистину», и вновь становилось тихо, как в валенке, а я до того, как уснуть, успевал подумать, что утром будет красивый стол и на нем полно всякой снеди. Будить домашних в ночь под Пасху было чем-то вроде семейного обычая; наверное так же делали и прадед, которого я не захватил, и другие деды, имена которых мне внушали до седьмого по счету, а возможно, и те, кого я даже вовсе знать не обязан.

У них, гляди, и жизнь прошла, как у дедушки с бабушкой: в одном доме, в одной кровати, под одним одеялом. Я бы и сам так не прочь, да взять негде; люди переменились, общежитие первой семьи, общественное

главной личного, – сам этого не миновал. У первой моей жены была тяжелая рука и бойцовский норов; она неделями молчала, как партизан на допросе, а дралась – я по сей день рубцы во рту языком пользую. Вторая шикарно материлась и до того любила личную жизнь, что и клялась не заикалась, и врала недорого брала, а имущество всегда за теми, кто злей, наглей, лживей и оскалистей. Сперва я оставил ложе, а следом и территорию, и это было так же натурально, как купи козу и продай козу. Я, разумеется, ничего не забыл, но свадебный пирог памятен мне и значим не больше, чем прием в пионеры или членство в МОПРе, а вот расторжение брачных уз запомнилось, как выздоровление после тяжелой и продолжительной болезни.

Мой личный опыт. Самое ценное достояние. Трудно наживать, легко пользоваться. К нему я в первую очередь обращаюсь, и лишь когда его не хватает, прибегаю к истории, философии, искусству и литературе, где в поколениях обобщены бесчисленные множества эмпирических рядов, серий и циклов,двигающих общественную мысль. Это значит, что я ставлю личное выше общественного, а всякую отдельную жизнь и свою тоже понимаю как частный эксперимент или, если угодно, первичное накопление капитала. Первичность личного опыта и вторичность общественного для меня так же несомненна, как народная мудрость: всякий баран за свою ляжку висит. Еще лучше об этом сказал андреевский цыган, приговоренный за разбой к повешению. «Вы уж, ваше благородие, – просит он жандармского офицера, – мыла на удавку не пожалейте». Офицер ему: – «Не извольте беспокоиться». «Это как же мне-то не беспокоиться, – возражает цыган. – Вешать-то будут меня, а не вас». Абсолютно прав цыган. Именно так: вешать будут меня, а не Владимира Ильича.

Мне было лет пятнадцать, когда я неожиданно узнал, что бабушку зовут Александра Аникиевна. Новость потрясла меня от макушки до пяток; я долго приходил в себя и не мог сообразить, зачем ей это надо. Дедушка – другой разговор. Он фельдшер, его в станице знают и кличут – Антон Маркович, это понятно, а бабушке что за нужда? Бабушка всегда бабушка, по имени-отчеству на моем слуху ее никто не называл. Дедушка называет ее «стара», она его – «старый», родители зовут ее «мамо», родство кто как: тетка, сваха, крестная, но чтобы по паспорту, – я извиняюсь, чего нет, того нет.

Домашнее мое воспитание, насколько могу судить, проходило в старорежимном укладе на кратком поводе запретов и разрешений по всякому пустяку, примерно, как «цоб» и «цобе», когда волов ярмовых вправо или влево правят без каких-либо объяснений, – поче-



му. Иногда объяснения прилагались, но меня не устраивали.

– Не бей тараканов, – говорит бабушка. – Тараканы к деньгам.

А я и не знал! Лишь теперь до меня доходит, отчего они так бедно живут да еще в чужом доме по улице Лев Толстой, мне их жаль и я думаю: эх, тараканов бы!

– Не свисти в хате, – говорит бабушка, забыв, чему меня только что учила. – Тараканы заведутся, отбою не будет.

– Ну и пусть, – отвечаю. – Денег зато будет навалом. Дом новый купим, велосипед. Сад разведем. Разве плохо?

Некоторое время она молчит и раздумывает, но заподозрив неладное, грозит сказать дедушке, что я ее не слушаю. А у дедушки разговор строже, последовательней и с прогнозом: «Если ты так-то и так-то, я тебе то-то и то-то», потому что серьезный человек, с ним шутки через раз проходят.

– Если у тебя будет друг лях или грузин, – говорит он в подходящий для воспитания момент, – и ты приведешь его домой, я вас обоих выгоню. Их и тато не любили.

Ну, с поляками все ясно. У него в синодике целая толпа заукойников и среди них Северин, «убиенный ляхами под Берестечком». Имя, конечно, толковое, при таком имени с любой девчонкой можно познакомиться, а кто такой, неизвестно. Дедушка тоже, поди, не в курсе; мало ли родства, кто жил, кто помер, записать – не вещь, а запоминать – голова не резиновая, да и кому это надо? И дедушка не знает, потому как незачем.

– Знаю, – говорит он вопреки ожиданиям. – Хорошо знаю. Наша порода, наш корень, как не знать? Мне в тринадцатом колене, тебе в пятнадцатом, – чего тут непонятно?

По моим догадкам, это он из-за Северина Пятнадцатого поляков на дух не переносит, зовет по старинке ляхами и, когда сердится, обязательно их затронет: лядская вера, скажет, лядская душа, кому на ляд нужно... А за что грузин не любит, трудно придумать: и причин не видно, и вера православная, а получается вроде того: и ему не ко двору, и мне под страхом расправы заказано.

– А еврея? – спрашиваю.

– Жида можно, – разрешает он. – Жиды люди приемыные, вспомогательные. Спаситель из жидов, Богородица, апостолы... С правильными людьми чего ж не водиться?

Жид – это прилично. Он всех евреев жидами кличет так же без охулки, как когда-то сволочью называли все, что отстаёт или следом волочится. Ему вось-

мой десяток, он долго служил то в Грузии, то в Персии, то еще где и дослужился до старшего урядника. Потом служба ему приелась, и он попросился из линейных в госпитальные, выучился на полевого фельдшера и всю жизнь благодарил за это судьбу и начальство. Из Тебриза он привез два красивых ковра; один раскулачили вместе с домом, а другой, поменьше, висит на стене, я под ним сплю. Знает он, конечно, не особо много, но понимает больше моего и требует, чтобы я читал ему вслух учебную историю для десятого класса, а сам слушает и смеется, когда я прочитываю о революционерах, которые, благодаря себя, выручили народы от сырой жизни в подвалах и без радио. По смеху я чувствую, что революционеры для него никакие не герои, а что-то навроде мошенников, и тогда между нами происходит разговор.

– Чего вам, дедушка, смешно, – говорю, – если вы их, могло быть, в глаза не видели, революционеров этих, а сами насмехаетесь.

– Сколько раз, – отвечает, – их в Тифлисе еще до японской войны полно было.

И дальше рассказывает: идет по улице человек в культурной шляпе, при галстукe, часы у него как сопли по животу блестят, палочкой помахивает от удовольствия на хорошей погоде и по виду, если не купец, то ученый или даже инженер. А за ним другой поспекает, то ли купец, то ли ученый, а может, инженер, но, в общем, сразу видно, что такой же культурный и на хорошей должности: в шляпе, в галстукe, при часах и с палочкой. Догнал, поднял свою палочку и ширнул первого инженера под лопатку. Тот, конечно, хлоп на тротуар, взбрыкнул правой ножкой в лаковой штиблетке и воздух из себя выпустил, а другой чинно его обошел, чтобы не уделаться, в пролетку сел и митькой звать. А палочка у них специальная, с пружиной, с длинным лезвием, само выскакивает и заскакивает, дедушка собственными глазами повидал в разобранном виде, а казаков, когда в город отпускали, приказывали стеречься скубентов с бомбами и революционеров с палочками, – эти никого не жалели.

– По-вашему, значит, революционеры – бандиты?

– Выходит так, – огорчительно разводит дедушка руками. – Как же мне их называть, герои, что ли? Со спины зашел, ножиком человека проткнул прямо на улице, посреди людей. Магазины грабили, банки. Листовки печатали: пусть, мол, японцы сперва нас разобьют, а потом наша власть будет. Бандиты и есть. Ты читай, читай, что там еще за ними числится.

Но желание читать пропадает. Я смотрю на учебник, как на бельевую вошь, и разом меняю пластинку.



– Дедушка, – говорю, – а корова раньше сколько стоила?

– Молочная, хорошая, рублей двадцать.

– Овца?

– Больше рубля никто не давал. Можно было копеек за восемьдесят, если поторговаться. Мы у курдов по полтиннику за штуку брали. Курица гривенник, утка пятиалтын, индюк или гусь к Рождеству четвертак, пороса на Пасху – та же цена, копейки. За пятак на ярмарке или в духане можно пообедать, за гривенник с вином. Кольцо золотое, подешевле, рубля два с половиной.

– А кони?

– Кони дорого стоили. Пара волов в ярме рублей под тридцать, пахотная лошадь полсотни, строевая под седло до ста, но если чистой породы, с большими деньгами подходи.

– У нас лошадей сколько было?

– Восемнадцать.

– Зачем столько?

– Затем. Небось, лишнего в убыток не держали. Считай сам: пять казаков – пять коней; еще трое порезвей на выезд, встретить кого, проводить, надо? надо; свадьбу сыграть, на пожар послать, тройку в общий поезд поставить, детей покатай на Троицу, на Крещение, – да мало ли. Скубент один тут был, сам в Питере учился, летом дядю Алешку готовил поступать, так за ним рессорку посылали аж в Екатеринбург. Остальные в работе: косить, возить, молотить...

– А коров?

– Четыре.

– На восемнадцать коней четыре коровы не бедно?

– Хватало. Потом овцы, куры, гуси, сколько их было, не знаю. Еще молотилка, крупорушка, триер, веялки, маслобойня. Паровик свой мечтали занять.

– Управлялись?

– Пораньше вставать, управиться. В косовицу рук не хватало или строить чего, – тогда нанимали. Сюда до семнадцатого года много людей приходило на заработки. А как семнадцатый ударил...

– Отобрали?

– Не сказать, совсем. Отобрали, кто революционерам поверил, а кто не поверил, тот сразу все сбыл, пока цена. В восемнадцатом грабежи пошли: то красные, то белые, то серомалиновые. – «Давай, – кричат, – кони, скотину, фураж, теперь все народное». «Берите, – тато говорят, Марко Петрович, – что есть, а чего нету, не прогневайтесь». Они, значит, в конюшню, по сараям, в клуню, а там лях ночевал. «Ах вы, такие-сякие, нанимать вашу мать, где хозяйство передерживаете, живо отве-

чай». «В запрошлые годы продали, – говорит Марко Петрович. – Нужда была, семья большая, убытки». Комиссар сердится, конем утесняет, плеткой грозит:

– «Ну, дед, сильно ты умный, мы тебе это не простим. Как народную жизнь установим, то я тебя лично приеду кончать под красным знаменем». «Воля ваша, – тато говорят, – только поскорей управляйтесь, а то не доживу на вас порадоваться, годы преклонные».

Так, слово по слову, втягивается в разговор мой прадед Марк Петрович и сразу все берет на себя, как самый главный. Его давно на свете нет, а он все еще по привычке командует, руководит, выговаривает, и не спорь с ним, потому что закон: кто со старшим спорит, тот говна не стоит. Хлеба он, понятно, не употребляет, питается исключительно одним почетом и живет, где хочет: в хате, в омшанике, на чердаке и под всякой загнеткой. Я, когда из бочки тайком мед таскаю, крышку, бывает, снять боюсь: а что, думаю, как он там засахарился и сопит через камышину.

Редкий день без него обходится, а по праздникам в хате вообще дышать нечем: кислород выгорел и воздух состоит из густого восторга со сладким стенанием. О-о-о! это был казак, теперь таких нету. Вдохновитель и организатор. Крепость и порука. Лад и достаток. Сурьез и благочин. Да о чем речь, когда сам генерал Гурко за руку с ним повлетался, в обе щеки облобызал и следующие произнес слова: «Спасибо, козаче, твоему батьковичу». Конечно, похвала прославленного генерала из того же ряда, что и «Посцым», – сказал Суворов, и я, изо всех сил стараясь не засмеяться, интересуюсь, за что же он так исторически Марка Петровича до неба возвеличил. «Значит, было за что, – хором все отвечают. – За то, что человек, значит, хороший, Марк, то есть, Петрович. И не так собой грамотный, как ученый. Наука при нем была. Всем пример внушал: «Расти, – говорил, – умный, вырастешь мудрый». Не пил. Не курил. В карты не играл. У кого из молодых-неженатых карты найдет, того на конюшню и собственной рукой ума вложит через задние ворота. Игруля штаны потом подберет, утрется и душевно возблагодарит: «Спасибо, диду, за науку». (Конечно, это для красного словца сказано, а в жизни так не бывает. Я сам в детстве был дважды порот, один раз дедушкой за обман, другой раз отцом за воровство, но чувство благодарности к науке у меня появилось не тотчас после порки, а много лет погодя, когда я сообразил, что стать вором или мошенником мне уже не светит.) «Нема за що», – отзовется Марк Петрович с лаской в голосе и, отложивши плетку, объяснит урок похорошему. «Ты мне, – скажет, – не чужой, я за тебя в ответе, чтоб люди пальцем не тюкали, когда ты до креста проиграешься. Это тебе спасибо за соображение, за спо-



способность, оно и мне работы меньше, а ежели не поумнел, не журись: пока живой, лайдаком тебя не оставлю, дурь вышибу, умом поделюсь. Но наука уже пойдет круче: ты это не забывай и на меня загода не обижайся».

Поминали его при любом подходящем случае и, как правило, во множественном числе: как бы Марк Петрович посмотрели, что подумали и каково присоветовали в таком-то и таком-то разборе. Я же стал этой фигурой озадачиваться гораздо позднее, а до поры до времени жил, как свинья под дубом, и не считал себя обязанным задумываться о людях, которых ни разу в глаза не видел.

Хотя, конечно, связь между нами просматривается напрямую, и я вполне мог бы о себе сказать, что родился волею Божьей по любви и доброму согласию своих родителей, а также с дозволения Марка Петровича, прадеда моего по отцу, – без его же ведома и конь на базу не валялся, так что в автобиографии мне следовало бы поминать прадеда прежде отца-матери и непременно вторым после Господа Бога.

Жили мы на Кубани в станице Новомышастовской одним домом, одним подворьем, одной семьей, где по обычаю тот командовал, кто годами взял, поэтому рулил хозяйством не отец и даже не дед, а прадед.

Как он выглядел, не знаю, и ни на одной семейной карточке его нет, скорей всего потому, что пока фотография была в новинку, он уже набрался консерватизма и радикализма и не хотел видеть себя нигде, кроме зеркала по большим церковным праздникам. Однако мне о нем достаточно много понарасказывали, и я его себе представляю таким же подвижным и неожиданным, как отец, чуть повыше среднего роста, прямой и необрюзгий. Стрижку носил под ежика, чтобы умывать не одно лицо, но и всю голову; седина пометила его неровно, – брови чуть тронула, усы с низу кисточкой задела, снежком по бобриковой стерне прошла и сделала волосы сивыми, а бороду выбелила до льняного полотна, – росла она у него как-то насуперечь, и он ее то и дело оглаживал.

Человек он был занимательный и завел в семье советские порядки задолго до советской власти. Если бы он к тому же воровал, обманывал, злоупотреблял, нерадел к хозяйству и мотался по чужим бабам, его можно бы и в партию, но он был верующий, работающий, строгий, обязательный, запросы имел проще некуда, а с понятиями о личных удобствах недалеко ушел от первобытных привычек и после смерти жены перебрался спать из дому в конюшню, где воздух был прочтут колдовской смесью парных конских каштанов, стойкого лошадиного пота и хмельного пойменного сена.

Он рано овдовел, но дети к тому времени повзросли

и жениться еще раз не было нужды. Сколько их у него было, сказать затрудняюсь, знаю только, что жил он с младшим своим сыном Антоном Марковичем, да еще в станице то ли Титаровской, то ли Ивановской жил другой сын, Тарас Маркович, которого я тоже малость захватил. Характер у него был властный, деспотический и неуступчивый. Всюду он лез, все пробовал на палец, на нюх и на язык, ложиться приказывал с солнцем, вставать с петухами, до всего ему было дело и по всякому пустяку надо было идти к нему на поклон.

Старший отцов брат, дядя Илья, когда вздумал жениться, пошел, как и полагалось, к Марку Петровичу. «Диду, – сказал он по-украински, как все в станице тогда говорили, – хочу жениться». Марк Петрович обрадовался, аж присел. «Оце гарно! – возликовал он на весь курень. – Оце казак! Оце молодец! Сколько ж тебе, Илько, бурлаковать, – пора и за ум браться. Бесова душа, думал, помру, не дождусь». И давай хвалить дядю сверх потолка с крышей и за способности, и за мужество, и за удайство, хоть и не совсем понятно, из чего оно состояло, удайство дяди Ильи, который давно был взрослым и поступал по законам природы, а не наперекосы. Под конец Марк Петрович даже заплакал. «Илько, – позвал он, промокая слезы счастья табачно-сморкательным платком. – Илько, хлопчику, дай я тебя обниму».

Он обнял дядю, посадил вплотную к себе и некоторое время сидел с ним, как либерал с демократом. Потом спросил: «А кого брать думаешь?» Дядя Илья назвал. Марк Петрович, не жалея руки, грохнул по столешнице, сказав тихо: – «Не будет этого», – и от либерализма с демократией помину не осталось. «Это как так не будет? – совсем не испугался дядя. – Кто у нас женится, не пойму, вы или я?» «Ты, – ответил прадед. – А я при тебе тоже не без дела». «Лампу, что ли, держать в почивальне? – засмеялся дядя. – Да вы, диду, шуткарь». «Это твое дело, чего там как держать, – несмущенно ответил Марк Петрович. – Мне, главное, чтоб ты по дурости беды не натворил». «Да какая ж беда? – удивился дядя. – Ничего, кроме детей». «Во! – потряс прадед клюкой перед носом взрослого внука. – Дети! Сам говоришь! Коли б не они («Колы б нэ воны»), стал бы я тебя на старости ублажать? Но раз для них живем, значит, надо. Ты вот не знаешь, а я знаю, что у твоей дивчины по материнной родне прадед был глухонемой, так и звали, – Немко. Его громом в степи убило, молодой еще был, сейчас мало кто помнит. Так что ты ночью спи, а днем думай, какие у вас могут дети произойти». «И думать нечего, – уперся дядя на своем. – Мои дети, не ваши, чего думать полусту». «Тьфу, лях тебе в печенку, прости Господи, – расстроился прадед и заорал:



— А мои правнуки! У них же наша фамилия будет. А по фамилии кто из нас старше? И мои права старше. И отвечать не тебе. Это про меня они скажут... Хотя, какой там «скажут», несчастные, глухие, немые, — на пальцах покажут: «Не хватило у диды Марка в голове десятой клепки, знал и не отсоветовал, а нам из-за него страдать». У нас в роду никого, чтоб немой, хромым, заикастым, пропоец, умом обиженный. К нам и черная оспа не пристает, рябых тоже нет. Да мы в землю ложимся — все зубы целые. Чистая кровь, здоровая порода. Ты подумай, сколько людей для тебя, дурня, это здоровье собирали! И ты за раз все хочешь порушить? Нэ дам!»

Он вскочил враскоряк, будто полсветелки занял: огромный, могучий, седоволосый, на него невозможно было глядеть. «Все одно женюсь», — сказал дядя Илья, не подняв головы. «Женись, — неожиданно смирился Марк Петрович и даже приласкал упрямяца по плечу. — Женись, женись. Я тебе что, — мешаю? Борони Господи! Хоть сегодня свадьбу затевай. Из хозяйства, правда, ничего тебе не выделю. Не беда, наймешься к кому. Наймиты, как все, трудом кормятся, и ты проживешь. Со двора иди куда хочешь, лучше сразу. Попервах оно, конечно, будет стыдоба, как на тебя люди станут показывать, — ну как же! был казак, стал наймит, — но ты молодой, переживешь, а я твоего позора, Илько, не осило и всего больше жалею, что доброй нашей фамилии не могу тебя лишить. Достал ты меня, собачий сын, при могиле на конец житья».

Сейчас подобными речами никого не проймешь, но в не столь давние времена словами наказывали, как батогом, так что у послушника горели уши, блуждали глаза и он готов был глухонемым позавидовать. Что значит продаться внаймы? Или отойти напрочь без движимого-недвижимого? А нравственная сторона поступка? Пойти старшим наперекор! Не получить родительского благословения! Быть изгнанным из родного дома! Статочное ли дело одному человеку столько хулы на себе понести? «Бежать отсюда, — подумает он первой же мыслью, — бежать, не оглядываясь, куда глаза, где меня никто не знает, и поскорей, чтоб до вечера ноги моей тут не было». Но опять же задача: а куда бежать со своей земли? в какие-такие Палестины? Это сейчас, когда весь народ внаймах да в кочевьях, катись на все четыре стороны, а при оседлой жизни нелегко на такое было решиться, и если слово оставляли под залог в кредитных лавках, значит, оно много стоило.

Короче, дяде Илье было отчего сгорать со стыда; он еще немного подергался и сообщил деду, мол, так и так, девчонка на четвертом месяце и, коль скоро, жениться на ней нельзя, то что же делать? Марк Петрович сказал, что. Перво-наперво передать, что родительского благо-

словения дяде Илье нету и не будет, а по каковой причине, про то пусть у него спрашивают, у Марка Петровича. Другое: как девка не из иногородних, а казачьего роду-племени, то отступные пусть назначают сами, — что девке за поруху, что детине на возрастание, а Марк Петрович, как главный ответчик, обязуется выплатить, а ежели помрет раньше, чем детине семнадцать стукнет, то расчет передаст старшему в роду и на том крест готов целовать при свидетелях и своим подписом нужную бумагу закрепить. Третье: в случае родители дивчины надумают взять дядю Илью к себе в зятя, как он есть, безземельный, бесхозяйственный и без родительской перед Богом заступы, пусть на то будет их добрая воля и общее согласие, а родная семья уже не будет считать его своим и отрывается от него на веки вечные.

На третьем пункте джентльменского соглашения дядя Илья спекся. Он опустился на колени, как мальчик на горох, целовал дедовы руки и слезно просил выкинуть позорный для него пункт, а дед, будучи в душе все-таки либералом, тоже расчувствовался и сделал по просьбе внука. На том дело, однако, не кончилось; родней дивчины причина была сочтена неосновательной, отношения прерваны, отступное с презрением отвергнуто. «Ну, Илько, держись, — предупредил его Марк Петрович. — Не захотел Бог моей опеки, пусть Он теперь Сам тебя и милует, и вызыщет».

Вскоре после того пришла ночью до дому заседланная лошадь дяди Ильи без верхового и принялась ржать, чтоб пустили. Поднялась суматоха, а лошадь без человека, как признак, обозначает то же самое, что лодка с опущенными веслами или потухший очаг, — смерть. Всадника нашли поутру в степи при дороге; он плавал в кровавой луже, но был жив, только сильно избит, и те, кто бил, дважды проткнули ему насквозь грудную клетку вилками-тройчатками. Переливать кровь тогда не умели, и дядя Илья от большой ее потери чуть жизнь за любовь не отдал, но первое, что он сделал придя в себя, так это — назвал поименно троих родных братьев своей возлюбленной...

Судоустройство в станице было на вкус и на цвет; дела разбирались либо судом присяжных из Екатеринодара, либо казачьим кругом. Присяжные действовали по законам Российской империи и все мерили на один салтык, «повинен — неповинен», а кто такой — не суть принцип. Казачий же круг вникал в дело со стороны именно «кто такой?», так как для своих предусматривалась одна шкала наказаний, для чужих другая. Дедушка Антон Маркович рассказывал, как это выглядит. Изловили в Красном лесу банду шесть человек, разбоем занимались, и казачишка один местный туда затесался, так его выпороли на плацу, лишили прав и выгнали из станицы,



а для остальных собрали круг, вывели всех с повязанными руками на веранду атаманской конторы и спрашивают: «Что, господа казаки, будем с ними делать?», а снизу кричат: «Давай их сюда!» Ну, давай, так давай. Поставили пятерых в середине круга, толпа ненадолго сомкнулась, потом отхлынула, а на земле пять трупов лежат. В общем, самосуд. А уж куда дело передать, зависело от человека, в чьих руках находилась атаманская насечка с печатью.

На ту пору атаманил в станице второй мой прадед по бабке. Был он лет на десять помоложе Марка Петровича, фамилия у него была Остапенко, звали Аникий, а отчества не упомяну. Весь расклад случившейся бытовой показывал ему ясней ясного передать дело на круг, тем более, что дядя Илья шел на поправку, а уж старики догадались бы, что раз суд Божий состоялся, то человеку тут и делать нечего: никто никому не должен, обе стороны квиты, да будет мир и покой, а ежели кто из сторон этот покой нарушит, тому пригрозить переводом в иногородние со всеми вытекающими.

Но деду Аникию родной внук был ближе, чем противная сторона или станичные миротворцы, и он позвал присяжных, а те присудили троих братьев к семилетней каторге и послали в Сибирь, откуда ни один из них не вернулся.

Три жизни оборвалось из-за одной незадавшейся любви. Говорят, что жизнь сама по себе умней нас и в ней всегда полно смысла. В данном случае я этого не нахожу. Впрочем, я и прадеду Аникию не судья. Пока горе по чужим дворам ходит, мы все смотрим на него отстраненно и выносим правильные решения, а когда оно случается с нами, мы совсем по-иному мыслим и абсолютных других суждений придерживаемся.

Наверное, мы все-таки ближе к природе, чем к цивилизации, если позволяем чувствам нашим торжествовать над рассудком, но по совести сказать, я не знаю, хорошо это или плохо.

Не знаю также, как дальше сложится. Казаки нынче много толкуют, что, мол, установят автономию и станут жить, как раньше: казачий круг, суд Линча и все такое. Внутреннюю политику будет определять публичная порка, а внешнюю – право зипуна. Неохота думать, что все это возможно.

Между тем, дядя Илья выздоровел, но о семейном благоустройстве не заикался. Уже и дядя Алексей женился, а он так бобылем и ходит. «Ты жениться думаешь?» – спросил его Марк Петрович, когда надоело ждать. «Нет», – ответил тот. «Так мы тебя сами женим».

«Вам надо, вы и жените», – махнул дядя рукой и разговору конец.

Невесту сосватали добротную, породистую, из богатого двора, и посмотреть было на что. Я ее звал тетя Ориша. Отгуляли свадьбу, провели близнюю-дальнюю родню, отоспались за месяц, съели по мешку фундуковых и грецких орехов и стали понемногу привыкать, что теперь так всю жизнь будет, как вдруг молодую невестку определили во двор к летней печке стряпать на всю семью. Дальше пошла чистая литература, которая очень даже не прочь в такие места нос сунуть, где варят-парят-жарят, и обязательно подыскать чего-нибудь классического для затравки. Я самолично встречал по данной теме сюжета три идеально одинаковых и от моего разнящихся лишь тем, что там были собаки, а здесь кошка. Словом, пока невестка там что-то варила-жарила-пекла, круг печки кошка бегала, есть просила, а молодой поварихе ума, поди, не хватило съестным каким-нибудь отрывком тварь домашнюю пожалеть, и она ее кипятком обдала. Кошка, конечно, взвыла и побежала зализываться, а Марк Петрович все это слышал и наблюдал. Не откладывая, чтоб не заржавело, достал он научную свою плетель и отодрал тетю Оришу с такой беспримерной жестокостью, с какой, небось, ни скотину не бил, ни картежников. Она, говорят, недели две страдала в скорбях телесных, а Марк Петрович тем часом, не исключено, раздумывал, стоит ли его селекция таких затрат и жертв.

Дядя Илья и тетя Ориша прожили жизнь, как кошка с собакой, родив при этом четверых детей, – здоровых, осанистых и красивых. Младший мальчик помер лет восьми, поевши кислой капусты из цинкового ведра. Другого, Костика, убили на войне под Великими Луками, и я его помню всего по одному случаю. Мы пошли с ним к ерику за станицей, он сделал бумажный кораблик и пустил в воду. Кораблик поплыл, на него опустился мотылек с ярким ковровым узором, – это было так красиво, что запомнилось в подробностях. Я был вне себя от счастья, воображая, как, должно быть, приятно мотыльку путешествовать столь необычным образом, о чем он, возвратясь, расскажет другим мотылькам и все будут ему завидовать. А Павлушу и Тоню я очень любил и не переставал удивляться, что оба они провели на войне без малого четыре года и – хоть бы цапапина. Дядя Илья умер вскоре после войны, но не своей смертью, – его убила лошадь, ударив копытом в сердце с такой силой, что оно сразу же остановилось. Кто мог предвидеть подобный конец за день, за час, за минуту?*

* Продолжение повести читайте в следующих номерах журнала «Грани» – Ред.

Таруса – Ладыжино. Сценарий «Убийцы».

Андрей Тарковский в Тарусе



Андрей Тарковский. Рисунок Н. Дронникова. Париж. 1985 г.

Наступило лето пятьдесят шестого года. Мария Ивановна по заведенному с довоенных времен правилу снимала дачу – часть дома в деревне, подальше от Москвы, где воздух чище и цена поменьше. В том году дом сняли в деревне за Тарусой, в Калужской области.

Едем с Андреем электричкой до Серпухова, на вокзальной площади голосуем на попутку до пристани и на речном катере плывем вниз по Оке. Дорога замечательная, хоть и долгая. С цивилизацией покончено. Над нами высокое небо с кучевыми облаками, чистые, дивные калужские пейзажи открываются за каждым изгибом реки, и в буфете, пожалуйста, плавленые сырки с лимонадом.

Александр ГОРДОН

Да, с цивилизацией покончено – мы, босые, нагруженные скарбом, поднимаемся через лес, по короткой дороге в деревню.

В деревне, у хозяйки бабы Акули – допотопный быт, керосиновая лампа, но житье прекрасное. Вообще-то мы приехали в Ладыжино не отдыхать, а писать сценарий по рассказу Эрнста Хемингуэя «Убийцы», ведь на следующем третьем курсе мы должны были снимать звуковой учебный фильм. Короткие немые фильмы мы уже снимали на втором курсе.

Еще весной Ромм объявил условия работы: съемка только в павильоне, небольшой состав действующих лиц, в основе – драматическое событие. Драматическое событие, короткий сюжетный рассказ был предложен Андреем.

Андрей дал прочесть мне сборник первых рассказов Хемингуэя, еще довоенного издания. Рассказы были превосходны: своя авторская интонация, место действия провинциальный американский городок, двадцатые годы, сильный драматический материал. А какие диалоги! Простые, выразительные и с громадным драматическим содержанием, видном не в прямом тексте, совсем нет, а в подтексте. Тогда мы открыли для себя понятие подтекста диалога.

А сначала представлю кусок, отрывок из сценария «Убийцы».

Содержание кадра.

Закусочная Генри. В кадре – бармен Джордж, слева от него сидит юный Ник Адамс.

Стук шагов за кадром. В закусочную входят двое в одинаковом пальто.

Джордж: «Что для вас?»

Второй посетитель: «Сам не знаю. Ты что возмешь, Эл?»

Эл: «Не знаю, не знаю, что мне взять... Дайте мне филе под яблочным соусом и картофельное пюре».

Джордж: «Филе еще не готово».

Эл: «Какого же черта оно стоит в меню?»

Джордж: «Это из обеда. Обед с шести часов, а сейчас только пять».

Эл: «На часах двадцать минут шестого».

Джордж: «Они на двадцать минут вперед».



Второй посетитель: «Да черт с ними, с часами! Что же у вас есть?».

Джордж: «Есть разные сэндвичи, яичница с салом, яичница с ветчиной. Печенка с салом».

Второй посетитель, его зовут Макс: «Дайте мне крокеты под белым соусом с зеленым горошком и картофельным пюре».

Джордж: «Это из обеда».

Макс: «Что ни спросишь, все из обеда. Порядки, ничего сказать!».

Диалог этих двух посетителей бара – это диалог заказных убийц, поджидающих свою жертву, и, издевки ради, разыгрывающих из себя гурманов.

Тут мы с Андреем не выдерживаем, бежим к соседке за яйцами, наскоро готовим яичницу, запиваем молоком. Потом продолжаем работать, фантазировать, а после бегом на Оку купаться в теплой парной воде.

Уже темнеет, и видим, как бакенщик, живущий в домике на высоком берегу Оки, садится в лодку, скрывается в тумане. Скрипят уключины...

С берега видно, как зажигаются бакены. Тихо. Слышим в темноте, как фыркает могучий лось, переплывающий реку.

На рассвете под звуки пионерского горна (куда-то давно исчезли идиллические пастушьи рожки) пастух выгоняет стадо. Впереди длинный, жаркий день – сбор земляники, купание, а в самое пекло валяемся на сенниках в полутемной, прохладной избе.

Живо обсуждаем события деревни. Пастух подстрелил лису. На вопрос, зачем он это сделал летом, таинственно молчит. Днем приглашает ловить раков, а ночью на рыбалку с сетью. «Не бойсь!» – с хитрецой тянет он, это про рыбнадзор. Пастух под хмельком, за стадом приглядывает его белобрысый сынишка. К так называемым простым, деревенским людям Андрей относился без всякой идеализации на манер девятнадцатого века. Он был умным, наблюдательным человеком и никогда не задавался вопросами, почему, например, пьяный пастух подстрелил летом лису (кому нужна летняя лисья шкура) или почему он ночью браконьерствует на реке. С людьми он разговаривал просто, серьезно, на равных, но каждого видел насквозь...

А работа втягивает в свою воронку: начинаем подбирать актеров. Андрей говорит: «Хочешь сыграть бармена Джорджа?». Сердце застучало. Про себя думаю: «Роль хорошая, просто отличная. Главное, что – моя. Но роль большая, сквозная». Андрею говорю: «А как же режиссура, где мои сцены?». – «Твоя – с боксе-

ром». – «Андрей, побойся Бога, маленькая сцена!», и добавляю, – а кто боксера играть будет? Если Шукшин согласится, то и я согласен!» – «О боксере поговорим, как приедем в Москву»...

Работа наша над сценарием продолжается и, с интересом – мы вслух читаем эпизоды, и ловим друг друга на неверных интонациях.

Наездом, по выходным, приезжает Марина, привозит сумки с провизией и уезжает – ей надо на работу. Мы тоже снимаемся с места, в пяти километрах Таруса – небольшой городок на берегу Оки. Дорога идет через два глубоких оврага, через деревню Пачево. Андрей рассказывает о Тарусе, о своих знакомых в городе, о могиле художника Борисова-Мусатова.

Каменя, под которым хотела лежать Марина Цветаева после своей смерти, о чем великая Марина писала в одном из своих писем, тогда еще не было, а когда через несколько лет такой камень на берегу Оки поставили, поднялся страшный шум и партийный собачий вой. Как это, камень белоэмигрантке, классовому врагу! Мы в Тарусе в это же время ставим памятник Ильичу, который и посейчас стоит перед разрушенной церковью.

Поднялся большой шум. И, несмотря на протесты писательской общественности, на письма в ЦК, на другие всевозможные возмущения, к берегу подогнали трактора. И цепями стянули с места камень Марины Цветаевой, утащили подальше и утопили в Оке. Лишь спустя много лет камень восстановили и поставили на прежнее место...

Андрей понемногу знал Тарусу. В ней жил поэт Аркадий Штейнберг, друг отца Андрея и соавтор ряда совместных переводов. К Аркадию Акимовичу мы с Андреем как-то зашли в гости. Побеседовали о поэзии, живописи, Андрея это очень волновало; переночевали, а, проснувшись, встали и залезли в душистый малинник, уже оставив в стороне темы поэзии и живописи. Такими с измазанными руками и губами и застала нас, неожиданно появившись на крылечке, Валя, одна из жен Аркадия Акимовича того времени. Нам было жутко неловко, но прощено.

Таруса – городок писателей, поэтов и художников. Одни купили здесь дома и живут круглый год, другие приезжают только на лето. Третьи вынуждены жить в Тарусе постоянно на снятых квартирах, их не пускают в Москву, действует закон «сто первого километра». В городе живут Константин Паустовский, переводчица с английского Елена Голышева со своим мужем, драматургом Николаем Оттенем. Жил там и недавно выпущенный из лагеря талантливейший русский поэт



Николай Заболоцкий, уже тяжело больной. Из лагеря же Туруханского вернулась дочь Марины Цветаевой – Ариадна Эфрон. Позже приехала Анастасия Цветаева.

В городе оказалось много лагерников, в основном из интеллигенции, они налаживали свой скудный быт, зализывали раны...

В Тарусе в это время, не очень-то афишируя, работали над альманахом «Тарусские страницы», вскоре понадевавшим шума не только в литературных, но и в партийных кругах. Мы бывали и у Паустовского, и у Голышевой – они были составителями сборника вместе с Николаем Оттенем. Разговоры велись об искусстве, литературе.

Помню, как Елена Михайловна уверенно говорила своим прокуренным голосом, раздельно, по слогам: «Все че-ты-ре постановления партии, разгромившие литературу и искусство, обязательно и в скором времени бу-дут от-ме-не-ны!» Мы были поражены смелостью и откровенностью ее суждений. Но ждать пришлось более сорока лет. И за выход в свет «Тарусских страниц» в Калужском издательстве пострадали многие: снятие с работы, выговора, понижения. Но уже не сажали, наступала «оттепель».

Обстановка в городке волновала Андрея. Он просто клокотал от гнева, когда слышал о безнравственных поступках обывателей, о непорядочности отдельных писателей, например, в быту. О жадности, интригах, соперничестве.

К счастью, мы встречались и с глубоко порядочными людьми. По-настоящему мы благодарны Елене Михайловне за знакомство с иностранной литературой и науку о переводе с иностранных языков. Она хвалит переводы Хемингуэя, сделанные Иваном Кашкиным. Сама переводит с английского мастерски. Говорить о Хэмингуэе с ней одно удовольствие. Расскажет о просторечье английском и сравнит с русским, и на примере «Убийц», раз уж мы за них взялись, расскажет и о людях Америки, об их нравах...

Летом в Тарусе хорошо. Загорелые писатели ходят в шляпах с дырочками, с палками в руках, строго соблюдают ритуал утренних и вечерних купаний. У многих – моторные лодки...

Моторная лодка – вот из-за чего мы пришли в Тарусу. Договорились с обладателем, а им был сын Елены Михайловны Мика, будущий переводчик с английского Виталий Голышев. Это ему мы обязаны знакомством с американскими романами «Вся королевская рать...», «Полет над гнездом кукушки» Кена Кэйзи и многими другими.

Через неделю небольшой компанией отправились вверх к Алексиному с ночевкой. Когда стало темно, выгрузились на поросший орешником берег. Долго сидели у огня, пекли картошку, разговаривали. Андрей ловко управлялся с костром, нарубил лапника для постелей.

Спать легли поздно, в полной темноте. Марина была трусиха, ей мерещились всякие ужасы. И, действительно, как-то жутко было – место незнакомое, ветер воет, деревья скрипят, шорохи, хруст веток. Мистика какая-то! А утром смеемся над своими ночными страхами...

Андрей рассказывает нам случай, бывший с ним в геологической экспедиции на Курейке в пятьдесят третьем году. Лежит он в охотничьей избушке один, ночью. Так же воет ветер, как этой ночью, деревья скрипят, надвигается буря. И вот вдруг слышит он голос: «Уходи отсюда!». Такой вот отчетливый тихий голос.

Андрей не шевельнулся. Голос снова: «Уходи отсюда!». Андрей выбежал из избушки, то ли повинаясь этому голосу, то ли от испуга, то ли вследствие третьей, неизвестной ему причины. И тут же огромная лиственница, сломанная, как спичка, могучим порывом ветра, упала на избушку по диагонали, как раз на тот угол, где минутой раньше лежал Андрей...

Мы, хоть и сами пережили беспокойную ночь, отнеслись, в общем, с недоверием к такому рассказу. Андрей снова и еще серьезнее уверил нас, что все это было на самом деле с ним. Как выяснилось позже, наше недоверие имело под собой основание...

Вообще Тарковский любил все таинственное и необъяснимое, у него с детства набралось много историй о знамениях, гаданиях и пророчествах. Начав с семейных, деревенских и таежных чудес, Андрей и потом, на более зрелом витке жизни серьезно интересовался непознанной, таинственной стороной бытия. Со временем тайна стала важнейшим компонентом его творчества.

В доме у Оттенов нас познакомили с режиссером Сергеем Дмитриевичем Васильевым, одним из авторов знаменитого «Чапаева». Он отдыхал в Тарусе со своей женой, актрисой Галиной Водяницкой.

Нам с Андреем захотелось показать ему красивейшие места, где находилось Ладыжино. На моторке, которую лихо вел Мика Голышев, мы добрались до нашего пляжа, и всей компанией расположились на девственном песке. Лежали, загорали. Васильев интересовался, чем мы занимаемся, и узнав, что пишем сценарий по Хемингуэю, удивился и спросил: «Это теперь разрешено? Автор-то уж больно хорош! Завидую вам!»



Он погрузился. Ему усиленно предлагали снимать фильмы на революционную тему, а он был уверен, что второго «Чапаева» уже не снимет. «А как у вас с бытом?» – неожиданно спросил Сергей Дмитриевич. «Ничего, справляемся, – ответил Андрей. – К нам по выходным дням сестра приезжает, привозит продукты. Ну, а водку в Тарусе покупаем».

Действительно, Марина своими приездами оживляла наше мужское одиночество и однообразный рацион. Хозяйкин внучек за ней по пятам бегал и просил: «Маминка, пабаски!» – просил колбасу.

Как-то в один из ее приездов случился кошмар. Марина поставила на керосинку кастрюлю с привезенным мясом. В деревне не было никаких холодильников, и из мяса нужно было поскорее сварить суп. Мы горячо обсуждали очередной эпизод сценария, когда к нам вошла Марина и наказала присматривать за керосинкой. У керосинки была одна особенность: постепенно разгораясь, она начинала нещадно коптить. Надо было время от времени прикручивать у керосинки фитиль.

Мы, конечно, клятвенно обещали следить за капризной керосинкой, и доверчивая Марина со спокойной душой ушла в ближайший лес за грибами.

Усердно поработав, мы решили искупаться и спустились к Оке. По дороге окончательно решили, что на роль Ника Адамса нам лучше Люки Файта не найти, одного из убийц попросим сыграть Валью Виноградова, другого по ходу дела. «Ну, а как же с Шукшиным.

С боксером?!», – говорю. «Ты что, упал?! Вася, с его типично русской внешностью?! Пойми, боксер – швед, арийская раса, высокий, белобрысый...».

И тут он сказал слабым голосом: «Горим...» Я посмотрел в сторону его взгляда, и мы помчались, как борзые к деревне, где из окон нашей избы валил густой, черный дым. Мы сразу все поняли: дело пахнет керосином в буквальном смысле слова. Бежим, задыхаемся, а в голове стучит: «А если пожар, а если перекинется на соседей? А если хозяйка, баба Акуля, спит?».

Прибегаем к крыльцу – туча черного дыма навстречу, и мы ныряем в темноту, проклиная нашу беспечность, ощупью добираемся до кухни. Так и есть! Во мраке полыхали огни фитилей.

Завернули фитили, задули керосинку. Открываем окна, двери, зовем: «Баба Акуля, баба Акуля!». Слава Богу, не вернулась еще баба Акуля. Вышли во двор, отдышаться, оглядеться, не бегут ли соседи с ведрами. Андрей вдруг сорвался с места, скрылся в избе и вскоре выбежал оттуда со сценарием в руках.

Когда в избе посветлело, мы увидели, что и стены, и занавеси, и вся нехитрая мебель были покрыты густым слоем сажи. Прибежала Марина, посмотрела на нас свирепо и стала убирать избу...

С тех пор, когда возникала какая-то ситуация, связанная с нашими ошибками, Андрей подмигивал мне и напевал: «Баба Аку-у-ля!».

Тарусское лето Петра Семенина

Наталия СЕМЕНИНА

Лето пятьдесят восьмого года наша семья решила провести в Тарусе. Этот приокский городок был знаком родителям не понаслышке. До войны они как-то отдыхали здесь и запомнили окский песок, прекрасные купания, уютный городок, его чудесные окрестности. Тянуло еще раз вернуться туда, как, вероятно, почти каждого, хоть однажды побывавшего на Тарусской земле.

О Тарусе написано много, говорить о ней можно долго, говорить и не наговориться. Могу сказать одно – и на сей раз она не разочаровала нас.

Чего одни прогулки стоили! Мы выходили из города и шли, куда глаза глядят. Но в какую бы сторону мы не пошли, всякий раз нас ждало открытие: не повторяясь, не скупясь, местная природа поворачивалась все новыми и новыми гранями. Вот это поражало больше всего и это запомнилось – кажется, мы ни разу не повторились, выбирали каждый день новый маршрут – и каждый день изумлялись, приходили в восторг, радовались, не зная, какой дороге отдать предпочтение: новой или вчерашней. Наверное, немало сказано о тарусских берегах. Я не видела больше таких белоствольных и прямых...

С умилением, сродни ностальгическому, вспоминается допотопный автобус, курсирующий между Серпуховым и Тарусой, дребезжащий, душу вытрясывающий. Тогда еще не было прямого сообщения с Москвой, добираться приходилось «на перекладных». Память из своих запасников извлекает осколки мозаики той, уже теперь давней, жизни...

Незабываемая Ока, с ее небыстрым движением, плеском, игрой теней и света, с ее речными запахами, с ее пойменными лугами и крутым тарусским берегом. Даже явное неудобство – освоенный для купания песчаный пляж на противоположной стороне Оки, оборачивалось особым шармом местной жизни, ее особой привлекательной чертой, продлевая общение с рекой; переправа на старом пароме или на лодке – каждый раз новые впечатления и новое удовольствие.

Петр Андреевич впитывал все это разноцветье, тепло, всю эту летнюю щедрость с той молодой силой впечатлений и чувств, с той остротой зрения, которая отличала его восприятие природы, земного мира, оду-

шевляющее этот мир, почти языческое. Для поэта, находившего созвучие своей поэзии «в громах и радугах земли родной» и редко вырывавшегося из города, от его камня, бетона и асфальта, эти летние дни были особыми дорогами.

Но Таруса, как известно, не только точка на географической карте России, это заповедная зона отечественной литературы. И то тарусское лето подарило Семенину и другие яркие впечатления – памятные встречи и беседы.

Петр Андреевич застал в Тарусе своих старых и добрых знакомых, обосновавшихся здесь – Константина Георгиевича Паустовского и Николая Алексеевича Заболоцкого. Были у Петра Андреевича и другие интересные собеседники, но, к сожалению, я не запомнила имен.

По своим отроческим годам я не только не могла разделить с отцом радость общения с этими прославленными тарусскими старожилками, но не могла и вполне оценить важность и значение такого духовного общения.

Но я помню, как он с удовольствием говорил о своих встречах, разговорах, передавал нам яркие детали, фрагменты своих бесед.

И много лет спустя отец вспоминал отдельные моменты, эпизоды своего тарусского лета.

...Больше Петр Андреевич Семенин не возвращался в Тарусу, но те летние дни оставили глубокий след в его памяти, сердце, в его стихах. Можно смело утверждать, что тарусская тема прошла через все его последующее творчество.

Здесь, наверное, уместно отметить, что яркие впечатления поэта не выразились в экспромтах, в поэтических «этюдах с натуры». Первое тарусское стихотворение Петра Семенина появилось через восемь лет – «Паром в Тарусе». Думаю, это говорит о силе и глубине поэтического переживания, о масштабном восприятии феномена Тарусы, в определенном смысле символическом. Таруса, с ее пристанью, с ее пойменными лугами, с ее рекой – это облик родной земли, то ти-



пичное среднерусское обличье, которым наделено короткое имя – Ока.

Да, Таруса в поэзии Петра Семынина – прежде всего ее Ока, жизнь реки, жизнь на реке, жизнь вокруг реки.

Чтобы не углубляться в рассуждения о теме реки вообще в творчестве поэта, выделю здесь, как мне представляется, главное. С его первой реки, незабываемой реки детства, сибирской Оби, река неизменно вдохновляла поэзию Семынина не только как картина природы, милый сердцу пейзаж, она заключала в себе нечто большее, представляла как ипостась Жизни...

Потом было открытие русского Севера с его могучей Северной Двиной.

И, наконец, Ока. Тот, кто помнит Оку тридцатилетней давности, еще не загаженную, не отравленную вкопец, не слишком широкую, но судоходную для барж, речных буксиров, небольших пароходов, с ее неспешным течением, размеренным трудовым ритмом, тот, верно, согласится, что трудно было не подпасть под ее особое обаяние. Чем-то родственным, глубоко интимным веет от нее, домашним, что ли? Памятным глубинной нашей памятью, опытом не одного поколения.

*Река вокруг текла, сверкая,
Как будто пелась впрямь она
Раздольем пойменного края,
В июльский зной погружена.*

*Текла из давности былинной
В кольчужной ряби на стреже
Своей дорожкой долинной,
Как сказ о русском рубеже.*

*Пахнуло остро конским духом,
И дёгтем от колес – впазд, –
И скошенным поутру лугом,
Как пять, как семь веков назад.*

Это цитата из упоминавшегося стихотворения шестьдесят шестого года – «Паром в Тарусе».

И на протяжении всех последующих лет в разное время мысль поэта возвращалась к городку на Оке, и рождались образы, навеянные воспоминаниями о том далеком лете...

С годами Петр Андреевич все больше вспоминал прожитое, увиденное, прочувствованное. Что, наверное, свойственно природе человека, но воспоминания поэтов воскрешают прошлое.

И в конце жизни с неожиданной силой тема Тарусы зазвучала вновь. Как прощание с уходящей жизнью, с ее земной прелестью? Как элегия? Как извечный труд поэзии в ее извечном предназначении отверзать все новые лики бытия, «разгадывая жизни смысл»?

*Июль валяется, что конь
На пойменном лугу заречном.
А на барже поёт гармонь
О чем-то грустном и сердечном.*

.....
*Баржа прошла, и ветер смыл
Хмельных ладов разногослье,
А я, завидуя, следил,
Пока она не скрылась вовсе.
Чему завидовал? Всему –
Любви, реке, игре солдата
И невозвратному тому,
Что пережил давно когда-то.*

И как итог, закономерное завершение своеобразного тарусского цикла в поэзии Петра Семынина читается одно из его поздних стихотворений – «Последний разговор».

Здесь сошлось все – и впечатления той далекой поры, и долгие раздумья старости, и немеркнущий свет духовного общения. Не могу удержаться от того, чтобы не привести это стихотворение полностью. Оно мне кажется очень тарусским, не только сюжетно, но и по духу своему – истинно тарусским.

*Листва кипит под солнцем на ветру;
И этот шум берёзы над рекою,
И старая скамейка на юру –
Мне памятна особою тоскою.
Здесь мы сидели на виду Оки
С больным, отяжелевшим Заболоцким, –
Он вглядывался в даль из-под руки,
Где облако росло над лугом плоским.
– Вот дом решил в Тарусе покупать
И буду жить в нём и зимой и летом,
Да «Нибелунгов» по утрам кропать, –
С Гослитом сговорился уж об этом. –
Он грустно улыбается. Паром,
Нагруженный с лихвой людьми, возами,
Не то идёт, не то застрял дуrom
Среди реки, как между небесами.
– Так просто съездить в прошлые века.
Я обожаю русские паромы.
Вот напишите-ка про старика,*



*Взяв под уздцы эпические громы. –
Над нами август, как атлет литой,
Стоял, накинув весело на плечи
Синь-полотенце свежести речной,
И был в здоровье утреннем беспечен.
– Я жизнелюб, но смерти не боюсь;
Вот «Нибелунгов» расскажу по-русски,
Над вымыслом слезами обольюсь
И в «штопоре» умру от перегрузки...*

*Над гробом Заболоцкого кружил
Сырой октябрь, скользя листвою по стёклам
Писательского клуба, – кто-то читал
Заслуги умершего слогом блёклым.
А я у гроба слышал шум листвы
Густой берёзы над Окой паромной
И видел в знойном блеске синевы
Недавний август и простор огромный.
Поэт в ладье последней уплывал,
Оплаканный Брунгильдою прекрасной,
Которую он научить мечтал
Высокой речи русской в полдень ясный.*

Так прощался Петр Семенин с Тарусой, краем художников и творцов. И не случайно, мне думается, когда в свое время возникла идея альманаха и к Петру Андреевичу обратились с предложением принять в нем участие, Семенин выбрал для «Тарусских страниц» стихотворный цикл, также посвященный Поэту – «Памяти М. Ю. Лермонтова».

У «Тарусских страниц» есть своя история, есть уже и своя библиография, и в конце этих заметок мне хочется пополнить ее кратким, но выразительным откликом:

1 ноября 1961 г.

Дорогой Петр Андреевич.

Какое чудо – Ваши стихи о Лермонтове. Мне, Вашему старинному почитателю, они доставили огромную радость. Особенно «Гроза» и «Отечество».

Вообще – «Тарусские страницы» – сборник – звонкая пощечина всем Кочетовым. Великая русская литература жива, – несмотря ни на что.

Обнимаю Вас. Приветствую Ваших.

С любовью

Корней Чуковский.

«...В сплетение слов и дыханий»



Валентина БОТЕВА

Уже ранние стихи Ботевой поражают находками неожиданных поворотов мыслей и пристальной работой над «вещественной» тканью стиха – звукопись музыкальных строк и безошибочность в отборе слова придает ее стихотворениям черты ювелирной выделки.

Накопив опыт в разнообразии мыслей и звучаний поэтических строк, Ботева пришла к широкой теме, заявленной особенно отчетливо в последние два десятка лет. Явилась поэтическая доминанта – Время. Не сиюминутное, тем более, не социально политические пассажи модных подборок, а время, как метафизическая категория бытия, которое неизменно присутствует у поэта в виде интимного собеседника. Он беседует со временем, как с добрым, а подчас и суровым, но всегда знакомым персонажем своего внутреннего «я».

Говоря языком девятнадцатого века, ее стихи многомысленны и многочувственны. Они воскрешают образные и ритмические изыски двадцатого века и неожиданные контрасты его конца. Пассеизм – любование прошлым «высылает нам скрипучие санки» и переносит в извозничью тишину маленького городка.

В стихах Ботевой часто встречаешь многослойные аллюзии как на сюжеты древней истории, так и литературной классики, где пестрота веков и столкновение типов воздействуют на воображение читателя почти на подсознательном уровне. Хочется читать и перечитывать многие ее стихотворения вслух, улавливая множество неясных смысловых и ритмических отсылок к строкам поэтов, как Серебряного, так и Золотого веков.

Усилия читателя на преодоление сложностей рожают «гремучую смесь» воображения – результат мастерства большого поэта.

Валентина Ботева живет в Донецке. По образованию – химик. У нее сын, Макс, названный в честь Максимилиана Александровича Волошина.

«Тарусские страницы» знакомят читателя не только с ее поэтическим творчеством, но и с художественными работами – графикой к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Глеб ВАСИЛЬЕВ

С молодых ногтей приобщилась Валентина Ботева к классической поэзии и поэзии Серебряного века. С детства пишет стихи, находясь под обаянием личности и творчества Марины Цветаевой. Под обаянием – да, но отнюдь не влиянием. Путь ее в сети поэтических строк самостоятелен и оригинален.

В семидесятые годы, сначала по переписке, а потом и лично, стала она другом поэтов Инны Лиснянской и Семена Липкина. По представлению Инны Львовны появилась первая публикация стихов молодого поэта в журнале «Континент», а затем подборка стихов в «Гранях» без ее участия, просьб и напоминаний – исключительно с подачи автора этих строк и восхищенной оценки редактора журнала.

Странное равнодушие ее к публикациям говорит о несколько замкнутой натуре поэта.



НОВОГОДНЕЕ

Моему роду

Потемневшее небо роняет сухие снежинки, –
обращаясь к себе, почему-то всё смотришь в окно:
в декабре даже сурик замешен на чахлом суглинке,
угасают белила, и туго гудит полотно

под шагами ушедших... Ну что ж, всё равно – с Новым Годом!
Что он мне принесёт? –
как по-детски наивен вопрос...

Если шалою кровью повязан с разбойным народом,
что тебе принесёт замыкающий век – високос...

Отстоялась в российской оседлости смутная тяга
к запредельным пространствам, где воля – единый закон,
обкатала кириллица громкое имя варяга,
но в елецких Якуниных – эхом угадан Хакон.

Меня вырвали с корнем из влажных твоих чернозёмов, –
кто припомнит, что имя твоё – на крови моей, Русь!
Из варягов – да в греки – качась по дорожке знакомой, –
С Новым Годом, мой род! – ничего, я ещё возвращусь.

Словно нити в холсте, неразрывно и намертво слиты, –
род древнее земли – и отсюда не выхватить нить,
мы седлаем коней, под Царь-градом хороним убитых,
и с костров погребальных опять возвращаемся – жить.

ДАМА В ЧЁРНОМ

Дама в чёрном идёт по аллее.
Дамы в чёрном давно уже нет.
Отчего же её я жалею,
отчего же гляжу я ей вслед...

Оттого, что она уже в прошлом,
но не знает об этом пока, –
ещё свеж отпечаток подошвы
с круглой выемкой от каблука.

Ещё с кем-то назначена встреча
в глубине, у садовой скамьи,
ещё кто-то согреет ей плечи,
и прошепчет она – «mon ami...»

А что будет потом – дорисуйте, –
не Париж, так наверно «Кресты»...
День осенний печален – по сути –
и октябрьские краски просты.

В тусклой охре крапп-лаком алея,
чуть мерцает рябиновый цвет...
Дама в чёрном идёт по аллее.
Дамы в чёрном давно уже нет.

* * *

Зачем ты зовёшь – и куда,
что хочешь сказать мне оттуда,
куда не идут поезда,
куда всё равно я прибуду

с той точностью вечных часов,
какой не добьётся механик, –
стираясь песчинкой – на зов –
в сплетение слов и дыханий.

Что хочешь сказать мне – скажи
сейчас, пока всё поправимо,
но голос твой – ветер по ржи –
в ладони, и всё-таки – мимо...

Зачем себе лгу я? – ясна
мне каждая нота и йота, –
так знают до взгляда: красна
рябина – за тем поворотом...





РЕКИ

Лучше быть несчастной, чем никакой.
Лучше – по горлу, чем просто сойти на нет.
Чем нас уносит? – Гераклитовой ли рекой
Или теченьем крови – стеченьем бед?

Знаю, теперь мне прежней никак не стать,
Как не вернуться тому золотому дню.
Старые письма, что ли, перелистать,
Но всё остывает – поэтому не храню.

Бумажный кораблик, чёрной Леты волна,
И никуда не деться от этих рек –
Кто верит словам, тому отольют сполна
Солёной водички, брызжущей из-под век.

Но реки текут. Бывает, текут вспять.
Слёзы смахни – и снова кораблик готовь.
Есть всё-таки то, чего нам не потерять.
Слово есть Бог. А Бог, говорят, любовь...

ДЕТАЛЬ ПЕЙЗАЖА

И виселица тоже – часть пейзажа
в иные времена... Рисуй, художник,
осенние поля, пейзаж – и даже
то, что вдали закрасивает дождик,

похожее на чёрные стропила...
Вверху сорока... Пропиши детали,
но исхитрись, чтоб не было уныло,
чтоб где-нибудь мы всё же увидали

клочок небес – хоть капельку лазури,
иначе – ты же знаешь! – всё пропало...
На каплю цвета измени натуре –
один мазок! – И этого немало

для тех, кто замер на переплетеньи
холщовых ниток – в том углу квадрата,
где прошлое отбрасывает тени
и в будущее требует возврата.



* * *

По белому песку разглаженному морем,
По зеркалу волны вернувшейся назад,
Из лета уходя, со временем не спорим,
Покорные, как те, что покидали сад,
Где брызнул алый сок запретного причастья...
Что потеряли мы, очнувшись ото сна?
Невинность пустоты, бездумных тварей счастье
И бесконечный год, где лето и весна.

По белому песку... Нам солнце светит в спину,
По зеркалу волны... Ни тени, ни следа.
Из лета уходя... Нас обожгли как глину,
Два зёрнышка вложив запретного плода.



ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА

И снова брезжит свет в окошке –
 Очаг, свеча.
 Там со стола сметают крошки
 От калача,
 Хлопочет Гретхен – или Марта? –
 Крахмал чепца,
 Там зимней полночью ждут марта,
 А не конца.
 Готовят с Рождества телегу,
 Скользят по льду,
 Идут охотники по снегу.
 И я иду
 За ангелом своим, как Товий,
 В те январь,
 Где на кустах не капли крови,
 А снегири.

ГРАНАТ

Мсть Прозерпины, жажда Евы...
 семь зёрнышек в ладони сжав,
 забудешь – тотчас вздрогнет слева
 и будет каждой каплей прав.

Под чёрствой коркой сладость влаги
 слепит рубиновым огнём,
 а день исписанной бумаги
 не стоит, – не жалеи о нём,

когда качая пальмы веер,
 восходит на небесный круг
 звезда, зовущая на Север
 и вводящая на Юг.

Туда, где будущее зыбко,
 где только тени – без дорог,
 но там, в конце, мелькнёт улыбка –
 цветёт гранатовый цветок.

ВОРОБЕЙ

Что может воробей? – он может много...
 Ему любая по крылу дорога,
 Он может плыть, скользить и кувыряться,
 Он может перепархивать в кустах,
 Построить из душистых трав палаццо
 Иль стать бродягой с песней на устах.
 И в мае на лазоревом закате
 Гореть он может, как павлиний хвост,
 И, принимая мир земной в объятья,
 Дотягиваться до последних звёзд.

Расклёвывая зёрна под прицелом
 Сторонних глаз, он думает о том,
 Что жизнь прекрасна в частностях и в целом,
 Хоть по следу крадется смерть котом.
 Но есть любовь. Она вздымает в выси,
 Где всё смешалось – и баgreц, и синь,
 О, разве не туда мы все стремимся
 За самой беспощадной из богинь?



* * *

Не живут слова без губ –
И не жди других известий,
Ну а боль – она, как струп
На коленке сбитой в детстве.

Ты сказала, он сказал...
Лето кончилось, похоже.
Мы поедem на вокзал,
Только не сейчас, а позже.

На платформе ни души,
Все ушли в другую повесть.
Анна, Анна, не спеши,
Пропускаем этот поезд.

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА

....Если встретишься с графией,
Подари ей неньюфару,
А не встретишься с графией,
Ничего ей не дари.
Если ты поедешь к Нине,
Пригласи с собой Тамару,
Если не поедешь к Нине,
То с Тамарой говори.

Расскажи, что есть поручик,
Так себе, гусар из многих
(Сабля, ментик, эполеты,
И на шпорах серебро),
И добавь: найдётся лучше,
Ибо он из тех убогих,
Записавшихся в поэты,
Променявших на перо
И военную карьеру,
И пирушки полковые,
И балы, где между прочим
Он имел успех у дам,
(Помяни NN и Веру),
Но такое с ним впервые –
Пишет, рвёт бумагу в клочья...
Ах, – скажи, – я всё отдам,
Чтобы вылечить больного,
Ибо болен он смертельно,
Месяц уж не спит и бредит –
Не любовный ли недуг?

Да, мой друг, сие не ново,
Но и впрямь...
Твой безраздельно

М.

P.S. Она приедет?
Напиши мне, милый друг,



* * *

О чём мне горевать? – о прошлогоднем снеге ль,
О том, что за спиной ни крыльев, ни стены...
Всё это ерунда. Гляди – Мужичкий Брейгель
Проходит в стороне, рисуя наши сны.

Опущены поля широкополой шляпы,
Трепещет на ветру, как бабочка, блокнот.
Сейчас он на корабль поднимется по трапу,
И знает лишь Господь, куда он заплывёт.

На свадьбу, на войну? – иль к чёрно-белой птице,
Где потемневший брус, пеньковая петля...
Понять бы, для чего мараем мы страницы,
Понять бы, для чего вращается земля.



ЧУДО

Каждому чуду отмерен срок,
И как ты его ни дли,
А всё же покинет тебя сурок,
А всё же кто-то нажмёт курок,
А всё-таки счёт на дни.

Сколько отмерено нам с тобой?
Сгораем, как две свечи...
Но если лопаты и вразнобой,
Поднимут нас всё же одной трубой
Небесные трубачи.

Где-то бухгалтер подвёл итог,
И счёты напололам.
А ты говоришь – не пропал сурок,
А ты говоришь – ну, какой курок...
– Но каждому чуду отпущен срок!
А ты говоришь – не нам...

* * *

Г. К. Васильеву

Чем оправдать мне птичьи свои права
На эту весну и на удачу – жить?
Будто впервые складываю слова,
Чтобы рвался ритм и тянулась нить.

А всё-таки ритм гуляет, хоть не хмельной,
Видно, земля оторвалась от ног,
Ребра наполнены горечью и виной,
И строчки гнутся – как же сплести венок?

Простите ли? – Да, наверное. Мудрый лоб
Всё тот же, но только закрыты теперь глаза.
Знаю, сожгут не душу, а только гроб,
Но колет иглой нетающая слеза.

Господи Боже, пошли ему благодать,
В белом раю пошли ему светлых встреч,
А мне бы ещё последним стихом в тетрадь
На самой последней странице тихонько лечь.

26 апреля 2009 г.

Лидия Чуковская, Александр Солженицын, Иосиф Бродский о творчестве поэта

Семен ЛИПКИН

Родственник Ардова сообщил, что в «Известиях» грубо обруганы стихи Липкина. Анна Андреевна встревожилась: она высоко ставит поэзию Липкина и очень дружна с ним... А. А. называла имя Липкина среди наиболее самобытных наших поэтов и искуснейших переводчиков...

Лидия Чуковская.
«Записки об Анне Ахматовой»

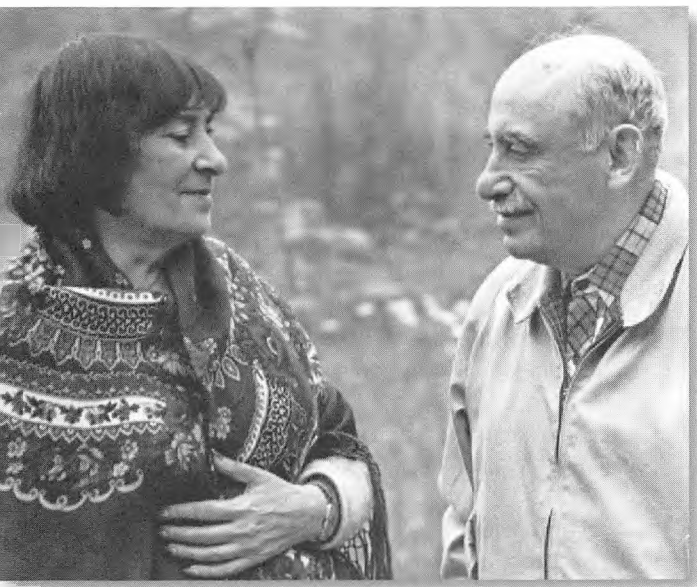
Семен Липкин был принят в члены Союза писателей еще до войны, совсем молодым человеком, всего по нескольким разрозненным публикациям... Стихи его большей частью (не всегда) стянуты в стройность, как теперь уже редко пишут. Добротная традиционность, даже как бы остывание в вечность. Стих плотен по составу слов, звук чеканен, дыхание – без какого-либо напряжения... Использован пласт све-

жих, неистрепанных рифм. Метафорами не балует, а какие есть – все предельно ясные... Но уж сожмет, так сожмет: «Ломовая латынь молдаван». Вереница стихов его выдержана в эпическом высоком тоне. По сюжету, содержанию они разного уровня (бывают и притуманены) – всегда с душевной чистотой и прямоотой, всегда благородны... Большинство стихов его значительны по мысли, иные – из надмирной философии («Фантастика», «Время», «Обезьянник»). А философское размышление поднимается в религиозное («Беседа», «Две ночи»).

Александр Солженицын.
«Из литературной коллекции»

Липкин поэт замечательный во многих отношениях... Содержание совершенно ошеломляет: когда, скажем, в поэтике позднего романтизма рассказывается об отступлении огромной группы войск, это что-то совершенно уникальное, это действительно эпос... Давеча я составлял – в некотором роде повезло мне – избранное Семена Липкина. И там – огромное количество стихотворений на эту самую тему: о войне или так или иначе с войной связанных. Такое впечатление, что он один за всех – за всю нашу изящную словесность – высказался. Спас, так сказать, национальную репутацию... Вообще – замечательный по моему поэту, никакой вторичности. И не на злобу дня, но – про ужас дня.

Иосиф Бродский.
Волков. «Диалоги с Иосифом Бродским»



Поэты Инна Лиснянская и Семен Липкин. Супруги.



Распад сердец

ОЧЕВИДЕЦ

Ты понял, что распад сердец
Страшней, чем расщеплённый атом,
Что невозможно наконец
Коснётся в блаженстве глуповатом,

Что много пройдено дорог,
Что нам нельзя остановиться,
Когда растёт уже пророк
Из будничного очевидца.

ЛЮБОВЬ

Нас делает гончар; подобны мы сосуду...
Кабир

Из глины создал женщину гончар.
Все части оказались соразмерны.
Глядела глина карим взглядом серны,
Но этот взгляд умельца огорчал.

Был дик и тускл его звериный трепет.
И ярость охватила гончара:
Ужели и сегодня, как вчера,
Он жалкий образ, а не душу лепит?

Казалось, подтверждали мастерство
Чело и шея, руки, ноги, груди,
Но сущности не видел он в сосуде,
А только глиняное существо.

И вдунул он в растерянности чудной
Свое отчаянье в её уста,
Как бы страхась, чтоб эта пустота
Не стала пустотою обоюдной.

Тогда наполнил глину странный свет,
Но чем он был? Сиянием страданья?
Иль вспыхнувшим предвестьем увяданья,
Которому предшествует расцвет?

И гончара пронзило озаренье,
И он упал с пылающим лицом.
Не он, — она была его творцом,
И душу он обрел, — её творенье.

ЖИВОЙ

Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.

Над ним, на зелёном просторе,
Как за городом — корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,
Творил он из тысяч историй,
И снять не успел он леса.

Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.

И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвою,
Грядущее жаждет былого,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живёт для живого,
Для смерти живёт неживой.

ОСТРОВОК

Длинная песчаная гряда,
Синяя байкальская вода,

Костерок в таёжной тишине,
Каторжанский омуль на рожне.

А напротив — зелен островок,
Не широк, зато золотобок.

Сколько лиственниц на нём растёт!
Или это, свой прервав полет,

Птицы собрались на островке,
Да застряли в золотом песке.

Улететь не могут никуда,
Стерегут их небо и вода.



ДВЕ НОЧИ

Смятений в мире было много.
Ужасней всех, страшней всего —
Две ночи между смертью Бога
И Воскресением Его.

И ужас в том, что в эти ночи
Никто, никто не замечал,
Как становился мир жесточе
И как, ожесточась, мельчал.

Верблюжий колокольчик звякал,
Костры дымились вдалеке,
А мёртвый Бог уже не плакал
На местном древнем языке.

Но мир по-прежнему плодился
И умножал число вещей...

Я тоже, как и вы, родился
В одну из тех ночей.

* * *

Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?

О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они,

Чтоб их священник в нищем храме
Сказал седым и молодым,
А те устами и сердцами
Их повторяли вслед за ним...

СВИРЕЛЬ ПАСТУХА

В горах, где под покровом снега
Сокрыты, может быть, следы
Сюда приставшего ковчега,
Что врезался в гранит гряды,

Где, может быть, таят вершины
Гнездовые допотопных птиц, —
Есть электронные машины
И ускорители частиц.

А ниже, где окаменели
Преданья, где хребты молчат,
Пастух играет на свирели,
Как много тысяч лет назад.

Познавшие законы квантов
И с новым связанные днём,
Скажи, глазами ли гигантов
Теперь на мир смотреть начнём?

Напевом нежным и горячим
Потрясены верхи громад,
И мы с пастушьей дудкой плачем
Как много тысяч лет назад.

* * *

Я забыть не хочу, я забыть не могу
Иероглифы птичьих следов на снегу,
Я забыть не могу, я забыть не хочу
Те ступеньки, что скользко сползали к ключу.
Не хочу, не могу эту речку забыть,
Что прошила снега, как суровая нить.
Я забыть не хочу, я забыть не могу
Круг закатного солнца на вешнем лугу.
Я забыть не могу, я забыть не хочу
Эту сосенку, вербную эту свечу.
Только б слышать всегда да и помнить всегда,
Как сбегает с холма ключевая вода.



ПО ДОРОГЕ

Вдоль забора к оврагу бежит ручеёк,
А над ним, средь ветвей, мне в ответ
Соловей говорит по-турецки: йок-йок,
Это лучше, чем русское «нет»,

Потому что неточен восточный глагол,
И его до конца не поймём,
Потому что роскошен его произвол,
И надежда упрятана в нём.

Я не вижу, — каков он собой, соловей,
Что поёт на вечерней заре.
Не шарманщик ли в серенькой феске
своей
появился на нашем дворе?

Пахло морем, и степью, и сеном подвод,
Миновало полвека с тех пор,
Но меня мой шарманщик и ныне зовёт
Убежать к ручейку за забор.

И когда я теперь в подмосковном бору
Соловья услышал ввечеру,
Я подумал, что я не умру, а замру
По дороге к родному двору.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ

Безумье над нами нависло,
Уже с топорами пошли
На прочные, точные числа,
Хмелея от злобы, нули.

Сегодня от злобы и смуты
Хмелеют, балдеют, смердя,
А завтра, от крови раздуты,
Взнесут нулевого вожда.

Лишь Тот, кто, создавши, возвысил
Для радости мыслящий род,
Седмицей сияющих чисел
К спасению нас поведёт.

ВАСИЛИЮ ГРОССМАНУ

Когда безумие воинственно,
А в сердце тьма и пустота,
Как нам нужна простая истина —
Таинственная доброта.

Когда мы заняты раструскою
В родной стране, в умах, в быту,
Как ты, я верю только в русскую
Бессмысленную доброту.

СТЕПНАЯ ТРАВА

Песок течёт, как время,
А зной звенит, как влага,
Там, где овечье племя
Молчит на дне оврага,

Где пастухи степные
У ивовой ограды
Вдруг вспомнят племенные
Забытые обряды.

Траве немного надо:
Густая общность многих,
Она сама — как стадо
Существ зелёногих.

Когда летит в лазури
Рассветный ветер быстрый,
На их зелёной шкуре
Росы он гасит искры.

И может быть, степные
Вот эти овцеводы —
Суть листья травяные
Неведомой породы.

Как небосвод — с долиной,
Как холм песчаный — с далью,
Мы связаны единой
Надеждой и печалью.



КАМЕНЬ

Я камень запомнил средь горных дорог.
Там травы не знают, что где-то их косят.
Он был одинок, как языческий бог,
Которому жертвы уже не приносят.

Он был равнодушен и к бегу машин,
И к тихим движениям стареющих мулов,
При свете дневном оставался один
И ночью, в мерцании звёзд и аулов.

Но было ведь, было: молил его жрец
От глада и мора избавить селенья,
И жертвенник он вспоминал, и овец,
И сладостный запах священного тленья.

Столетия, как стадо, шли мимо него,
Но их замечать не хотел он упрямо.
Когда облака обступали его,
Он думал, что это развалины храма.

* * *

В неверии, неволе, нелюбви,
В беседах о войне, дороговизне,
Как сладко лгать себе, что дни твои —
Ещё не жизнь, а ожиданье жизни.

Кто скажет, как наступит новый день?
По-человечьи запоёт ли птица,
Иль молнией расколота тень
Раздастся и грозою разразится?

Но той грозы жестоким голосам
Ты весело, всем сердцем отзовёшься,
Ушам не веря и не зная сам,
Чему ты рад и почему смеёшься.

ПОДМОСКОВНАЯ СИРЕНЬ

Я мог бы уже не увидеть
Зелёные майские ветви,
Я мог бы забыть, что природы
Изменчиво благообразие,
Я мог бы не знать, что погромы
Кровавить хотят Закавказье,
Я мог бы уже не увидеть
Зелёные майские ветви.

Я мог бы уже не увидеть
Простор необъятного неба,
Я мог бы не знать, что Россия
Умоется собственной кровью,
Я мог бы не знать, что убийства
Грозят моему Подмосквью,
Я мог бы уже не увидеть
Простор необъятного неба.

Я мог бы уже не увидеть
Костры подмосковной сирени,
Я мог бы не знать, что пожаром
Очистится почва родная,
Я мог бы не думать, что почва
Очистится в пламени мая,
Я мог бы уже не увидеть
Кусты подмосковной сирени.

* * *

Я запах осени вдыхаю,
В её вникаю вечера,
И с наслаждением замечаю,
Что жить пришла моя пора.
Вот жизни альфа и омега —
И оторопь берёт меня:
Бегу, но это призрак бега,
Горю, — то видимость огня.

«...Поняла ветер»

Татьяна РЫБАКОВА

Поэт Евгений Винокуров хорошо знал и понимал живопись. Любил Фалька, Фонвизина, ходил на выставки, покупал альбомы. Дома тоже висели картины, которые были ему дороги. Он интересовался творчеством молодых художников, так называемых нонконформистов, бывал у них в мастерских, дружил с Эриком Булатовым...

Через улицу от нас жила, на мой взгляд, гениальная художница, очень близкий мне человек Ева Павловна Левина-Розенгольд, любимая ученица Фалька. Ее муж писатель Борис Левин был дружен с моими родителями, он погиб в финскую войну. С их дочкой Ёлкой мы, трехлетние, вместе ходили в детсадовскую немецкую группу.

Еву и ее комнату, уставленную картинами, помню с довоенных времен. Она была сестрой наркома внешней торговли Аркадия Павловича Розенгольца, за что ее и арестовали, спустя одиннадцать лет после его расстрела, и выслали в Сибирь.

Вернулась Ева в пятьдесят шестом году, и пока ей, как реабилитированной, подыскивали квартиру, жила у Ёлки. В первые же дни она купила тушь, кисти, перья, из табуретки и доски соорудила маленький столик. За ним и родились ее знаменитые циклы «Деревья», «Небо», «Болота», многие работы из которых будут приобретены музеями.

Когда в пятьдесят девятом году я привела к ней моего мужа Женю, Ева уже начала работать над композициями с людьми, названными впоследствии «Рембрантовской серией». Слава об этой ни на кого не похожей художнице уже широко шла по Москве.

Комната тесная, Ева показывает Жене работы, разложив их на кровати. Стоит у изголовья, на ней светлосинее платье под цвет глаз, в руках потухшая папироса. Волосы на косой пробор. Очень красивая. Мы пробыли у нее допоздна. Вернулись домой, Женя быстро прошел в кабинет, стал записывать свой разговор с Евой, кое-где вставляя собственные комментарии:

«Неожиданность суждений... Она не рассуждала, а высказывала свои ощущения и принципы как бы между прочим. Однажды она открыла дверь в парадное, взялась за ручку и ощутила ветер. «Вдруг я поняла ве-

тер», – сказала она. Это было наитие, вдохновение. Ее осенило, когда она открыла парадное своего дома. Рисунки в большинстве своем темны по тону, по освещению, трагичны, тем не менее, одно из ее любимых слов – «радость». Она не садится за работу, пока не почувствует радость, без которой искусства, по-видимому, не бывает».

Я легла спать, повернувшись к стене, мешал свет от настольной лампы. Утром Женя встал вместе со мной, чтобы прочесть мне написанное ночью стихотворение «Поэма о полотёре»*. Лицо его было счастливым: «Посмотри, какой здесь ритм». Он прочел мне один раз, второй, третий...

*Полы тёр полотёр.
Как будто на пари,
Напористый мотор
Работает внутри.
Струится пот со щёк,
А пляска всё лютей.
Он маятник. Волчок.
Сплошной костёр страстей.*

«Перепечатай мне, а? Хорошо бы прямо сейчас».

Один экземпляр я сделала для Евы, забежала к ней вечером отдать «Полотёра». Ева потом с гордостью всем рассказывала, как Женя Винокуров, побывав у нее, в ту же ночь написал стихотворение. Женя, действительно, был под чрезвычайно сильным впечатлением от этой встречи.

Мы бывали с ним у нее еще пару раз. Ева подарила Жене лист из цикла «Небо», одну из первых работ, сделанных после того, как она «поняла ветер». Он стоял у Жени под стеклом в книжном шкафу. Им интересно было разговаривать друг с другом. «Женя так же чувствует ритм и движение, как я, – говорила Ева, – он понимает живопись, у него «хороший глаз».

...В начале января семьдесят восьмого, почти через три года после ухода художницы из жизни, позвонила

* «Поэма о полотёре» опубликована в Первом выпуске «Тарусских страниц» (1961). – *Ред.*



Е. П. Левина-Розенгольц.
«Деревья». 1960 г.
Бумага, тушь, кисть,
перо, размывка.
Частное собрание,
Москва.



Е. П. Левина-Розенгольц.
«Небо». 1961 г.
Бумага, тушь,
кисть, размывка.
Собрание ГМИИ
им. А. С. Пушкина.



Е. П. Левина-Розенгольц. «Люди». Пластическая композиция. 1972–1974 гг. Бумага, пастель. Частное собрание, Москва.



Ёлка: «Одиннадцатого числа Дом художника на Кузнецком отдает зал для однодневной маминой выставки. Согласен ли Женя выступить?» – «Да, согласен.»

Утром я перепечатаваю Жене выступление. Хвалю его: «Какой ты умный, Женька, какое высокое место ты отвел Еве в искусстве, она была бы счастлива услышать о себе такое».

Работы развешаны по стенам, народу тьма. Я всегда волнуясь, когда Женя выступает, сердце бьется где-то в горле. Его слушают внимательно.

«Ева Павловна, – начинает Женя, – подсознательно чувствовала собственную тему в искусстве. Никакой литературы, никакой привязанности к биографическим фактам. Она говорила: «Это будет само собой, это будет через пластику, через линии, ритм». Если искать ей аналогию в поэзии, это, наверное, Мандельштам, который работал так же, понимая весь мир как собрание элементов, тяжести и легкости, плотности и пространства».

Комментарии

Ева Павловна Левина-Розенгольц родилась 29 мая 1898 года в Витебске. В 1925 году окончила ВХУТЕМАС со званием художника I степени и правом поездки за границу. Была в Англии, где полюбила творчество У. Тернера.

В конце двадцатых пишет маслом, главным образом, портреты больших размеров. Много национальных типов. А также рисует пейзажи акварелью. Часто выставляется. В тридцатые годы трудилась в текстильной промышленности по росписи тканей. Позднее для заработка делала копии в Московском союзе художников,

параллельно с этим занималась живописью вплоть до ареста в сорок девятом году...

Во время ссылки, в Красноярском крае, работала на лесоповале, маляром на баржах, медицинской сестрой, а в Караганде, куда ее перевели, художником-декоратором в театре.

Однако расцвет ее творчества пришелся на шестидесятые годы, когда она вернулась в Москву. Но это был уже другой художник, с другим видением мира. По мнению Эрика Булатова: «Никто еще в искусстве не сказал с такой силой о трагедии нашего времени и о человеческом страдании»*.

В эти годы были созданы основные работы: циклы «Деревья», «Болота», «Люди», «Небо», «Портреты», «Фрески», «Пластические композиции». Были они выполнены тушью и в технике пастели.

После смерти художницы в семьдесят пятом состоялись ее персональные выставки: в 1996–1997 годах в Государственной Третьяковской галерее; в 1999 году в Национальном музее «Женщины в искусстве», в Вашингтоне; в 2001 году в Школе-студии рисунка, живописи и скульптуры в Нью-Йорке; в 2002 году в Музее-квартире И. Д. Сытина; в 2008 году в Галлеев-галерее в Москве.

Работы художницы находятся: в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном Русском музее, в Историко-архитектурном и художественном музее «Новый Иерусалим» города Истра; в Государственном музее искусств Каракалпакии имени Савицкого, в Нукусе; в Донецком областном художественном музее, в Художественном музее Джеймс Вурхис Зиммерли при университете Ратгерс, США; а также во многих частных собраниях.

* Eva Levina-Rosengolts: Her Life and Work (Exhibition catalogue). The National Museum of Women in the Arts. Washington D.C., 1999.

Мой первый Самиздат.

«Голубая книга» Осипа Мандельштама

Софья БОГАТЫРЕВА

На Руси издавна существовали жены-переписчицы, супруги и подруги поэтов и прозаиков. Историки литературы не забывают упомянуть их то добрым, то недобрым словом. Жены-хранительницы, вдовы-хранительницы – порождение времен террора, создание советского режима. Их роль в истории культуры велика и почетна, им посвящают и будут посвящать не только литературоведческие труды, но стихи и романы.

На их долю выпала задача куда более сложная, которую уяснить потомкам будет нелегко: не только переписывать, но – главное – прятать, ибо «хранить» в сталинские времена означало «скрывать», а действие это сопрягалось с понятиями «опасность» и «тайна». Все знают, сколько раз Софья Андреевна Толстая переписывала «Войну и мир», но никому не придет в голову осведомляться, где она держала автографы и копии: в старых бутылках, в кастрюлях или на дне корзинки с овощами.

В ряду вдов-хранительниц Надежде Яковлевне Мандельштам принадлежит одно из первых, если не первое, место и книги о ней, по счастью, написаны: она сама стала их автором. Но кое-что добавить к ним можем и мы, младшие ее современники.

В годы Отечественной войны государство, занятое проблемой собственного выживания, почти оставило в покое вдову поэта и ей, в эвакуации, удалось соединить в своих руках большую часть его стихов и прозы. «В Ташкенте, – вспоминает Надежда Яковлевна, – у меня собрались все рукописи. ... Я сначала спокойно держала их у себя, отдавая на хранение только «альбомы», но брали их, впрочем, неохотно. ... Но к концу войны атмосфера стала сгущаться»¹.

В ответ на «сгущение атмосферы» Надежда Яковлевна, встревоженная явными признаками слежки, собирает стихи и прозу Мандельштама – автографы и машинопись, а также записи, в разное время сделанные ею, и передает их Анне Андреевне Ахматовой, когда та покидает Ташкент.

Анна Андреевна улетела в Москву пятнадцатого мая сорок четвертого года, вместе с нею туда пере-

стилась большая часть архива Мандельштама. Привезенные бумаги она поместила у Эммы Григорьевны Герштейн, где они находились в течение двух последующих лет. Однако после публикации печально знаменитого постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград» – оно появилось в центральных газетах четырнадцатого августа сорок шестого года – Эмма Герштейн сочла невозможным далее держать их у себя и вернула Надежде Яковлевне, благо та как-раз находилась в Москве: приехала на каникулы из Ташкента, где в то время преподавала в тамошнем университете.

Эмма Герштейн «...притащила мне перед самым моим отъездом, – рассказывает Надежда Яковлевна, – папку со стихами Осипа Мандельштама, оставленную ей Ахматовой. Взять с собою эту папку я не рискнула... Отложить отъезд я не могла – с трудом добытый билет был у меня в руках, и я уже опаздывала к началу учебного года. В моем положении это могло быть использовано, чтобы выгнать меня и лишить хлеба – того самого черствого хлеба, который мне давала служба. Я крепко выругалась, схватила папку и побежала к Сергею Игнатьевичу Бернштейну. Сергей Игнатьевич выслушал меня и взял папку. Она пролежала у него и у его брата Сани Ивича все опасные годы послевоенного периода»².

Я хорошо помню эту папку – собственно, она, опустевшая, потерявшая свой драгоценный груз, все еще находится в нашей семье – и твердо помню, что появилась она у нас в то самое время, когда бушевала позорная травля Ахматовой и Зощенко.

Два непривычных для меня, ученицы пятого класса, слова – одно с положительным, другое с отрицательным смыслом – «архив» и «постановление» вошли в мою жизнь одновременно и оба сопровождалась запретом произносить их в школе или во дворе.

Родители строго-настрого предупредили: даже самым близким подругам не дай Бог проговориться о том, что в доме хранится архив Осипа Мандельштама или о том, как в нашей семье отзываются о «постановлении».

¹ Надежда Мандельштам. Книга Третья. Париж, 1987. С. 113.

² Там же. С. 116.



Уважаемая Сера Игнатьевна!

В ваших руках находится единственный экземпляр
и расположенный в правильном порядке стихов
отцов моего мужа. Я надеюсь, что после моей
смерти, вы когда-нибудь придёте или
распорядитесь. Я хотела бы, чтобы вы передали
себе полный список стихов, как если бы
я была вашей дочерью или родственницей.
Я хочу, чтобы вы за вами было бы закреплено
это право.

Надежда
Мандельштам.

Завещание 1944 года

Письмо-завещание Надежды Мандельштам
Софье Богатыревой

Это был один разговор, следовательно, события
совпали по времени, и на том основывается моя уве-
ренность, что у моего дяди, Сергея Игнатьевича Берн-
штейна, папка находилась короткое время и вскоре
переселилась к моему отцу: по-видимому, братья сочли
это место более надежным.

Сергей Игнатьевич оставался активным участ-
ником хранения, встречи с Надеждой Яковлевной
по большей части происходили в его присутствии,
для себя же он собственноручно изготовил дубликат:
старомодным «профессорским» почерком аккуратно
переписал все стихи с листочков, принесенных Надеж-
дой Яковлевной.

В связи с этим мне хотелось бы рассказать историю
создания одной книги. Она родилась у нас дома вот в
эту, самую глухую сталинскую пору, между постанов-
лением о журналах «Звезда» и «Ленинград», втопав-
шем в грязь Анну Ахматову и Михаила Зощенко, и не-
задолго до начала кампании против «космополитов»,
втопавшей в грязь бесчисленное число литераторов,

театро- и литературоведов, имевших несчастье носить
нерусские фамилии или просто отличавшихся «лица не-
общим выраженьем», – в том числе, моего отца, писате-
ля, критика Игнатия Игнатьевича Ивича-Бернштейна,
печатавшегося под именем «Александр Ивич».

Книга вышла в свет в количестве трех экземпляров
и была первой самиздатской публикацией, которую мне
довелось держать в руках. Только я не знала, что она так
называется: слово «самиздат» вошло в обиход позднее.

Произведения Мандельштама были в доме и рань-
ше: все книги, опубликованные при его жизни, несколь-
ко автографов – дар поэта, и десятка три стихотворений,
тайно ходивших в списках в среде московских интелли-
гентов. Хранилась здесь и память о нем вживе, о его по-
сещениях, одно из которых, пришедшее на послевоенно-
ежское время, когда ему запрещено было появляться в
Москве, подробно описано в «Воспоминаниях» Надеж-
ды Мандельштам:

«Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня
Бернштейн (Ивич) и позвал нас ночевать к себе. Там
прыгала крошечная девочка «Заяц»; уютная Нюра,
жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хруп-
кий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым
человеком, но он шел по улице, посвистывая как ни в
чем не бывало ... словно ничего не случилось и он не со-
бирался спрятать у себя в квартире страшных государ-
ственных преступников – меня и О. М.»¹

В той же самой квартире девять лет спустя посе-
лился архив Осипа Мандельштама: уцелевшие руко-
писи (пятьдесят семь автографов), прижизненные ма-
шинописные копии (девятнадцать стихотворений по
старой орфографии, девять – по новой), «Разговор о
Данте», переписанный бисерным почерком Надежды
Яковлевны – всего восемьдесят шесть единиц хране-
ния. К ним вдова поэта присоединила составленный
ею – от руки или на машинке – корпус его поздних
стихов в том объеме, которым она располагала к сорок
шестому году.

Прежде всего с драгоценных листков следовало
снять копии: о ксероках-сканнерах-принтерах и про-
чей технике, без которой мы не можем сейчас обойтись,
в те годы и слыхом не слыхивали.

Мой отец в молодости был издателем. В двадцать
первом году он создал в Петрограде издательство, ко-
торое по имени стихотворения и повести Михаила Куз-
мина назвал «Картонным домиком». Просуществовал
«Домик» недолго, но успел выпустить несколько кни-
жек стихов и о стихах, причем каждая отличалась из-

¹ Надежда Мандельштам. Воспоминания. М. 1999. С. 414.

яществом оформления: марка работы Александра Голвина, элегантный формат, изысканный шрифт, тщательно подобранные иллюстрации. Поскольку короткая жизнь «Картонного домика» прошла и закончилась задолго до начала моей, я знала о нем немного. Только благодаря поселившейся у нас папке с архивом Осипа Мандельштама отец – в первый и последний раз – предстал передо мною издателем.

Меня удостоили чести принять участие в выборе бумаги. Скользкие толстые пачки стандартной писчей и той, что для пишущих машинок, были сразу решительно и высокомерно отвергнуты. В писчебумажном магазине на Пятницкой отец долго перебирал блокноты, откладывая те, что казались подходящими, те, что почти подходили, но нет, все-таки не совсем, и те, о которых стоило подумать.

Стопка их вырастала на прилавке, отец норовил разложить их рядом для сравнения, а продавщица сгребала в кучу, я же трепетала под ее начальственным взглядом, на который отец не обращал внимания. Мне хотелось, чтобы уж он поскорее взял хоть какой-нибудь, лучше тот, с серым кожаным верхом и серебряным обрезом – он, кстати, потом достался мне для дневника – чтобы уйти, сбежать отсюда.

В конце концов стопка вернулась на полки под испепеляющий взгляд продавщицы, и в ход пошли наборы почтовой бумаги. Подчеркнутая вежливость обращения («Будьте так добры, если вас не затруднит, вот, пожалуйста, еще тот, с самого верха») – успеха не имела.

К моему ужасу ропот закипал у нас за спиной, где струдилась ватага моих ровесников, полкласса, не меньше: осень, начало учебного года. Эти выбрали мишенью меня, и чего пришлось послушаться, лучше не вспоминать. Отец колебался: что лучше? Белая, изысканного приятного на глаз формата, но тонкая, или голубая, плотная, с тиснением, но размером с обычный скучный лист для машинки.

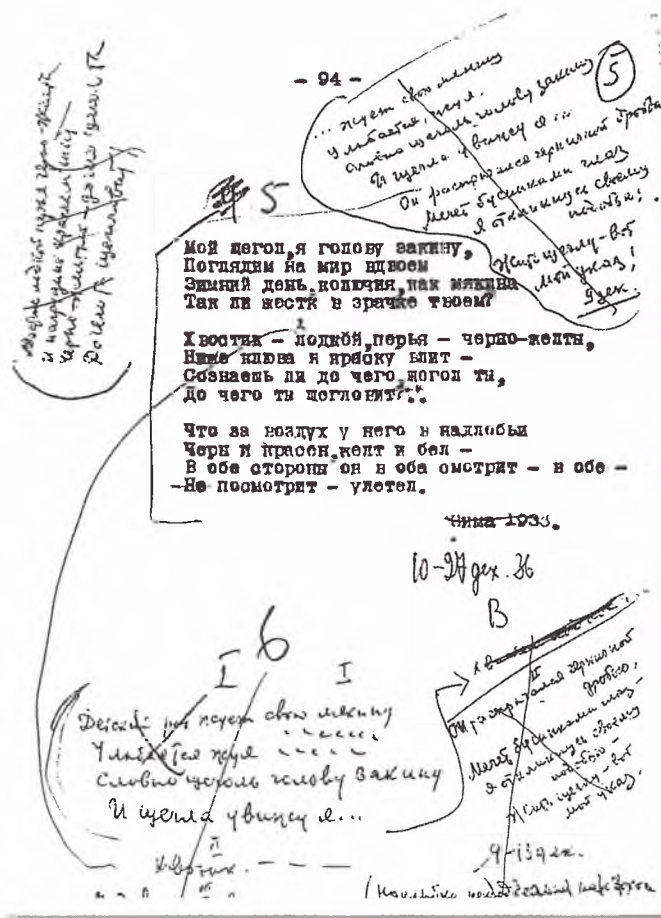
Выбор пал на голубую. Мое терпение и моя, будто бы, помощь были вознаграждены вождленным блокнотом под кожаной крышечкой, в котором в течение двух последующих лет мне предстояло записать изрядное число пустяков – дурным почерком и с кучей орфографических ошибок.

Покупка бумаги оказалась только началом. Следовало улучшить ее формат, с точки зрения отца, недостаточно элегантный для книги стихов великого поэта. Каждый лист надлежало остро заточенным ножом раз-

резать надвое, так, чтобы края не махрились и страницы совпадали по размеру до миллиметра. Остальное выпало на долю моей мамы: печатать на этих неудобных для машинки листочках каждое стихотворение отдельно, без единой опечатки, строго соблюдая размер полей и расположение строк.

Машинка была старенькая, довоенная «Москва», уже однажды послужившая русской литературе. В сорок первом, когда отец был на фронте, а я с другими писательскими детьми – в эвакуации в Чистополе, мама приехала ко мне, захватив среди немногих необходимых вещей пишущую машинку, и в феврале сорок второго отпечатала Борису Леонидовичу Пастернаку только что законченный им перевод «Ромео и Джульетты». Делала она это с гордостью и великим тщанием, а мне, чтобы не мешалась, отдавала третьи экземпляры, по которым, до тех пор избалованная чтением вслух, я выучилась и полюбила на всю жизнь читать по себе и для себя.

Отпечатанный на нарядной бумаге первый экземпляр «Московских» и «Воронежских стихов» Осипа



Страница «рабочего» экземпляра машинописного сборника стихов Осипа Мандельштама с правкой Надежды Яковлевны



Мандельштам казался почти настоящей книжкой, был снабжен алфавитным указателем, оглавлением и заключен в бумажную обложку. Второй и третий выглядели скромнее, зато на их долю выпала долгая рабочая жизнь.

...Каждое лето, начиная с сорок седьмого, Надежда Мандельштам, приезжая в Москву на каникулы из тех отдаленных или не слишком отдаленных мест, где ей выпало скитаться, чтобы заработать на жизнь, обучая студентов учительских или педагогических институтов, реже – университетов, навещала архив в нашем доме.

По летнему времени это обычно происходило на даче, где-нибудь в ближнем Подмоскowie: Болшеве, Валентиновке, Переделкине. На самом большом и удобном столе раскладывались листы второго и, про запас, третьего экземпляров «Полного собрания ненапечатанных стихов Осипа Мандельштама». Надежда Яковлевна с неизменной папиросой, Сергей Игнатьевич (овдовев, он проводил лето в нашей семье) с изогнутой душистой трубкой, отец с блокнотом и пером устраивались вокруг.

Надежда Яковлевна читала вслух стихотворение за стихотворением наизусть, а отец следил по тексту и, если возникали разночтения, они обсуждали, что это: вариант, слово из черновой рукописи или просто ошибка памяти. Исправления обычно – под ее диктовку – вносил отец, новые стихи и строфы она вписывала своей рукой. Когда не хватало места или правка от обилия становилась неразборчивой, в ход шел третий экземпляр.

Первые приезды Надежды Яковлевны всегда знаменовались подарками: у нас появились сначала стихи, обращенные к Наталье Штемпель, в следующий раз – «Меня преследуют две-три случайных фразы ...», позднее – «Детский рот жует свою мякину...» и «Я скажу это начерно, шепотом...».

Затем наступило время вариантов. Думается, что когда она увидела «Голубую книгу», где зафиксировано было все, что помнила из неопубликованных стихов Осипа Мандельштама, она освободила свою память от основного корпуса, и из подсознания стали всплывать отвергнутые или сосуществовавшие на равных правах варианты, «двойчатки» и «тройчатки».

Листки машинописи покрывались густой вязью правки, строки и целые строфы вычеркивались, вставлялись новые, стихотворения менялись местами.

Чрезвычайно трудный для ответа вопрос – всегда ли правка была правомерной, насколько восстанавливала волю поэта и не слишком ли смело Надежда Мандель-

штам обращалась с текстами Осипа Мандельштама, по сей день остается открытым. Мне приходилось писать об этом, анализируя правку, сохранившуюся на втором, «рабочем» экземпляре стихов.

А нарядную «Голубую книгу» в такие дни даже не раскрывали. Только после отъезда Надежды Яковлевны мама аккуратно перепечатывала на остатках тисненой бумаги вновь явившиеся стихи, строфы, исправления, отец заменял страницы.

Так и хранился самодельный томик в неприкосновенности долгие годы, пережил Сталина, торжественно переместился из тайного ящика на открытую книжную полку и встал рядом с «Камнем», «Tristia», «Шумом времени», «Стихотворениями» двадцать восьмого года, первым сборником большой серии «Библиотеки поэта» в ожидании всех тех бесчисленных изданий и переизданий Осипа Мандельштама, до появления которых оставалось еще немало лет...

Но до этого времени ему не суждено было дожить. «Голубая книга», томик в бумажной обложке, который в нашей семье так любили и которым мы в тайне друг от друга гордились, исчез при трагических, по сей день не проясненных обстоятельствах, типичных для советской эпохи.

Надежда Мандельштам в обращении ко мне официальном письме-завещании от девятого августа пятьдесят четвертого года заверяет: «В ваших руках находится единственный проверенный и расположенный в правильном порядке экземпляр стихов моего мужа». На этом основании тексты «Голубой книги» в нашем кругу считались авторизованными и служили для правки ходивших по рукам списков и публикаций, которые стали все чаще появляться в СССР и за границей.

С этой целью в восьмидесятом году самодельная книжка отправилась «работать» в Питер. Ее увез мой друг Сергей Маслов, один из самых блестящих представителей своего поколения, ученый, математик, деятельный правозащитник, ценитель и тонкий знаток русской поэзии.

...Двадцать девятого июля восьмидесят второго года он был убит по пути в Москву грузовиком, врезавшимся в его машину. Трагедия имела вид автодорожной катастрофы, но почерк ленинградского ГБ просвечивал сквозь протокол ГАИ. В северной столице с неугодными властям лицами не единожды расправлялись при помощи наемных колес...

Думаю, что «Голубая книга» в тот летний день тоже направлялась в Москву. Больше я ее никогда не видала и ничего не слышала о ней.

Денвер, США

Поколение Юрия Трифонова

Виктор КУЗНЕЦОВ

В августе две тысячи десятого года ему исполнилось бы восемьдесят пять... Солидный возраст для живого, но для классика, умершего без малого тридцать лет назад, цифра эта кажется странной. Юрий Трифонов* прожил не так мало, чтобы с удивлением восклицать: «Трудно представить его стариком!», но столько лет без него, и – всего восемьдесят пять?

Юрий Валентинович скончался в пятьдесят шесть лет. Смерть не то чтобы ранняя, но явно безвременная. Даты его жизни повергают в изумление, как и даты жизни страны – сам он не отделял одного от другого. Все семидесятые годы прошлого столетия мы жили от одной его книги до другой, послевоенное поколение взрослело на его повестях. Их заглавия, от первой до последней, читаются как биография, цепочка жизни и сознания: «Студенты», «Утоление жажды», «Отблеск костра», «Бесконечные игры», «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Нетерпение», «Другая жизнь», «Дом на набережной», «Старик», «Время и место», «Исчезновение»... Словно главы одной большой книги.

Да он и писал всю жизнь ее одну. У других мечта о Главной Книге, чаще всего неосуществленная, у кого-то главная оказывается в середине или даже в начале, а у него все творчество – одна главная. Разные герои, разные сюжеты, манера письма тоже менялась, а писал он все об одном – о жизни. Знаете, у простых людей есть такое выражение – «жизненная книга»... С каждой новой повестью Трифонов забирался вглубь, не в смысле сложности, а в смысле выхода на новые горизонты.

Иногда развивал то, что перед этим шло как-то боком и вскользь, иногда возвращался к старому на иной основе и даже разделялся с ним – как со «Студентами» в «Доме на набережной», но никогда не повторялся. Какая глупая была критика, твердившая при жизни писателя о его погружении в быт! Это был растворялся, как сахар, в густом настое трифоновской мысли, в его знаменитых монологах якобы от первого лица.

Читать Трифонова, может быть, и не обязательно подряд с первой книги, но остановиться на одной пе-

возможно. И почувствовать всю прелесть одной, не вкусив других, тоже не получится. Все они, повторю, главы одной большой книги. А кто не знает, что с хорошей книгой так трудно расставаться, что, дочитав до конца, открываешь с любого места и вкушаешь заново...

Как он умел писать так емко? Шесть так называемых «московских повестей» уместаются менее чем на шестистах страницах – один не самый толстый томик. А во времени? За десять лет написать, по сути, целую сагу о советской интеллигенции, создать целый трифоновский мир с нарицательными героями и культовыми, как теперь говорят, фразами... Но до этого были сорок с лишним лет жизни вместе со страной, труды и дни профессионального литератора, испытание ранней славой (Сталинская премия в двадцать пять лет!) и похмельем от нее – несколькими годами творческой немоты.

Как ему удалось, не имея никакой другой специальности, смолodu уйдя на вольные хлеба, так хорошо узнать людей? А может быть, именно вольный художник скорее может написать о людях свободно, без шор своей специальности и рабочего опыта? Нет, тут дело скорее в том, что Трифонов умел избежать двух крайностей. Он не был ни «писателем из себя», ни рисователем с натуры. Увиденное и прожитое он всегда преломлял через личную мысль, окрашивал в цвета своих размышлений и оценок, чаще всего неявных.

Так просто с виду и так бесконечно сложно на деле...

Хочется сказать не столько о собственном прочтении Трифонова, сколько о его роли в моей жизни, если угодно – о прочтении меня Трифоновым. Я – из поколения Трифонова, которое, быть может, более реально, чем пресловутое «поколение Пелевина». Трифонов меньше всего похож на культового писателя, невозможно представить какой-либо ажютаж вокруг его посмертных реликвий или игру в бисер на основе его текстов. Быть сформированным его повестями – это даже не значит вырасти его прилежным читателем.

Я не штудировал Трифонова, как классика, не лазил в него за цитатами, как в Ильфа и Петрова, и даже не пе-

* (1925–1981) – *Ред.*



речитывал для наслаждения. Человеком из поколения писателя Трифонова я ощутил себя в последние годы прошлого и начале нынешнего века. Но ощутил это всеми клеточками...

Сегодня в моей памяти остались «Предварительные итоги», если не «Другая жизнь». Трифонова-психолога лучше читать в том возрасте, когда он сам писал эти свои вещи. Но и для Трифонова-социолога сейчас тоже самое время. Удивительно – больше трех десятилетий прошло, но колорит его повестей не выветривается, а наоборот, становится гуще. Умел, умел Юрий Валентинович разглядеть в своем времени то, что пышно расцвело в нашем!

А может, наоборот, это наше поколение из трифоновских книг неосознанно впитало то, что казалось тогда лишь курьезом, мимолетными причудами?

Как в любом организме сидит палочка Коха, так в любом времени таятся зародыши явлений, расцветающих в иные времена. «Маленькая бандочка» Гены Климука – не прообраз ли нынешних мафий и Семей? Спиритизм Дарьи Мамедовны – откуда мог писатель знать о будущих Джунах и Кашпиловских? Кандауров из «Старика» – явный предтеча новых русских. А интеллигентный фанфарон Гартвиг сегодня, наверно, был бы успешным пиарщиком...

Но подлинный герой повестей Трифонова сегодня – это будущий участник и жертва перестройки, дефолтов и кризиса либеральный интеллигент. Как Василий Шукшин породил чудиков, Юрий Трифонов породил неудачников. «Умеющий устраиваться» Геннадий Сергеевич, «ненастоящий автор» Гриша Ребров, «не вполне научный» историк Сергей Троицкий, люмпен-педагог Толя Щекин, романтичный циник Руслан Летунов и многие, многие другие. Одни выступают главными героями, другие обрисованы вскользь, но, как всегда у Трифонова, четко. И если я говорю о поколении Трифонова, то в первую очередь потому, что узнаю в этих неудачниках себя.

Не надо ссылаться на времена, на невостребованность. Неудачник – это не жертва обстоятельств, это социальный и психологический тип любого времени. Да, сегодня несостоявшийся ученый, писатель, инженер чувствует себя отброшенным на задворки гораздо более глухие, чем двадцать или тридцать лет назад. Но это потому, что сегодняшние кандауровы, климуки, глебовы, ларисы и гартвики заняли куда более комфортабельные ниши, чем их предшественники. «Волгу» и дачный кооператив сменили «мерседес» и вилла во Флориде. А троицкие и ребровы вместо ста двадцати рублей перебиваются на некую сумму, эквивалентную тогдашним тридцати. При

этом их обзывают замухрышками уже не кандауровы, а публицисты из тех же чтимых ими изданий...

Впрочем, Трифонов нарисовал нам в «Долгом прощании» и такой поворот, когда бедствующий в пятьдесят втором сочинитель Ребров спустя восемнадцать лет сделался процветающим сценаристом. Но вспоминает прежние годы как лучшие в своей жизни...

Часто думаешь, как бы и о чем писал Трифонов сегодня. Кошунственна фраза «умер вовремя», но ей-Богу, было бы жаль присутствовать при крушении надежд писателя, который готовил своими книгами наступившее время. Он был сильным человеком, не сломался бы и не растерялся, но время, время уж очень неблагоприятно нынче для таких писателей, как Трифонов.

Читать его старые вещи – да, это сейчас возможно и нужно, настал черед увидеть их заново. А как бы Юрий Валентинович успевал осмысливать быстро меняющуюся реальность девяностых? Может быть, тоже ушел бы в публицистику, но скорее погрузился бы в историю. Нет, наш современник – это Трифонов с повестями семидесятых.

Самая, может быть, психологически емкая книга Трифонова – это «Другая жизнь». Чего стоит только заголовок с его бездной смыслов! Тут и продолжение судьбы после смерти, и альтернатива текущему существованию, и мечта о несостоявшемся, и реанимация семьи, и вызов официозу... Сегодня виднее и литературная знаковость названия: Трифонов едва ли не единственный писал другую жизнь, отличную от канонов соцреализма и антиканонов диссидентства.

Были, разумеется, и тогда достойные писатели, и все же мало кому удавалось не для письменного стола написать повесть, всеми страницами опровергавшую и идеологию, и стилистику официоза. Жизнь в этой книге вроде бы не так плоха, не так страшна, она даже часто радостна, но основное ощущение бесконечно далеко от того, что бывает при чтении «удобных для издания» книг. «Я пишу не для того, чтобы сделать приятное», – говорил Трифонов, и он достигал своей цели.

Для меня «Другая жизнь» – это еще и вся биография Сергея Троицкого, этого непонятого, «вечно рвущегося куда-то неудачника». Поколение Трифонова – те, кому сегодня за пятьдесят, ибо «после сорока лет с мужчинами происходят странные вещи: они понимают про себя что-то такое, что было им недоступно прежде. Одни успокаиваются навсегда, других охватывает душевная смута». И при жизни Трифонова хватало всяких новых веяний и поворотов курса, чего уж говорить про наше время!

Трифоновский неудачник – это человек, который не умеет и не хочет колебаться вместе «с генеральной ли-



нией», это тот, чьи повороты в жизни и делах вызваны своей, внутренней логикой.

Советское время создало людей, привыкших к тому, что работа должна быть интересной и приятной. Не у всех это было, но все же найти такую работу или сделать таковой свою можно было. Мирились со скромным заработком, благо на жизнь всегда хватало, а большие деньги без связей тоже значили немного. Эпоха была благоприятной для людей, ищущих в труде удовольствие, даже при том, что творчество сковывалось идейной цензурой.

Но помимо цензуры идейной, была еще и цензура нравов, не в смысле надзора за моралью, а в смысле морали надзирателей. Неизвестно, чем больше было погублено творческих личностей – политическим диктатом власти или террором малых коллективов. Трифоновский Сергей гибнет не столько от невозможности писать так, как хочет (об этом автор говорит прикрито, но понятно), сколько от невозможности дышать как хочет. Ведь интеллигенту душно не только в рамках цензуры, но прежде всего в самом воздухе, враждебном интеллигенции. И не так важно, коммунистический это воздух или коммерческий...

Сергей Троицкий – натура артистичная и творческая. Не случайно знакомство с ним начинается игрой в слова наоборот. И его свадебные шуточки, и предсмертные игры в телепатию – из того же ряда. С этим трудно примириться жене, которая допускает лишь игру как развлечение, но не как увлечение.

А для Сергея и история была увлекательной игрой, занимательной и серьезной одновременно. Homo ludens, он не мог заниматься тем, что ему неинтересно, и не мог заниматься чем-то одним бесконечно. Увлечение – это не фанатизм, фанату чужды радость игры и находки. Человек играющий потому и меняет свои увлечения, что в какой-то момент исчерпывает себя в них, видит предел радости новизны. Это не страсть к разнообразию, иначе такой человек не увлекался бы чем-то долго.

Тут другое: он способен заинтересоваться чем-то периферийным, боковым, а то и вовсе случайно примешанным, и это может стать новым главным интересом. История московских улиц, потом февральская революция, потом агенты охраны, затем генеалогия... Разные увлечения могут пересекаться – так два последних хобби дают спиритизм, потом телепатию.

Но Троицкий отнюдь не просто чудак, достойный снисхождения, у него задатки подлинного ученого. «Не надо путать науку с диссертацией» – этот афоризм семидесятых воплощал драматический разрыв между подлинным поиском и следованием технологическому канону. Азарт исследователя Троицкого вступает в противоречие со схемами, идейными и формальными. И что еще хуже – с карьерными интересами институтских коллег, выбивающихся в начальники. Мало того, что Сергей чужд догматизму, он еще и не умеет подлаживаться. Для жены – это умение портить отношения с людьми, для него – элементарная безразличность.

И третья ахиллесова пята Сергея – отсутствие суетливости. «Семь лет! Те годы, когда ровесники делали лихорадочные усилия, совершали рывки и проталкивались дальше и дальше. А он жил так, будто впереди у него девяносто лет». Но так долго можно протянуть, когда ничего не беспокоит. Сергея же сжигали работа, неудачи и неуступчивость. Мог ли он чем-то пожертвовать – стать менее увлекающимся, более покладистым, просто более равнодушным? Ольге Васильевне кажется, что мог бы, но тут же она понимает – вряд ли.

Мне сегодня намного больше, чем было в момент гибели Троицкому, но почему я только недавно увидел в нем себя? Опять повторяю, что Трифонов надо читать не один раз и лучше в разном возрасте.

Что я вынес из первого прочтения «Другой жизни»? Да, сатирические образы Климука и «восточной женщины», да, хохмы насчет «гастрономических оргазмов» и редкое тогда сокращение имени Владислав. Но как в тридцать три года почувствовать то, что не требует объяснений в шестьдесят шесть?

И еще: Трифонов был не только чутким к своему времени, он разглядел многое расцветшее потом. Неудачник Троицкий был тогда если не исключением, то не самым массовым типом. А сколько троицких сегодня судорожно хватаются за соломинки? Что в семидесятые годы грозило крахом диссертантских амбиций, в начале двадцать первого века оборачивается выбором: цепляйся зубами или опустишься на дно.

«Другая жизнь» – эта книга только начата Трифоновым в семьдесят пятом году, ее окончания мы еще не скоро дождемся...

АНТОЛОГИЯ «Т.С.»

«Прошлое еще предстоит»

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ

В пятьдесят третьем году поэт Павел Антокольский написал автобиографическую повесть «Мои записки», до сих пор неопубликованную*. В ней есть воспоминания о его знакомстве и встречах с Мариной Цветаевой. Антокольский частично использовал рукопись при подготовке очерка «Марина Цветаева»¹ и публикаций, связанных с ее творчеством², но к некоторым важным темам, затронутым в воспоминаниях, ни в одной официальной публикации уже не вернулся. Между тем, именно эти темы определяют сегодня историческую ценность его воспоминаний.

Перед нами непринужденный, доверительный рассказ. Павел Антокольский писал правду – не столько правду факта, уже потому, что не все знал, сколько душевную правду, – такую, какой она ему запомнилась. В своих воспоминаниях он неизменно называет Марину Ивановну Цветаеву просто Мариной, и мы позволим себе эту вольность в честь их дружбы.

Антокольский вспоминает друзей своей молодости – их общих с Мариной друзей. В восемнадцатом году он познакомил ее с Завадским и Алексеевым³, студийцами-учениками Евгения Вахтангова. По-разному сложились их судьбы: Павел Антокольский и Юрий Завадский стали признанными мастерами советской культуры, а Владимир Алексеев еще тогда, в Гражданскую, ушел в Белую армию и его имя было вычеркнуто из жизни и истории страны.

Самой парадоксальной и трагичной оказалась судьба Марины.

Ни революцию, ни новый строй Марина Цветаева не приняла. «Настроена она была очень контрреволюцион-

но», – пишет в этой повести Антокольский. Опубликуй он это в советской печати, выглядело бы как донос. По-смертный донос. И хотя он ее взглядов не разделял ни в юности, ни позже, сделать их всеобщим достоянием считал для себя неприемлемым.

В двадцать восьмом году она уже жила в эмиграции в местечке Медон, под Парижем. Он приехал во Францию на гастроли с театром Вахтангова и встретился с ней. Марина подарила ему свою недавно вышедшую книгу стихов «После России». В дарственной надписи есть строка на немецком языке, перевод которой выглядит так: ПРОШЛОЕ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ. Значит, по-доброму вспоминала их «поэтическое братство», диалоги о Гейне, Гёте. То, что немецкий был ее вторым родным языком, усиливало смысл слов. Она предсказывала встречу в будущем.

Когда же она вернулась в Москву через десять лет, прошлое не повторилось. То ли изменилось что-то в них самих, то ли образцово-неудачное настало время для содружеств и доверительных отношений – во всю шли политические процессы в стране, – и Марина в гостях у Антокольского вела себя настороженно, едва ли не враждебно и больше не пришла. (А ведь ничего недостойного он не совершил.) Неужели ошибкой оказалась надпись на книге?

Вскоре Марины не стало. Пытаясь осмыслить причины ее гибели, Антокольский делает удивительную догадку, впрочем, обрывая себя на полуслове, так и не осознав ее до конца: «... значит, действительно рядом с нею не нашлось ни одного человеческого лица, не было русской речи...».

* Орывки из автобиографической повести «Мои записки» опубликованы в журнале «Грани» в №№ 225 и 226 – 2008 г. – Ред.

¹ П. Антокольский. Марина Цветаева. В цикле «Современники» // П. Антокольский. Собрание сочинений. В 4 томах. Т. 4. 1973 г. С. 39–76.

² П. Антокольский. Театр Марины Цветаевой. Предисловие к сборнику // «Марина Цветаева. Театр». Москва, Изд-во «Искусство». 1988.

³ Алексеев, Владимир Васильевич – актер студии Вахтангова. В 1919 году уехал из Москвы в Белую Армию. Пропал без вести. Мы можем добавить некоторые подробности к этой истории, известные нам от Натальи Николаевны Щегловой-Антокольской, первой жены П. Г. Антокольского, тоже бывшей актрисы студии Е. Б. Вахтангова. В 1919 году она работала в московской организации Центпрленбеж, возникшей после Первой мировой войны, занимавшейся делами пленных и беженцев и санкционировавшей их возвращение в Россию и перемещения по стране. Н. Щеглова выдала Володе Алексееву поддельные документы, чтобы он мог уехать на юг страны. Такой поступок был крайне рискованным: в случае неудачи ей грозило больше, чем потеря работы, но она любила Володю – он был ее первой любовью – и выполнила его просьбу. Об этом Наталья Николаевна рассказала незадолго до смерти.



Принято думать, что Цветаева на чужбине тосковала по России, а потом вернулась домой – на родину, в стихию родного языка. Но дом изменился за те семнадцать лет, что ее не было – Россия одичала морально. В революцию все, что отнимали у богатых, отдавали бедным. Несправедливо, но понятно. В Гражданскую войну красные – власть – воевали за народ, белые – против. Это тоже в логике событий и если не принять, то понять можно.

Но советский строй к концу тридцатых годов совершенно переродился. Советская власть стала врагом собственному народу! – Вот что увидела Марина Цветаева, вернувшись на родину. А еще – искалеченную душу своего народа: не люди вокруг, а нелюди и их язык не заслуживал быть названным русским. Может быть, она поняла, что возвращение – ошибка? Неправильная...

Не сразу, ибо молодость легкомысленна, лишь с годами понял поэт Антокольский чем он обязан поэту Цветаевой. Она была первой, признавшей в нем, совсем еще юном, собрата. И она сделала для него то, чего не сделал никто другой: она открыла ему дверь в свою поэтическую мастерскую, показала свои рукописи. Он узнал как она работает.

Ее творческий метод был для Антокольского необычным, совершенно не похожим ни на что ему известное. В ее дневниках он увидел «стенограмму минутных прихотей». (Словом «прихоть» Антокольский хотел подчеркнуть кратковременность переживаний, негативного оттенка здесь нет.) Марина подробно описывала все, что с ней происходило, каждую минуту бытия. Она тщательно документировала свои мысли, чувства, образы, ощущения, сомнения, вопросы. Все это становилось материалом для ее творчества. Ее стихи рождались из самого потока жизни. И, облекая его в поэтическую форму, она лучше понимала жизнь. «Она жила для того, чтобы писать», – утверждает Антокольский.

Его свидетельство, как очевидца, – важный вклад в понимание природы уникального поэтического дарования Марины Цветаевой.

Но при жизни Антокольский по-своему распорядился тем, что знал. И имел для этого основания. Марина показывала ему свои рукописи и дневники, а это очень личное. Такое доверие обязывает. Вот и решил он: «Пусть когда-нибудь исследуют литературоведы. Не мне о секретах ее мастерства миру рассказывать».

Павел Григорьевич Антокольский не опубликовал свою автобиографическую повесть. «Мои записки» увидят свет более чем через полвека после их написания и

почти через тридцать лет после смерти автора. Воспоминания о Марине Цветаевой – первая в серии готовящихся публикаций.

Прошлое им предстояло в вечности.

Андрей ТООМ, Анна ТООМ
США

Поздняя осень восемнадцатого года, не то октябрь, не то ноябрь. Мне сказали, что на кухне меня спрашивают. Я вышел и вижу в полумраке силуэт женщины с маленькой девочкой. Она сказала, что должна передать мне привет от одного общего знакомого, предложила спуститься вниз и проводить ее.

Мы вышли. Шел мелкий, мокрый снег. Я услышал, что она только что вернулась с Дона, провожала мужа, который бежал к белым. Общий знакомый – это Сергей Г¹, наш студиец, поступивший так же точно, как ее муж. Это был рослый молодой человек с некрасивым, энергичным, характерным лицом и прекрасным низким голосом. Он действительно пропал месяц назад, и мы сильно горевали, ибо возлагали большие надежды на этого человека.

Моя спутница не назвала себя. Мы шли по Пречистенскому бульвару. Она сказала, что Сергей в вагоне читал мои стихи и они ей понравились. Было темно. Я не видел ее лица. Она говорила чуть отрывисто, высоким голосом. В подборе слов, в манере произносить их чувствовалась особая выучка. Она выбирала слова точнее, чем это требуется в житейском разговоре. Каждая фраза была по-своему отточена, не скажу круглая или изящна, нет, просто отточена. И вдруг меня осенила догадка! Как же! Сергей Г¹ говорил, что дружит с Сергеем Э.² А Сергей Э. – муж... Ну, конечно же так. Это она.

– Скажите, вы не Марина Цветаева? – обратился я к собеседнице.

– Да, это я.

Мы условились встретиться еще. Она позвала меня к себе. И очень скоро я поднимался вверх по крутой деревянной лестнице старого московского двухэтажного дома в Борисоглебском переулке и очутился на антресолях. Марина встретила меня в пустой огромной комнате, на стене висел сломанный велосипед вверх ногами, по углам валялись какие-то пожитки, спали ее девочки, одна шестилетняя, с которой я уже был знаком, другая, годовалая, – несчастный, умственно отсталый ребенок, вскоре после того умерший.

Марина ввела меня в свою комнату. Это была крохотная мансарда с низким потолком. Здесь и днем было тем-

¹ Сергей Г. – Гольцев, Сергей Иванович (1896–1918) – друг и однополчанин С. Я. Эфрона, сражался в Белой Армии.

² Сергей Э. – Эфрон, Сергей Яковлевич (1893–1941).



но, так как единственное окно всегда было плотно занавешено. Марина была ночной птицей и день превратила в ночь. Мебель была старая, дедовских времен, дворянская. Какой-то секретер, какие-то ампирные канделябры, чучело орла на стене, маленькие французские книжки начала прошлого века, широкая тахта, покрытая ковром, – да мало ли в Москве странных человеческих берлог, еще и поныне дышащих прошлым, мрачно говорящих о чьем-то чудаческом одиночестве! Я перевидал их многое множество на своем веку, но комнаты Марины не забуду никогда. Она была воплощением неблагополучия, неустойчивости, полного презрения к хозяйству, к быту. Все вверх дном, в беспорядке, в забросе, как будто это старая корабельная каюта, пережившая двенадцатибалльный шторм.

Хозяйка сварила кофе на маленькой спиртовке, поставила корзинку с черными сухарями. Впоследствии оказалось, что это вообще ее единственная пища. Я пробыл у нее всю ночь, и много раз приходил потом. Очень пылкая дружба соединила нас. Имя этой дружбы: поэтическое братство. Любви между нами не было.

Стихи Марины в то время представляли собой поэтический дневник, который она вела непрерывно, изо дня в день. Все, что она думала и чувствовала, противоречивое, смутное, бесформенное, глубоко личное или общезначимое, – все это немедленно, по горячим следам превращалось в короткие стихи. Она жила только для того, чтобы писать стихи. Многие из сочиненного тогда вошло потом в сборник «Версты», но большинство стихов сгинуло бесследно. Хорошо это было или плохо, я теперь не знаю, но тогда стихи Марины произвели на меня огромное впечатление – тем, что предельно были связаны с жизнью. Это была стенограмма минутных прихотей, но за прихотями всегда стояла душа, живая, изменчивая, еще очень молодая – может быть, молодая навсегда.

Марина была рослая, некрасивая женщина с открытым, скуластым русским лицом, стриженная покурсистски, с ровной челкой на лбу. Она шагала по улице широкими мужскими шагами. Через плечо у нее висел охотничий патронташ, набитый папиросами. Все ее дружбы – это короткие, но очень пылкие и восторженные привязанности. Они возникали внезапно и исчезали без следа. Впрочем, след всегда оставался в стихах. Марина зачеркивала не стихи, а предмет своего увлечения.

Настроена она была очень контрреволюционно. Но эта контрреволюция была словесной романтикой, безот-

ветственным и бездейственным выпадом. Почему ей понадобилось защищать какие-то мифические дворянские привилегии, кровных коней, запряженных якобы в дровни, и часовни, распродаваемые якобы на слом, почему ей вдруг понадобилась московская боярская старина – это было совершенно необоснованно. Так что я не удивляюсь, если тогда ее никто не тронул. До того ли было!

Вскоре я привел к ней своих друзей – Ю. Завадского³ и В. Алексеева⁴ – и Марина честно поделила свое увлечение между нами тремя. Были написаны даже стихи, посвященные всем трем, с короткими характеристиками каждого. По-прежнему встречи происходили у нее, в ночной душной мансарде, полной синего табачного дыма и непроветренных рифм. Марина была очень несчастна. От мужа не было вестей. Нищета ее возрастала с каждым часом. Младшая дочка безнадежно болела. Что-то роковое, непоправимое было в атмосфере, окружавшей Марину. А она сама была горда, принципиально беспечна. Как это ни дико звучит, как ни мало соответствует внешнему облику, но она казалась мне какой-то московской Манон Леско. Она же и открыла мне этот роман, она же научила восхищаться его героиней.

Вообще, многое она впервые открыла мне в поэзии. Через нее, сквозь нее я начал понимать Лермонтова, Гейне. Я по-новому, как-то легче и свободнее отнесся к своим собственным пьесам и стихам. Дружа с нею, я понял, что воистину не боги горшки обжигают, что искусство можно делать голыми руками. Я увидел кухню очень одаренного и оригинального поэта и понял, что эта кухня, пожалуй, не лучше моей.

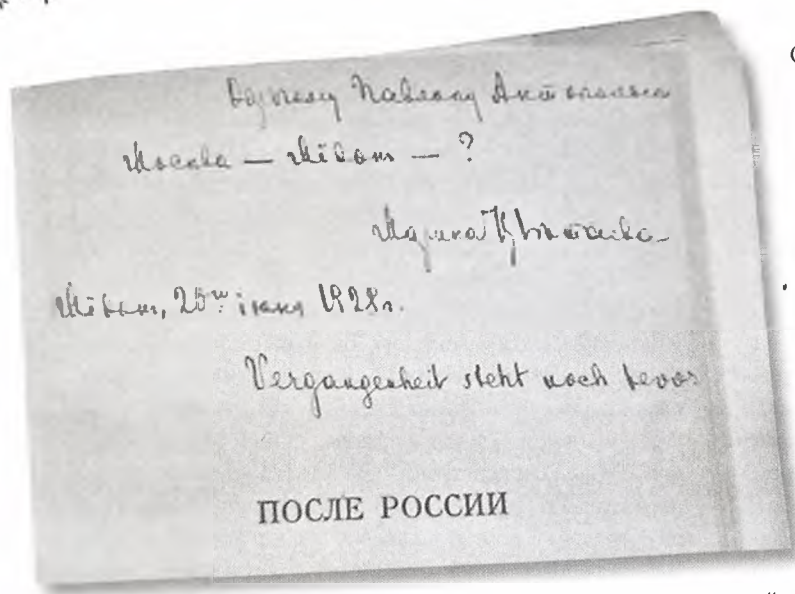
Марина ввела меня в поэтический салон дилетанта-поэта Амари⁵, о котором я еще расскажу. Не думая о том, она вдвинула меня в атмосферу тогдашнего литературного дня. Она была пристрастна, несправедлива в своих оценках, ей нравилось другое, нежели мне. Я не умел с нею спорить, но и соглашаться тоже не хотел. Впрочем, не в этом суть.

Крылатое и легкое шло от Марины. Пушкинской «внутренней свободой» полно было ее существо. Она всегда была в устремлении, в душевном порыве, – бессонная, смелая, по-настоящему она любила даже не себя, а свою речь, свое слово. Но и чужое слово она любила вполне бескорыстно и готова была трубить в честь чужой славы день и ночь. Множество людей прошло и ежечасно проходило перед ее глазами. На основе ми-

³ Завадский Юрий Александрович.

⁴ Алексеев, Владимир Васильевич (1892–1920).

⁵ Амари – Цетлин Михаил Осипович (1882–1945) – поэт, переводчик, предприниматель, меценат, собиравший салоны для поэтов Москвы. Эмигрировал из России в 1919 году.



На книге, подаренной Антокольскому, Марина Цветаева сделала дарственную надпись: «Дорогому Павлику Антокольскому. Москва – Медоне – Марина Цветаева. Медоне, 20 июня 1928 г. Vergangenheit steht noch bevor – Прошлое еще предстоит (нем.).»

молетного, случайного впечатления она строила фантастический образ того или другого из встреченных ею людей, и фантастики своей придерживалась. Выходило, что X – это черт, Y – будущий Гоголь, Z – Казанова. Романтические реминисценции раздавались, как дарственные грамоты. Она возводила случайных проходимцев в Бог знает какой сан, делала это наивно, в силу свойственной ей ребяческой игры в мир, в любовь, в тактично важные отношения между всеми нами.

Наша дружба продолжалась. Она перестала быть пылкой, встречались мы реже, но она всегда следила за мною так же, как я следил за нею. Ее закадычной приятельницей стала С. Голлидэй, как это произошло, мне совсем неизвестно.

Внезапно Марина исчезла. Я узнал, что ее нет в России. Она стала эмигранткой. Прошли многие годы. Я встретил ее в двадцать восьмом году в Париже. Она жила в Медоне с мужем, с взрослой дочерью Алей и четырехгодовалым сыном, родившимся в эмиграции. Мы встретились дружелюбно, я пробыл у Марины целый день. Она подарила мне свою книгу «После России», о моей работе совсем не расспрашивала, говорила, что поссорилась со всеми русскими в Париже. Внешне она изменилась мало, разве что появилась в ее русских кудрях непрощенная седина. Все ее существо было полно мужем, детьми, бедным домиком в Медоне, увитым виноградом.

О прошлом мы не вспоминали и попрощались наспех, как на большом жизненном вокзале, без опасения, что такой встречи может и не быть совсем.

Действительно, встречи могло и не быть. Но она все-таки была. Перед самой войной Марина вернулась в Москву с сыном, шестнадцатилетним высоким юношей, очень на нее похожим. Она пришла ко мне – сидя, полная дама. Немногословная, настороженная, может быть, чуть-чуть враждебная. Разговор был деловой, профессиональный, скучный. Марина не хотела даже остаться, чтобы выпить чаю. Потом я видел ее и слышал чтение новой ее поэмы у одного друга. А через год узнал о страшной ее гибели в глухой деревушке на Каме...

...Шла война. Многие известия о гибели друзей и близких скрещивались друг с другом, как прожектора в ночном небе. Они безжалостно вытягивали свои длинные ручищи, а небо было черное, беззвездное, полное новых угроз. И гибель Марины затерялась в этом грозном мраке так же, как года через два затерялась в нем гибель на фронте ее любимого, единственного, никем не оплаканного сына.

Совсем недавно в Коктебеле вдова Волошина рассказывала мне о безоблачном отрочестве Марины у блаженной черноморской бухты, под окнами волошинского дома. Он был еще тоже не стар, этот чудак и отшельник парижской выучки, волосатый и бородатый мэтр, воротила московских вкусов. Легконогие девочки Цветаевы, Марина и Ася, обожали его. Он целовал их и гладил их русые кудри. А для них впереди был простор, путешествия, любовь, победная юность, крылатая походка. И снова простор. Ничего кроме простора.

И я понял, что жизнь Марины – несмотря на ее ужасный конец – никогда не была и не могла быть несчастной. Она прожила свою жизнь вольно, как сама хотела, в безостановочном движении, радуясь тому, что всегда вокруг люди, которых она так умела идеализировать, создавая их портреты по своему образу и подобию.

Многое тяжелое обрушилось на нее в последние годы ее жизни: утрата мужа и дочери, полное одиночество в эмиграции, нерадостный возврат в Москву. Но все это ничего не значило, все переломил бы, переработал ее вольный характер, ее творческий дар.

И если в тот черный час она покончила с собой, значит, действительно рядом с нею не нашлось ни одного человеческого лица, не было русской речи...

1953 г.

Служение родине...

Марина Цветаева об отце

Вероника ЛОССКАЯ

Сохранилось несколько фотографий цветаевской дачи в Тарусе. На одной из них, лета девятьсот второго года, профессор Иван Владимирович Цветаев стоит на первом плане, в окружении своих детей: Валерии и Андрея от первого брака, и, немного поодаль, Марины и Анастасии. На снимке также видны его вторая жена Мария Александровна Мейн и гувернантка¹.

Всякому любителю творчества и биографии Марины Цветаевой хорошо известны ее воспоминания детства. Этот период жизни семьи в Москве, в Тарусе и в Европе богат освещен в ее прозаических рассказах, как «Мать и музыка», «Чорт», «Хлыстовки», «Башня в плюще» и других. В них описаны главные действующие лица семьи. И как только появляется мать, Цветаева ее выдвигает на первое место.

Мать всегда вызывает у рассказчицы Марины Маруси-Муси богатую гамму чувств: восхищение, любовь или страсть, преклонение и подражание, или соперничество, в то время, как фигура отца появляется реже и несколько отвлеченно. Профессор Иван Владимирович Цветаев занимает положенное своему персонажу место: неживое и как бы зафиксированное на официальном снимке². По общепринятому клише, отец – рассеянный профессор, всецело поглощенный своим любимым делом, а именно созданием Музея. Он не обращает особого внимания на младших дочерей.

Поэтому, можно сказать, что мать в творчестве Цветаевой уже является литературным памятником, тогда как фигура отца – еще только открытие прозаического и литературного наследия Цветаевой.

Но автобиографические рассказы всегда имеют долю вымысла. Поэтому может быть интересно сначала остановиться на самом персонаже профессора³, рассказать кем он был и каковы особенности его Личности, независимо от жизни и судьбы его детей.

Иван Владимирович Цветаев был вторым сыном сельского священника. Он родился 4 мая 1847 года и провел все свое детство в селе Талицы, недалеко от Иванова-Вознесенска.

Учился он сначала дома с отцом и братьями, старшим и двумя младшими, потом в Шуйском духовном училище, а затем поступил во Владимирскую семинарию. Жизнь была суровая и бедная. Зато молодой попovich хорошо учился и добился серьезного знания древних языков: латинского, греческого и еврейского.

После семинарии Иван Владимирович поступил в Петербургский университет на классическое отделение. Тогда закончилась для него жизнь впроголодь и пора юношеской бедности, о которой он в зрелости часто вспоминал, так как он стал получать стипендию. Среди профессоров Ивана Владимировича был известный филолог и декан университета И. И. Срезневский, который однажды дал ему прочесть только что вышедшую «Войну и мир». Влияние этого романа осталось у молодого студента на всю жизнь. Учился он хорошо, увлекался не только историей и древними языками, но и современной русской и иностранной литературой.

После окончания университета, в 1870 состоялась его первая поездка в Европу, в Германию и Италию, где определилась его страсть к древним памятникам. Он тогда увлекся надписями на них, стал изучать итальянские языки, часто ездить в Италию и постепенно его исследовательские работы принесли ему известность в русских и европейских научных кругах.

В 1877 году он был назначен профессором Московского университета на кафедру римской словесности. Занимаясь эпиграфикой, он хорошо понимал необходимость точного воспроизведения изучаемых им надписей. Быть может, тогда и зародилась идея создания в

¹ В книгах: Ю. М. Каган, *И.В. Цветаев, Жизнь, деятельность, личность*, Москва, Наука, 1987; Tsvetaeva *A Pictorial Biography*, Ardis, Ann Arbor 1989, В. Швейцер, *Быт и Бытие Марины Цветаевой*, Москва, Молодая Гвардия (ЖЗЛ), 2003, А. А. Саакянц и Л. А. Мнухин, *Фотолетопись жизни поэта*, стр. 18.

² См., например, фотографию в ук. кн. *A Pictorial Biography*, стр. 68, 1906–1907, где отец снят вместе с Мариной.

³ О нем см. в книге А. И. Цветаева, *Воспоминания*. Москва, 1983, в книге Ю. М. Каган, ук.соч. Сохранились также воспоминания Валерии Цветаевой, старшей сестры, частично опубликованные в книге: *Марина Цветаева в воспоминаниях современников*, М. Аграф 2002, «Из Записок» 9–30.



русской столице Музея древней культуры и собирания для него копий каменных заграничных памятников.

В тридцать три года Иван Владимирович женился на красавице Варваре Дмитриевне Иловайской, с которой он встретился весной восьмидесятого года во Флоренции. Варвара Дмитриевна была дочерью известного историка Дмитрия Ивановича Иловайского. Это была культурная девушка, одаренная прекрасным голосом, ей был двадцать один год и она уже была профессиональной певицей. Молодожены переехали жить в дом Иловайского в Москве, в Трехпрудном переулке.

Варвара Дмитриевна прожила в браке с Иваном Дмитриевичем Цветаевым всего десять лет. Оставив свою музыкальную карьеру, она родила ему двоих детей и скончалась от чахотки, вскоре после рождения второго ребенка, оставив неизгладимую память в сердце мужа и старшей дочери, Валерии, которая потом вспоминала о жизни матери в своих дневниках⁴. Овдовев, профессор женился на Марии Александровне Мейн, чтобы обеспечить воспитание младших детей.

Профессор был уже тогда директором Румянцевского Музея. Работа эта была омрачена в последние годы крупной неприятностью: министр просвещения, А. Н. Шварц возбудил в 1909 году против профессора Цветаева уголовное дело за «нерадение». На самом деле, из Музея исчезло большое количество гравюр. Хотя они потом были найдены, профессор Цветаев в мае 1911 был уволен из Румянцевского музея, без пенсии. Он говорил тогда, что дело Шварца его разорило, но бедность уже не пугала его: после суровых условий юности, он вполне привык к скромной жизни⁵.

В то же время произошел неприятный инцидент Эллиса в Румянцевской библиотеке, о котором рассказывает Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях⁶. Эллис был другом сестер Цветаевых и его несерьезность в обращении с библиотечными книгами всем принесла много хлопот.

Но работа профессора по собиранию средств и созданию Музея была уже начата с середины девяносто восьмого года. Кроме небольшой помощи казны, поступали частные пожертвования, находились меценаты, шла обширная переписка, к которой, как известно, Мария Александровна, а потом и сама Марина прикладывали большие усилия.

Профессор ездил по Европе с женой, чтобы осматривать известные существующие музеи, вдохновлявшие его на сооружение московского, скупать или заказывать слепки. В культурно образовательном значении Музея он не сомневался. Профессору Цветаеву важны были не только произведения искусства, но и копии с них, так как он очень рассчитывал на моральное воздействие красоты на человека, независимо от подлинности творения.

К тому же он полагал необходимым подробное изучение исторического контекста каждого произведения, о чем свидетельствуют его письма и лекции. Профессор считал, что через познание истории и культуры можно в человеке развить эстетическое восприятие искусства.

Строительство Музея было сопряжено с большими трудностями и удивительны были не только энергия, с которой Иван Владимирович преодолевал все препятствия, но и его неизменный оптимизм. Обилие переписки профессора показывает, что он советовался со специалистами самых разных отраслей, чтобы придать Музею художественность и оборудовать его, пусть скромно, но со вкусом. Как известно, закладка состоялась 17 августа 1898, а торжественное открытие Музея только 31 мая 1912 года.

Мария Александровна Мейн была ему помощницей и другом до самой своей смерти, летом шестого года; несмотря на то, что вышла замуж за него не по любви. Она своим умом и культурой прослужила ему верную службу все пятнадцать лет своей замужней жизни. До нас дошла часть ее дневника, в котором отражен трагизм ее судьбы из-за несчастной любви до замужества⁷. Иван Владимирович к концу жизни жаловался, что дома у него было неблагополучно и семья ему «не удалась»⁸, а Анастасия Ивановна добавляет: «зато удалось служение родине...»⁹.

Дети профессора к тому времени уже жили по собственным правилам, что не особенно радовало его. Хотя дочери от второго брака обе были замужем и у Анастасии в августе родился сын, брак ее был неудачным. У Марины родилась дочь в сентябре, но Иван Владимирович к ее стихотворству относился скептически. Сохранился экземпляр книги «Волшебный Фонарь», подаренный Цветаевой отцу с надписью: «Милому папе, хотя он и забраковал эту книгу»¹⁰.

⁴ В книге *Марина Цветаева в воспоминаниях современников*. ук. кн. стр. 9–18.

⁵ Ю. М. Каган, указ. соч. стр. 139.

⁶ А. И. Цветаева, *Воспоминания*, ук. кн. стр. 321–322.

⁷ Дневники М. А. Мейн (1887–1888), хранятся в РГАЛИ (ранее ЦГАЛИ) д. 237, оп. 2 ед. хр. 209.

⁸ Из записок В. И. Цветаевой, ук. произв. стр. 17.

⁹ *Воспоминания*, ук. кн. стр. 464.

¹⁰ См в книге Ю. М. Каган, ук. кн. стр. 157.



Памятник И. В. Цветаеву в Тарусе. Фотография В. Яншиной.

Иван Владимирович умер летом тринадцатого года, когда Цветаевой было не совсем двадцать один год, она тогда уже была поэтом, автором трех поэтических сборников.

Биография Ивана Владимировича свидетельствует о тех человеческих качествах, о которых взрослые дети обычно любят с гордостью и умилением рассказывать младшим поколениям. Тем более, когда речь идет об отце писателя-классика.

В своих воспоминаниях об отце Марина Цветаева как бы следует этому образцу и описывает учтивого профессора, любящего, пусть и не особенно внимательного к семье. Но следует сначала обратить внимание на биографический и творческий контекст создания этих текстов.

В тридцать третьем году исполнилось двадцать лет со дня смерти отца. Кроме того это был и год кончины полубрата Марины, Андрея. И Цветаева окунается в давнее прошлое, вспоминает детство, семью и создает большую часть своей автобиографической прозы.

Она сначала пишет три главы воспоминаний об отце, которые почти сразу опубликованы в парижской периодике, в то время как рукописи их не сохранились. Это известные «Рождение Музея Александра III», «Лавровый венок» и «Открытие Музея»¹¹. За ними следует значительная волна известной автобиографической прозы, в частности разные другие воспоминания детства.

Затем, в тридцать шестом году, Цветаева создает серию в девять очерков, под общим заглавием «Отец и его музей»¹². Из них два она берет из трех напечатанных и сама переводит их на французский язык – «Рождение Музея» и «Открытие Музея». Третий рассказ «Лавровый венок» вдохновляет ее на составление четырех главок по-французски, а именно l'Uniforme (Мундир, русский пер. А. С. Эфрон, Звезда 1970 № 10); La Tondeuse (Машина для стрижки газона. Русский перевод Е. Б. Коркиной); Tsarine (Царица, русский перевод Е. Б. Коркиной); Lauriers (Лавровый венок, русский перевод А. С. Эфрон Звезда 1970 № 10). Кроме того ею в то же время написаны непосредственно по-французски еще два других отрывка: коротенькая главка «Heim» (Приют русский перевод Е. Б. Коркиной), и длинный рассказ «Шарлоттенбург» (русский пер. А. С. Эфрон, Звезда 1970 № 10).

Валерия была не замужем, она в восьмом году поступила преподавателем истории и французского языка в частную московскую гимназию. Но судьба ее во многом была не особенно счастливая.

Один только Андрей пошел по пути отца и позднее стал специалистом по западному искусству.

¹¹ Опубликованные в периодике: *Последние Новости Париж*, 1933, 1го сентября; *Последние Повести*, Париж, 19 сентября и *Встречи*, Париж 1934, № 2.

¹² Самая полная публикация вместе с переводами французских текстов на русский язык в книге: Марина Цветаева *Собрание сочинений в семи томах*, Т. 5. *Автобиографическая проза*. Статьи, эссе, переводы, Москва, Эллис Лак, 1994.



Все девять глав, посвященных памяти отца, объединенные в одно цельное произведение, находятся теперь у парижского издателя и должны вскоре быть напечатаны в крупном двухтомнике прозы Цветаевой, переведенной на французский язык. Публикацию эту можно считать издательской «новинкой» как в России так и во Франции, по примеру издания книги «Земные приметы» у французского издателя в конце XX века¹³.

Цикл французских новелл, под заглавием «Отец и его музей»*, хранится в Москве.

Французские тексты переписаны Цветаевой в две небольшие школьные тетрадки в пятьдесят страниц, первая из них заполнена от начала до конца, в то время как во второй использовано только несколько страничек. Заглавие первой «Отец и его музей I», заглавие второй «Отец и его музей II». Вдоль всех листочков почерк очень аккуратный, почти без помарок. Всем известно, что Цветаева считала это особой вежливостью в отношении к читателю.

В тех трех рассказах, которые Цветаева перевела с русского на французский, почти нет языковых шероховатостей, только несколько выражений являются кальками с русского или с немецкого. Знакомясь с французским текстом, читатель не ищет русских эквивалентов и оборотов, которые могли повлиять на автора. Изредка только встречаются малые языковые погрешности, но не ритмические проблемы как в ее стихотворных переводах¹⁴.

Цветаева явным образом думает по-французски и в совершенстве владеет языком эмиграции, который она знала с детства. Поэтому писать по-французски для нее свободный выбор и удовольствие.

Что касается развития повествования, французская версия значительно длиннее того, что она поначалу написала по-русски. Иными словами, это не простой автоперевод: некоторые события рассказаны более подробно, вместо простого их упоминания в русском варианте.

Получается будто автор, решив отдать дань памяти отца, оказалась втянута в последовательность воспоминаний через возврат в детство и связанный с этим эмоциональный наплыв. В то время как в русском варианте, она оставалась верна своим привычкам сжато-

сти, пока она писала по-французски. Думая о французском адресате, она, видимо, захотела расширить воспоминания и пополнить их подробностями и объяснениями, относящимися к семейной жизни и по-новому осмысленными, ввиду отдаленности смерти родителей: смерть матери ведь почти не отражена в произведениях Цветаевой. Смерть отца, двадцатилетней давности, только теперь, в тридцатых годах по-новому автором воспринята и по-настоящему описана.

Можно напомнить и о материальных причинах выбора языка, а именно: желание завоевать французского читателя. Но независимо от новой мотивации в этой прозе наличествуют те же стилистические особенности, что и в оригинальном творчестве стихов и прозы на русском языке. Встречаются длинные фразы, которые задерживают внимание и дыхание читателя. Абзац часто начинается, как и стихотворная строфа с какого-нибудь важного для Цветаевой слова-понятия, а вслед за ним идет нагромождение прилагательных, эпитетов или придаточных предложений, развивающих это слово-понятие. Лучший пример – стихотворение «Тоска по родине», а в прозе об отце длинное отвлечение о его, так называемой, скупости.

Или, наоборот, фрагмент начинается с перечисления эпитетов, окруженных придаточными предложениями, тогда как главное предложение дано в конце абзаца. Таким образом, семантический удар стоит в конце фразы, что напоминает немецкую стилистику (с конечным глаголом) или музыкальный фрагмент.

Сама Цветаева признается в прозе о Кузmine «Нездешний вечер», что в стихах последняя строка часто приходит первой: ради нее и пишется все стихотворение. Путем подлежащего, названного только в конце семантической единицы, внимание читателя отвлекается, задерживается то на одном, то на другом придатке главной мысли, а в конце может вообще быть повернуто в обратную сторону. Так она строит раннее стихотворение: «Мне нравится, что вы больны не мною», также рассказывает о хитрости отца в главке «Машина для стрижек газона».

Вот как об этом пишет Иосиф Бродский: «Эффект достоверности /.../ на бумаге – то есть в прозе достига-

¹³ Напомним, что разные главы из книги Цветаевой «Земные приметы» публиковались при ее жизни, в Берлине, в Праге и в Париже, по отдельное издание книги в моем французском переводе под заглавием «Indices terrestres» было осуществлено только посмертно издательницей Clémence Niver в Париже в 1987 г. Эта книга и получила цветаевское название «Indices terrestres».

* РГАЛИ под номером 1190 оп. 2 ед. хр. 12 I (французская публикация с разрешения Е. Б. Коркиной, осуществившей обнародование всех Цветаевских архивов в России).

¹⁴ Есть интереснейший и давний анализ французских текстов, в частности стихов и переводов Цветаевой на французский язык в изданной статье: Andre Markowicz Tsvetaeva, traductrice française, Paris, Institut d'Etudes Slaves, 1987, любезно предоставленной мне автором. Автор подробно анализирует главный недостаток французского стиха у Цветаевой, а именно, то она переводит и пишет по-французски тонические, а не силлабические стихи, то есть ритмика ее французского стиха не соответствует французскому стихосложению.



ется приемом драматической аритмии, чаще всего осуществляемой вкраплением назывных предложений в массу сложно-подчиненных»¹⁵. Или еще: Цветаева /.../ «поэт бесконечного придаточного предложения» и далее, поэт постоянно использует прием «уточнения», в поэме «Новогоднее», как и во всем творчестве¹⁶.

Другие особенности французской стилистики Цветаевой в прозе очень близки к ее русской прозе: обилие неологизмов, искание созвучий, сложные семантические построения, как то, что описывалось выше. Нелзя сказать, что в тематике творчества на французском языке преобладает раскованность или свобода, которой могла быть лишена ее русская проза¹⁷.

Начало собрания рассказа «Отец и его музей» отдано истории строения музея в период, когда мать еще была жива. Цветаева подробно рассказывает о росте этого «младшего брата-гиганта», который сопровождал все детские годы девочек.

Далее повествование развивается в отсутствие умершей матери, девочки выросли и автор описывает скромность вкусов и желаний профессора: она подчеркивает его упорство творца, нисколько не озабоченного удобствами жизни, а исключительно судьбой своего детища. Цветаева восхищается его качествами, как экономность и скромность, или тщательность работы и терпение, все это понятно.

Но главная цель ее показать, что эти черты характера она унаследовала именно от отца. Особенности избираются и подчеркиваются ею, чтобы показать каким творцом стала она сама.

Можно добавить, что даже в тех обстоятельствах, где профессор представлен, следуя обычному клише рассеянности и равнодушия к дочерям, в них описаны и другие персонажи, которые придают всей ситуации более теплую обстановку. Вспомним, что в раннем детстве мать была строгой воспитательницей и сила ее характера доминировала во всех подробностях детской жизни.

В развитии интриги, глава «Шарлоттенбург» стоит отдельно. Видимо, Цветаевой самой было не совсем ясно в

каком порядке ее дать: в тетрадке для нее указаны два, а то и три разных места. И еще: всюду, где появляется сестра, Цветаева обязательно подчеркивает некоторые отрицательные черты ее характера, например, подражательность, нытье и прочее. Этому тоже есть явные причины.

С одной стороны, вспоминая раннее детство, Цветаева вписывает его в контекст ощущения собственно-го одиночества. Это нужно чтобы читателю стала понятна обособленность ее «поэтической природы». Ведь главная цель воспоминаний о матери – описать рождение поэта. А чтобы дать основание этой обособленности, надо передать почти придуманное сознание недостатка любви к ней со стороны матери и, следовательно, возможно мнимое предпочтения младшей сестры. Заметим, что в разных других свидетельствах о детстве не упоминается об этом чувстве якобы нелюбви матери к Марине: любимая дочь Ася, видимо, только часть цветавского мифа о детстве поэта, то есть ее самой.

С другой стороны автору, видимо, не под силу возвращаться к тяжелому началу отрочества без матери. Чувство одиночества тогда стало почти невыносимым. И Ася была в этот период ее единственной помощью, отдушиной в преодолении страшного одиночества, еще только начинающего претворяться в творчество. Поэтому и понадобилась ей эта «стилизация» и некоторая несправедливость в описаниях младшей сестры.

Можно еще обратить внимание на другую особенность детских портретов в рассказе «Шарлоттенбург». Здесь обе младшие дочери профессора представлены во время поездки в Шарлоттенбург для выбора гипсовых статуй.

Марина Цветаева пишет: «Une excursion dans notre adolescence muzéenne. Je vais sur mes 16 ans, Assia sur ses 14, il y a 3 ans que notre mère est morte» («Экскурсия в наше музейное отрочество. Мне идет шестнадцатый год, Асе четырнадцатый, вот уже три года, как умерла наша мать.»)

Поездка состоялась летом, в рассказе сестры Цветаевой описаны шаловливыми подростками и ведут себя менее серьезно и сосредоточенно, чем ожидается в их возрасте. Но если подсчитать внимательно, получается, что прошло

¹⁵ В кн. Марина Цветаева *Избранная проза в двух томах*, 1917–1937. Том первый, предисловие И. Бродского «Поэт и проза», Russica Publishers, New York, 1979, стр. 9.

¹⁶ В кн. Марина Цветаева «Стихотворения и поэмы в пяти томах». Том первый, Russica Publishers, New York, 1989, И. Бродский, «Об одном стихотворении», стр. 49–50.

¹⁷ Здесь я хочу выразить некоторое несогласие с доводами А. Бахраха, который пишет о цветавской раскованности в «Письме к Амазонке»: «именно тот факт, что она прибегала к чужому языку, который не был для нее “каждодневным”, давал ей какую-то дополнительную свободу». Во-первых, как мне кажется, французский язык и был для Цветаевой в эти годы «каждодневным», во-вторых, в «Письме к Амазонке», блестящий язык соответствует совершенно особой тематике, не имеющей ничего общего с воспоминаниями детства или с автобиографией. См. статью А. Бахраха в книге «Марина Цветаева в критике современников», II, М., Аграф, 2002, стр. 484.



видимо, не три, а два года, так как Марья Александровна умерла, когда Марине еще не было четырнадцати лет.

В тех главах об отце, где она появляется вместе с сестрой, она всегда кажется моложе своего настоящего возраста: она просто указывает не совсем правильную дату, что легко проверяется другими источниками. И тут тоже: к богатой культуре обеих дочерей профессора здесь примешивается детское желание напроказить, то есть не просто описать себя чуть моложе, чем она была в тот момент на самом деле, а главное, показаться подчиненной законам не логики или воспитания, а личной фантазии. И это, несомненно, пример мифотворчества Цветаевой, которым пронизана вся ее проза.

Главка «Царица» выявляет подлинное сочувствие к императорской семье, уже познавшей столько несчастий. Видимо, здесь отражается мнение семьи в годы самих событий, а не послереволюционные настроения Цветаевой в эмигрантском кругу.

Напомним, что в детстве Цветаева познакомилась в Нерви и в Ялте с настоящими революционерами и была ими увлечена. Но в рассказе «Царица» нет никаких политических намеков, есть только сердечное уважение к чужому страданию.

Надо сказать, что и в главке «Открытие музея» аналогично проявляется почтительное отношение к императорской семье. Эта главка по-французски особенно трогательна для французского читателя, из-за описания самого венка в руках знакомой семьи, Л. Тамбурер, особенно, если вспомнить рассказ «мундир» и фотографию профессора в знаменитом этом мундире¹⁸.

Подпись в конце тетрадошки подчеркивает аккуратность автора, она повторяется и во многих других рукописях: «Fin de copier le 15 mai 1936», (кончила переписывать 15 мая 1936 г), также как и указание даты и адреса на первой странице первой тетрадошки «(Mai 1936, Vanves (Seine) 65 rue J. B. Potin)».

Одна из особенностей создания мифа в творчестве Цветаевой касается не только прозы об отце, а всей ее прозы вместе взятой. Цветаева пишет рассказы, очерки, отдельные главки одного повествовательного сюжета, но всегда выдает их за быль, с исторической точностью. Ради этого, она описывает личность персонажей: родных, семьи, друзей, окружавших ее в разные периоды жизни и сохраняет им их собственные имена. Она вспоминает и описывает отдельные факты, извест-

ные биографам из других источников. Все это создает общую картину абсолютной достоверности историка.

Но, на самом деле, почти каждый известный нам факт подан с легким цветаевским сдвигом. Всем биографам Цветаевой известен, например, миф о ее собственном рождении с неточностью в два года. Теперь давно установлены и год ее рождения, и день, и месяц, и эта неточность обычно приписывается женскому кокетству.

Но, кроме случая в Шарлоттенбурге, описанного выше, есть другие примеры подобной неточности в биографии отца. Вот одна фраза из французской прозы: «Mon père naquit en 1846 – 25 ans après la mort du dernier dieu de la terre – Napoléon.» («Отец мой родился в 1846, – 25 лет после последнего Бога на земле – Наполеона»).

Это – малая неточность, всего лишь год разницы. Тут о погрешности, оплошности, кокетстве или ошибки памяти уже не может быть и речи. Вспомним, как она сама объясняла свою точность в выборе слов и понятий: «Я *день* (у стола, без стола, в море, за мытьем посуды – или головы – и так далее) ищу *эпитета*, то есть О Д Н О Г О слова»¹⁹. Сдвиг здесь нужен Цветаевой ради сближения с именем Наполеона, ради соответствия круглой наполеоновской дате!

Иной пример: в главе «Открытие музея» сказано о старости всех присутствующих: «мой брат и муж здесь единственные молодые». И далее Цветаева пишет: «это восемнадцатилетний зять моего отца».

Открытие Музея состоялось 31 мая 1912 года. Сергей Эфрон родился 26 сентября 1893 года, значит, к открытию Музея он был старше восемнадцати лет, правда ненамного, но Цветаевой нужен был контраст между почтительностью к возрасту сановников и вельмож – и молодостью юного мужа, почти подростка, разбившего бутылки с минеральной с водой.

По поводу этих рассказов, Анастасия Ивановна написала потом в своей книге: «Моя сестра Марина дала гротескное, как ей свойственно, описание этого торжества. Я опишу, что помню»²⁰.

Здесь уместно повторить давно известную цитату из письма Марины Цветаевой Вере Буниной по поводу воспоминаний детства обеих: «Какова цель (Ваших писаний – и моих о людях)? В О С К Р Е С И Т Ь». И на следующей странице о том, что Анастасия Ивановна называет «гротескным», а Марина Ивановна «иносказанием»: «Я, конечно, многое ВСЕ, по природе своей, иносказую, но думаю – и это жизнь. Фактов

¹⁸ См. в ук. кн. «Фотобиография», стр. 66; там же профессор снят с сыном Андреем.

¹⁹ Марина Цветаева, Неизданные письма, Умса Press, Париж, 1972, письмо от 28. 08. 1935, стр. 502.

²⁰ А.И. Цветаева. *Воспоминания*, ук. соч., стр. 461–464.



я не трогаю никогда, я их только толкую. Так я писала все свои большие вещи»²¹.

В заключение можно подчеркнуть, кроме издательской удачи, о которой было сказано выше, что проза об отце представляет в творчестве Цветаевой особенно интересный пласт. В ее наследии есть несколько произведений на французском языке. Но «Флорентийские ночи», например, были написаны на основе реальной переписки, в то время как «Письмо к Амазонке» – единственное абсолютно оригинальное французское произведение.

А проза об отце находится на полпути, между этими двумя примерами: некоторые главы – авто-переводы в более пространный вариант, другие – оригинальные главы, без русского подлинника.

Как известно всякому, кто этим когда-нибудь занимался, себя переводить очень трудно: писатель увлекается, переключается на слух и ожидания иноязычного адресата, его буквально заносит, и он создает, на основе знакомой тематики, новое произведение.

Так и случилось, видимо, с Цветаевой: для того, чтобы понятна была самоотверженность и непритязательность к условиям жизни отца, по-французски написана глава «приют». По другим причинам, которые читатель легко находит, вчитываясь в каждую главу, становятся ясны эмоциональные мотивации автора для каждого из остальных французских текстов.

Интересно еще подчеркнуть, что в то время, как описывая детей, Цветаева посвящала им стихотворные циклы (или отдельные стихотворения, об Ирине, например), о старших членах семьи она всегда пишет в прозе, а не в стихах, за исключением самых первых трех поэтических сборников, где часто появляется «мама».

Известие о смерти или годовщина смерти любимого человека служат одновременно источником вдохновения и поводом к созданию мифа.

Но глубокий смысл мифа – дать читателю еще одно толкование себя и своего искусства. Это не есть пресловутый цветаевский эгоцентризм. Отнюдь нет. Это желание показать читателю свою новую маску, еще одну, свой творческий облик, новую тему, в которую рядится ее дар слова.

И наконец, смысл всех произведений-воспоминаний Цветаевой всегда заключается в давней мечте символистов, хотя Цветаева не является поэтом –символистом в техническом смысле слова, а именно – создать жизнь.

У Цветаевой борьба против личной боли проходит через творчество. Стрдание, будь то несчастная любовь, разлука или смерть любимого, любая боль и является источником вдохновения, так как цель создания произведения искусства кому-нибудь посвященного – вернуть человека в жизнь, и, у Цветаевой в частности, преодолеть смерть.

Поэтому рассказ или поэма пишутся в тот момент, когда она узнает о смерти любимого человека, или в годовщину смерти, как в прозе об отце.

Именно в творчестве Цветаева осваивает реальную возможность преодолеть смерть любимого человека. Поэтому в тридцатые годы она и написала серию рассказов об отце. Это тот закон лиризма Цветаевой, о котором она говорит в прозе, что он ей достался от матери и который она переживает вместе с созданием прозы об отце.

В какой-то момент переживается разлука и начинается плач по любимому, накапливаются образы, картины, вспоминается обстановка прошлого. Наполняя и переполняя сердце, эти образы охватывают творца, который в тот момент обращается к единственному для него возможному способу выразить их, то есть к Слову.

Потом наступает пора поисков настоящего подходящего слова, того единственного слова (как она это описывает еще в «Искусстве при свете совести»), которое соответствует данной ситуации.

И тогда, то есть только тогда, когда слово найдено, творец дает поворот на триста шестьдесят градусов, то есть поворачивается от себя в обратную сторону, обращает свое лицо от себя к другому, к тому любимому, кто будет читать и понимать все, что сотворено, воплощено и что подразумевается.

Можно еще сказать иначе: в страдании от разлуки с любимым, лицо творца, здесь поэта-прозаика обращено к Богу, в то время, как в воплощении этого страдания, лицо творца обращено к людям²². Это как бы три различных, но вместе с тем парадоксально и одновременных момента, которые можно назвать вдохновением: переживание страдания, поиск его воплощения и окончательное воссоздание его словами – претворение в творчество: «В начале бе слово», то есть в произведение искусства.

Само творение, выходящее в мир, есть обращение искусства к другому, то есть публикация неизданного и новый к нему комментарий.

Париж.
Франция

²¹ Напомним, что разные главы из книги Цветаевой «Земные приметы» публиковались при ее жизни, в Берлине, в Праге и в Париже, но цельное издание книги в моем французском переводе под заглавием «Indices terrestres» было осуществлено только посмертно издательницей Clémence Niver в Париже в 1987 г. Эта книга и получила цветаевское название «Indices terrestres».

²² См. об этом мою статью: «Перед лицом творца. Обращение к Богу у Ахматовой и у Цветаевой», в сборнике: «Marina Tsveaeva. Un chant de Vie». Paris, Ymca Press, 1996.

Юрий Домбровский: Homo Liber – человек свободный

Из архива Юрия Домбровского *

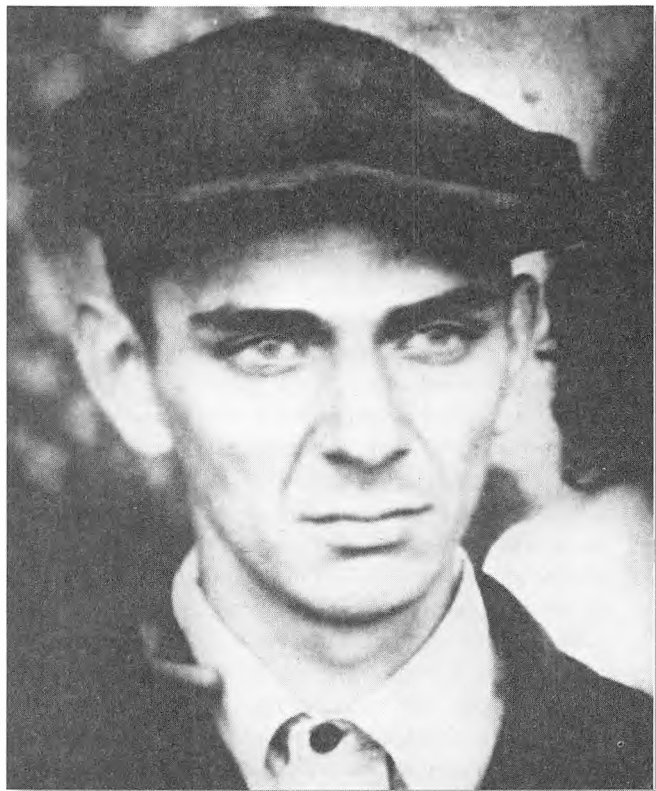
«Самое главное для художника – почувствовать, что он не один, или хотя бы что ему не надолго оставаться одному, он дорвется и докажет свое, его увидят и поймут и примут», – так писал Юрий Осипович Домбровский об одном из своих героев в изданном в Алма-Ате сборнике рассказов о художниках «Факел». Это написано, конечно, и о себе.

О «Хранителе древностей», чудом проскочившем в «Новом мире» осенью 1964 года, появилась только одна рецензия Игоря Золотусского; с трудом он смог ее напечатать в «Сибирских огнях» (1965 год). Оттепель кончалась, начинались другие времена.

Молчанием критики было встречено и издание романа отдельной книгой в 1966 году. Юрию Домбровскому, работавшему в это время уже над «Факультетом ненужных вещей», молчание это недвусмысленно говорило: не принимаем! не дорвешься! Вот почему он так дорожил каждым добрым словом и откликом друга. И так же как и в 1959 году, когда письмо Степана Злобина разорвало молчание вокруг его романа «Обезьяна приходит за своим черепом», наводившего на мысль о родстве нацистской и советской систем, после выхода «Хранителя древностей» Юрия Осиповича поддерживают добрые и умные письма читателей.

Он часто дарил свои книги. Посылал реже – друзьям и писателям, мнением которых особенно дорожил. В апреле 1967 года он отправил книгу «Хранитель древностей» в Париж Борису Зайцеву с дарственной надписью: «Борис Константинович – ведь это просто чудо, что я пишу Вам и могу подарить эту книжку. Дай Вам Бог всего-всего – Вы моя старая (с девяти лет) любовь».

Читающая Россия хорошо знала этого большого писателя, истоки творчества которого восходили к Серебряному веку. Но после того как в двадцать втором году он был выслан на Запад вместе с другими писателями и философами, его «чистая звезда» не светила



Ссылка. Алма-Ата. 1936 год.

русскому читателю почти семьдесят лет. Понятно, каким событием для Юрия Домбровского стал ответ Бориса Зайцева. Из письма Юрия Домбровского редактору П. Косенко (2 апреля 1968 года): «А представь себе, кто мне написал из Парижа? – Борис Зайцев! Жив старик. Ему восемьдесят семь лет, а почерк твердый и четкий, как у молодого. Пишет мне: “Здравствуй, племя молодое, знакомое...” Я – молодое! С ума сойти!»

Когда через двадцать пять лет после создания новелл о Шекспире выходит его книга «Смуглая леди», он также посылает ее Борису Зайцеву: «Дорогому Борису Константиновичу с любовью и уважением. Домбровский. 1 фев. 70 г.»

* Выражаю свою признательность дочери писателя Бориса Зайцева Н.Б. Зайцевой-Соллогуб, приславшей мне ксерокопии письма Ю. Домбровского и посвящения на книгах. – К. Турумова-Домбровская.



Борис Зайцев и Юрий Домбровский были людьми с очень разными судьбами. В 1932 году Юрий Осипович был арестован и отправлен в свою первую ссылку – в Казахстан. Потом было еще три ареста и – Колыма, Тайшет. Из литературы он был выброшен на четверть века. И все-таки общее у них было: все, кто вспоминает о Зайцеве, подчеркивают, что беды не ожесточили писателя; в воспоминаниях о Юрии Домбровском часто говорится о том же.

В шестидесятые годы Борис Зайцев начинает переписываться и встречаться с нашими литераторами – Константином Паустовским, Юрием Казаковым, Виктором Лихоносовым¹ и другими. Для всех он большой авторитет, интересный собеседник. Из письма Зайцева Лихоносову: «...Спасибо за письмо и за журнал с Вашей повестью «Люблю тебя светло». Кстати, я не узнал в Вашей повести ни Казакова, ни Домбровского. Но первого я знаю мало, а второго не знаю совсем. Кроме его книги, очень хорошей, по-моему, и одного или двух его писем...»

Б. ЗАЙЦЕВ – Ю. ДОМБРОВСКОМУ

5, Av. des Chalets, Paris (16).

2 марта 1968 [года]

Многоуважаемый Юрий Осипович, мне даже неловко писать вам с таким опозданием, все же преодолеваю стыд и пишу.

Скажу прямо: первая глава мне показалась (очень давно!) длинноватой и как-то мало располагающей к дальнейшему, и книга задремала. Но прошло время и я опять взялся за нее – совсем недавно. Тут выяснилась моя ошибка. Ничего сонного, напротив, чем дальше, тем больше располагает. Чем? Трудно сказать. Лицо может нравиться или не нравиться – объяснить трудно. Тут понравилось – «необщим выраженьем», быть может. Да, своеобразие и свой какой-то мир, в который Вы затягиваете, это бесспорно. Не могу сказать, чтобы фигуры были ярки или чтобы сатирический оттенок привлекал (я с оценкой Вашей согласен, но это уже отчасти публицистика, не по моей части). А вот какой-то невидимый, но ощущаемый автор управляет откуда-то из-за кулисы и разливает свое зелье по страницам – одушевляющее зелье. И книга живет, вызывает сочувствие и полное расположение к написавшему. (Он совершенно не такой, каким изображен на рисунке! Зачем этот рисунок?)

Очень хороший конец, последние страницы. И вообще хорошо, дай Вам Бог здоровья и сил, здравствуй, племя молодое, незнакомое!

Самый искренний дружеский привет.

Ваш Борис Зайцев.

P. S. Что Вы могли читать мое в девять лет – ума не приложу. (Во всяком случае, «это[г] мальчик, это голова», как говорят евреи.)

Ю. ДОМБРОВСКИЙ – Б. ЗАЙЦЕВУ

Многоуважаемый Борис Константинович.

Огромная благодарность за Ваше доброе, хорошее письмо – только какое же я племя младое – мне пятьдесят девять! Вот Лихоносов – это верно: младое племя, и, кажется, очень талантливое. С большим удовольствием читал Вашу книгу воспоминаний, кое-что я знал, но многое мне совершенно ново; в общем, очень интересно. И о Пастернаке особенно. <...>

<...> Вы хвалите конец романа, а вот Адамович не понял, что конец книги – это конец героя. Завтра его уже не будет. Он написал, что, по-видимому, с героем ничего плохого не случилось и «хорошо бы выбраться завтра в горы» – хотя в том-то и дело, что в горы он никогда уже больше не выберется. Значит, вина автора в том, что он не сумел довести конец до полной ясности. Осенью выйдет моя книга о Шекспире (три крошечных повести: всего на семь листов), и я с огромным удовольствием pošлю ее Вам. В моей посвянительной надписи к «Хранителю» вышла какая-то промашка. Я читал не Вам, а Вас. Читал том Ваших рассказов, и было мне тогда даже не девять лет, а меньше, но помню все до сих пор: прогулка двоих по парку: «За каждое «Вы» – штраф» и «Куда бы нам зайти, я хочу получить штраф». Она поднимает вуаль – видите, как помню. И так все рассказы. Книга белая, без переплета, кажется, издание Московских писателей.

Живу сейчас в Голицыне в старом доме, где умер Куприн и летают тени Ахматовой, Цветаевой². Здесь тихо, хорошо. Как-то очень веет Вашими рассказами: дом Корша, телефон-автомат на почте, где «телефон» написан, дачи, могила Пушкина (брата), в комнате огромная хрустальная чернильница с бронзовой крышкой – эдак на полпуда весом, фонари на столбах.

Будьте здоровы, дорогой Борис Константинович. Желаю Вам много, много лет здоровья и бодрости. Очень хотелось бы получить от Вас какую-нибудь Вашу последнюю книгу, но не знаю, насколько это выполнимо.

Ваш Домбровский.

¹ В. Лихоносов – автор повестей «Чалдонки», «Брянские» и др., а также повести «Люблю тебя светло», посвященной Юрию Домбровскому – Ред.

² Речь идет о Доме творчества писателей – Ред.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Б. ЗАЙЦЕВ – Ю. ДОМБРОВСКОМУ

5, Av. des Chalets. Paris (16).

1 марта 1970 [года]

Дорогой Юрий Осипович, большое спасибо за «Смуглую леди». Прочел все три новеллы с удовольствием и порадовался еще, что это не о лагерях и не жаргон, а (нрзб.) настоящий русский язык.

Сам Шекспир не особенно моего романа (больше всего ценил и ценю «Бурю»), но вы о нем своеобразно написали, да не только о нем, а и [о] том времени.

Первая новелла отлично дает «запах» времени, но две вторые мне больше по сердцу, очень тонко и с каким-то элегантным завитком написаны. Как будто немного длинновато, болезнь, болезнь, завещание... – но ничуть не скучно и не скажешь, как про дамское писание: «вот тут три страницы вон».

Если не лень, напишите о себе, какой Вы, занимаетесь ли только литературой или еще чем.

О себе могу сказать: месяц назад пошел мне девяностый год, кое-что царапаю, но мало и второ-третьестепенное («Из воспоминаний литературных» – в таком роде). В Париже сорок лет, по-франц. говорю мерзко, да и не с кем. Люблю Россию и Италию. Единств. иностранец, с кот<орым>. на «ты», – проф. Ло Гатто, итальянец, по-моему. Русск<ую>. литер<атуру>, и Россию любит больше, чем Италию. Так что отчасти два сапога пара. Всю жизнь переводит Пушкина. Кафедра была в Риме, а теперь он в отставке, возраст тоже не детский – но он много моложе меня.

Ну вот-с, послужный (краткий) список. Будьте здоровы и благополучны, пишите.

С лучшими чувствами

Ваш Бор. Зайцев.

Счастливые люди*

Немного личного

Когда он вошел, этот человек в телогрейке и калошах, надетых почти что на босу ногу и, ничуть не смущаясь и даже не подозревая, что такого вида можно смущаться или, упаси Бог, стесняться; спокойно, свободно проследовал по коридору к комнатенке нашей редакции, сразу стало ясно, что это за человек.

За окном светило первое настоящее весеннее солнце, начинали стекать сосульки, свисавшие прямо с нашего окна, – в крохотной комнате на десятом, последнем этаже дома в Большом Гнезниковском, окно было во всю стену, и он, со своим изборожденным глубокими морщинами обветренным лицом, с буйным, черным с проседью чубом, спадавшим на глаза, чуть сутуловатый, весь оказался открыт. Явлен, как говорили прежде.

Федор Маркович Левин, бывший когда-то директором этого самого издательства, потом изгнанным из него в качестве космополита, а ныне старший редактор редакции прозы, представил вошедшего: Юрий Осипович Домбровский.

Пятьдесят восьмой год. Была еще оттепель, и люди возвращались «оттуда». По-разному. Мы знали, что Федор Маркович хлопочет об издании романа Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом». Зна-

ли, что роман начинался на Колыме, пролежал пятнадцать лет (нет, тогда мы еще не знали ничего), а автор наконец реабилитирован за отсутствием состава преступления и вернулся из четвертого заключения.

С этой встречи, с этого момента я влюбилась в него сразу и бесповоротно – что-то в нем было такое неподдельное, настоящее, непохожее ни на кого, и потом, когда прочла его книги и познакомилась с ним, всю жизнь преклонялась перед ним и поклонялась его таланту, его энциклопедическим знаниям, прямоте и честности, широте и щедрости его души, доброте, подчас неразборчивой, его мудрости (были случаи в ней убедиться) и отчаянной, какой-то безрассудной смелости и детской чистоте. Обо всем этом и многом другом замечательно написали его друзья, знавшие его хорошо, – Феликс Светов в рассказе «Чистый продукт для товарища», Юрий Казаков в «Плачу и рыдаю» и Виктор Лихоносов в большой главе из повести «Люблю тебя светло» – раздел «Посвящения». В рассказе Светова Домбровский дан почти фотографично, но все три рассказа, а также воспоминания, составляющие довольно значительную часть книги, глубоко раскрывают Личность этого человека и писателя.

Я постеснялась бы сказать, что мы дружили с Юрием Осиповичем, потому что всегда думала: кто – он и кто – я, но он неплохо ко мне относился, и сначала вместе с

* Из рецензии на книгу Ю. Домбровского «Гонцы». – *Ред.*



приятелем-историком, который больше, чем я, имел оснований думать, что дружит с Домбровским, заходили к нему и посиживали вечерами. А потом, когда моего приятеля в семьдесят четвертом году арестовали, я уже одна забегала к Юрию Осиповичу за советом лагерника: что следует предпринять. Да и просто так. Именно тогда он подарил мне экземпляр машинописи «Факультета ненужных вещей», до издания которого было ой как далеко, и я могла давать читать его друзьям.

Приятель мой вышел из заключения вскоре после смерти Домбровского, и я отдала ему те клочки бумаги, на которых писатель записывал, что нам надо делать и как себя вести, – последняя материальная память об этом огромном человеке, не считая, конечно, его книг с нарисованными его рукой кошками, с надписями и без...

А уж потом подружилась с Кларой, его женой (до сих пор не поворачивается язык называть вдовой), с которой, естественно, была знакома и раньше, но тогда она была как бы в тени мужа, а теперь стала его продолжением...

Клара давно задумала эту книжку, но все как-то не получалось ее сложить и издать. Она смогла тогда напечатать в издательстве «Возвращение» единственную книгу его стихов, в которую включены два рассказа и письма. Переиздались и романы, но такой, как эта, с малоизвестными рассказами о художниках и репродукциями их картин (из дома Домбровских, впервые, пусть даже некоторые работы получились не в том цвете), со стихами, отрывками писем к ней, с посвящениями писателю и рассказами и воспоминаниями о нем, – такой необычной книги у Домбровского еще не было.

Я позволяю себе писать о книге, хотя значусь редактором, только потому, что играла, в основном, роль толкача в издательстве, да иногда спорила с Кларой, что включать в книгу, а что не стоит.

Наконец, книжка вышла. Частично на деньги Клары, и это чрезвычайно обидно, потому что имя Домбровского – одно из золотых имен русской литературы XX века, легко перешагнувшее в век XXI. Но ввиду нашей прагматической суетной жизни начинающее забываться.

Нет, не теми, кто читал Домбровского – они читают и перечитывают, но новому, молодому поколению оно уже почти незнакомо. Может, потому я и взялась писать про эту книгу.

Почему о художниках?

Прежде всего потому, что эти рассказы меньше известны, чем все другие его вещи. Можно сказать, что почти неизвестны. Книжечка «Факел» вышла в Алма-

Ате в семьдесят четвертом году, аж через пять лет после «Смуглой леди». В бумажной обложке, на газетной бумаге, о художниках – без единой картинки! Домбровский был огорчен. До Москвы она практически не дошла, купить ее было невозможно.

Писалась она не враз – в Алма-Ате, в годы ссылки и потом – Домбровский любил этот город и бывал в нем часто. Писалась с перерывами между романами, кое-что из нее вошло в «Хранителя» (кусочек про Зенкова, например). Название книжке дал редактор: у автора она называлась «Гонцы», но – опять невезение! – в то же самое время издательство выпускало два казахских романа с аналогичным названием, и Юрий Осипович уступил.

А называя так книгу, он имел в виду древнюю притчу о людях, передающих огонь из рук в руки: «Ну, бежит человек с факелом, бежит и когда уже рушится от усталости, то его факел на лету подхватывает другой и снова бежит...»

Он ведь и сам был таким гонимым с факелом. Потому вся книга, с его стихами, рассказами и воспоминаниями о нем названа так – «Гонцы». Как он хотел. Кстати, воспоминания Анны Самойловны Берзер называются «Хранитель огня». Совпадение? – «Факел» вышел на десять лет позже «Хранителя». Во всяком случае – символично.

Неисполнение

Кира Михайловская рассказывает, что, когда Солженицын работал над «Архипелагом», он приехал к Домбровскому, чтобы попенять ему на неисполнение великой миссии летописца эпохи.

Но, похоже, Домбровский переделал эту миссию другим. Он старался осмыслить глубинную природу произошедшего, он был весь в бытии философском. Он был «...Поэтом в главном – в отношении к жизни: без оголтелой злобы; с осознанием хрупкости ее смысла; с ежесекундным ощущением неслучайности нашего явления из тьмы на свет». Так писал о нем Владимир Максимов.

А художники – это часть его мира. У него был разум исследователя, а натура художника. И писал он о том, «что можно крепко поставить на землю, увидеть, потрогать, обосновать четко и просто, исходя из любого понятных вещей, которые всегда были и всегда есть» (Валентин Непомнящий).

Он знал и замечательно чувствовал живопись. Почитайте выдержки из его писем к жене. О Левитане, например. «Заметь, нигде у него нет ни цветов, ни текучей воды. «Клейкие лепесточки» (листочки) ему просто недоступны, как недоступна радость весны, одевания, расцвета, природа его не бодрит. Весна Левитана – это весна, когда чахоточный умирает от гнилостных испаре-



ний...». И в другом письме: «Искал тебе письма Левитана и воспоминания о нем... Без нее (*книжки. – Э.М.*) Левитана не узнаешь». И еще: «Вообще все зависит от внезапности и свежести восприятия...».

Дальше рассказывает о том, как впервые за год заключения, когда вызвали к следователю, увидел в окне огромный тополь в листьях и солнечных лучах, как его огулило это богатство. Его восприятие художников, о которых он пишет, – может, и есть самое главное и важное в этих рассказах.

Они написаны нутром, душой, открытой тому, что видит, но и мудрой головой. А видит не только по-своему, но еще и в историческом контексте. Как исследователь и художник.

Все рассказы – о казахских художниках, точнее, о тех, кто жил в Казахстане и был с ним связан по тем или иным причинам. Как и сам Домбровский. <...>

<...> Все они, эти художники, разные, читаешь – не оторвешься, хотя в судьбах каждого немало горького и трагического. И в каждом проглядывает сам Домбровский. Боже сохрани, не потому, что писал их «под себя», а потому, что люди эти были одной крови.

Домбровский пишет о них: «Это были счастливые люди... Разве быть талантливым само по себе не величайшая удача?...». И разве сам Домбровский не считал себя счастливым человеком, несмотря ни на что?

**«Но как ни напрягаю разум свой,
а многого не вырву из архива»**

Юрий Осипович имел обыкновение присылать Кларе в Алма-Ату, когда она училась в университете в





шестидесятые годы, свои любимые стихи – Ходасевича, Цветаеву и собственные тоже.

Стихи из цикла «Поэт и муза» тоже были ей присланы. Определить, к какому времени они относятся, затруднительно, ибо Домбровский редко датировал свои стихи, но эти были из лагерной тетради. Видела ее сама – Клара показывала. Такая же тетрадь, кстати, была и у Шаламова, только он выписывал туда не только свои стихи, но и чужие, любимые. Тетрадь эту он подарил лагерному врачу Савоевой, которая его спасала. А вот Валентин Непомнящий пишет, что в одном из разговоров с Домбровским тот упомянул о пропавшей, пока он сидел, рукописи книги в семи повестях. Книга была на тему «Поэт и его муза», и одна из повестей была о Пушкине. Чудом осталась от книги только «Смуглая леди», точнее, часть ее.

В тридцать восьмом году была опубликована повесть «Державин» («Крушение империи»), и есть стихотворение «Державин». Когда написано стихотворение – неизвестно.

Есть поэтический цикл «Поэт и муза». Как они связаны между собой, книга и цикл?

Может быть, этот цикл был в книге, а может, Домбровский пытался потом, когда книга исчезла, уже в стихах восстановить хотя бы ее замысел? Возможно, в той книге была и повесть про Веневитинова. Клара рассказывает, что Домбровский принимал участие в перенесении праха поэта с кладбища Симонова монастыря на Новодевичье и присутствовал на эксгумации. Перстень, о котором пишет Веневитинов в «Завещании», был тогда снят с его пальца и передан в Литературный музей. Случилось это, когда Домбровский учился на Высших литературных курсах.

Стихотворение «Веневитинов» полно реалий, которые выдумывать Домбровский не стал бы. Так, может, это стихотворная попытка восстановить пропавшую повесть, написанную до ареста, – ведь стихи – уже из лагерной тетради?

Напомню: первый арест произошел в тридцать втором году. Или, наоборот, стихи – как бы наброски будущей повести, сделанные до ареста, так сказать, по свежим следам событий? Мы же не знаем, когда писалась эта книга из семи повестей, персонажами которых, возможно, стали, помимо Веневитинова, Гнедич, Анри Руссо, Козлов, Клюшников, а также и Державин?

Не знаем и того, в какие годы, во время какой посадки были написаны стихи. И вряд ли когда узнаем. Впрочем... может, где-то в их архивах еще лежит пропавшая рукопись?

Но все это из области догадок, а перед нами – цикл замечательных стихов, безупречно вписывающихся в сферу интересов писателя. <...>

<...> Исторические персонажи и сегодняшние существуют у него как бы единовременно, продолжают друг друга. Очень точно пишет об этом Непомнящий: «Исторические личности любого масштаба, на каком бы расстоянии они ни находились, он ясно видел на той же горизонтали, что и свою собственную повседневную жизнь: весь опыт, вся практика от барачного апокалипсиса ГУЛага до письменного стола в собственной московской квартире – все из того же теста, что и мировая история...». И это еще одна особенность творческого почерка Домбровского, выделяющая его среди других.

«Когда человек умирает, изменяются его портреты...»

Очень точное наблюдение Ахматовой. Но не в данном случае. Воспоминания о Домбровском были написаны разными людьми после его смерти. Каждый из авторов написал его так, как видел своими глазами, в разное время и в разных обстоятельствах. Кто-то знал его ближе и глубже, кто-то лишь краешком прикоснулся к его жизни. В некоторых воспоминаниях Юрий Осипович явно мифологизирован.

И что? Это был человек-миф и при жизни. И разве расходятся воспоминания, написанные после его ухода, с рассказами, написанными при его жизни, и где он является их персонажем? В сущности перед нами встает один и тот же человек – и когда он был еще начинающим поэтом – в начале тридцатых (Липкин), и в лагерях (Амирэджиби, Малумян), и в ссылке (Новиков), и в Доме творчества Голицыно (Михайловская), и во время подготовки к печати «Хранителя» (Берзер), и перед смертью – в ожидании выхода «Факультета»...

В сущности все совпадает, ничто не изменилось: перед нами встает разный и в то же время один и тот же человек, по главному определению Непомнящего, – Номо liber – человек свободный.

Эльвира МОРОЗ



Неотправленное письмо

Мы с Артемом, лагерным другом Юры, ждали, что вот-вот хозяин появится, обнимется с долгожданным гостем, и все сядем ужинать. Юрий Осипович запаздывал, пришел какой-то не такой. Решил вдруг спать на полу, рядом с диваном, на какой положили Артема. Потом признался: «Боль страшная... Зовите скорую!» Ну и пошло. Еле «оклемался». Работать почти не мог, больше читал. В эти дни и написал это письмо: туда, не знаю куда..... Принеси то – не знаю что....

«Дорогие товарищи, хочу вам поведать об одном случае.

В день милиции десятого ноября сего года меня доставили в тридцать седьмую больницу с эпифасным переломом предплечья. Не оперировали, хотя перелом был винтообразный (то есть требующий немедленно ножа), а наложили гипс – мне шестьдесят семь лет. Вот так, потерявши всякую способность себя обслужить, двигаться и даже нормально спать я и пребываю ныне.

А на третий день мне пришлось подписать срочный договор с журналом «Новый мир» на роман «Рассказы об огне и глине», четырнадцать печатных листов. Срок – август семьдесят восьмого года. Сдать-то я его сдам – правая не тронута, но сколько дополнительных трудностей это мне составит – я думаю, вы поймете. Роман этот о Добролюбове (то есть о Толстом, Достоевском, Чернышевском, Герцене, Тургеневе), он требует архивов и библиотек, а я и до дивана плохо доползаю.

Получил же я эту тяжелую травму в автобусе №80 возле Преображенской. Меня ударили железной тростью по руке. Я не видел парня, ударившего меня, он стоял сзади. Автобус шел, я держался за поручень и смотрел в другую сторону.

Рука была напряжена, и сила удара была такая, что я на секунду потерял сознание, но по какому-то странному везенью не рухнул в открытую дверь, под колесо, как видимо, предполагалось (автобус только что отошел от станции «Преображенская» и набирал ход). Потом я увидел эту палку – ее вырвало из рук при ударе. Палка была заводского изготовления, то есть белый металл с набалдашником и рогатой ручкой. Таких в нашем районе сколько угодно.

Парней было трое – все в сине-красных финских куртках – молодые, развеселые, румяные.

Весело они меня ударили, весело вытащили палку из-под моих ног, весело поехали дальше.

Я плохо сознавал, что происходит, и мне показалось, что меня сначала садануло током, а потом, что трость – это часть поручня – она как-то отломалась и саданула меня.

Во всем этом не столь уж исключительном случае меня поразили две детали: страшные и значимые:

Первое. Я никогда не знал и не видел этих трех парней (они стояли, болтали и смеялись в конце вагона) – ни с кем из них ни прямо, ни косвенно дел не имел, да и вообще могу категорически утверждать, что врагов у меня нет. В моем районе тем более. Но тогда... Значит, что же?

Второе. Весь вагон видел, что произошло и все сидели с отсутствующими скучными лицами. Я сделал было движение и упал – боль была острейшей, стреляющей, обломки кости уперлись друг в друга. Если есть кто из фронтовиков, то знает, что это такое.

Никто не шелохнулся. И парни благополучно поехали дальше. Им ничего же не грозило. И людей было много – не набито, но просто много – и все симпатии их, как я видел, были на стороне этих шалунов, что ли? Вот саданули! Так саданули.

И третье... таких «советских» людей я еще не встречал. А я много-много, что видел и перевидел в своей жизни и пережил.

Произошло это девятого ноября в 19.20. Я торопился домой. Приехал товарищ, и я опаздывал на двадцать минут.

С тех пор прошло двадцать пять дней. В гипсе я прохожу еще месяца четыре, а там срастется кость или нет – неизвестно. Сообщаю обо всем этом не для каких-либо розысков (видимо поздно!), а просто для сведения.

Разумеется, за точность и правильность всего написанного ручаюсь своей честью и головой.

С полным уважением

Ю. Домбровский

Москва, Просторная, 6, кв. 33.

Р. S. Писать могу легко – пальцы левой руки в полном порядке. Хоть в этом-то повезло».

Пока я разбирала и переписывала его много раз зачеркнутое-перечеркнутое неотправленное письмо – мысленно окрестила его «Веселые фашисты и толпа» – не люди, не звери, – фашисты – все поглядывала на висевших на стене напротив куда-то несущихся деревянных неандертальцев.



Молодой скульптор Миша Махов из Алма-Аты вырезал интересный барельеф по дереву и подарил его нам. В работу влюбились и мы, и друзья. Название давали сообща: «Бегущие неандертальцы», «Питекантропы», «Страх». Лучшее – Юрино: «Толпа». «Скука» – от слова «скученно» – толпа, – писал он. Толпу он ненавидел с детства.

И она ему отвечала или равнодушием или ненавистью: вероятно, чувствовала его инородность.

Автограф на «Факультете»

На днях в метро купила красивый иллюстрированный словарь «Терра-Лексикон». Решила посмотреть, как живет писателям среди стран, гербов, островов животных и растений. Было пятое марта. Начала с Анны Андреевны Ахматовой.

Стала смотреть на Юрия Домбровского – есть! Все честь по чести, хоть немного, но и «история в свете нравственных проблем современности в романе «Державин», «Обезьяна приходит за своим черепом», в книге «Смуглая леди» и «психология поведения людей в критических ситуациях тридцатых годов» в книге «Хранитель древности» (1964) и ее продолжении «Факультет ненужных вещей» (1988); и восемнадцать лет лагерей; и драматический опыт узника сталинских репрессий в стихах». Не то что когда-то в «Литературной энциклопедии»: «Хранитель древностей» – картины жизни Средней Азии (сам Юрий Осипович порадовался бы больше всего прямому соседству с «Домашними кошками» и их отличными снимками).

Уже дома призадумалась и огорчилась: дата издания «Факультета ненужных вещей» – 1988 год – то есть через десять лет после смерти автора. Значит, нам привиделось – не ликовал он, когда держал книгу в руках! Не радовались его друзья и все близкие. Не писал он одиннадцать лет роман – «по плану 2000-го года» в стол, не надеясь ни на что. Не гадали мы – а кому Юрий Осипович подарит свое детище, кому подарит свою книгу? Ведь их так мало пришло из парижского издательства!

Он успел поддержать книгу в руках, успел ей порадоваться. Сказал еще раз: «Я их все-таки победил!»

А на нашей книжной полке прибавилась еще одна книга с его автографом:

«Кларе и Кассе

С любовью и всякими опасениями.

И надеждами.

Юрий Домбровский.

В ожидании второго сапога в стену».

И надежды сбылись

«В потоке литературы о «сталинизме» эта необыкновенная книга, тревожная и огромная, как грозовое небо над казахской степью, прочерченное блесками молний, возможно и есть тот шедевр, над которым не властно время, – так кончает свое «Слово из тьмы», послесловие к «Факультету ненужных вещей» его переводчик Жан Катала.

На французском книга вышла уже в 1979 году и была признана «лучшей иностранной книгой года». Статьи, рецензии – их было больше ста – уже присылали мне.

Когда-то переведший «Хранителя древностей» на английский язык наш старый друг Майкл Гленни взялся было за «Факультет», но заболел, и книга вышла в переводе Алана Мейера. Прекрасное издание. Роман сейчас издан в разных странах. Через десять лет проснулись и мы – разрешили!

В 1988 году роман «Факультет ненужных вещей» был опубликован в журнале «Новый мир». Позже – в издательствах «Советский писатель», «Книжная палата» в шеститомном собрании сочинений и так далее.

Обычно за исследование творчества Юрия Домбровского берутся люди не только думающие, но и страстные, и потому и статьи, и дипломы, и диссертации чаще всего интересные.

Так тема дипломной работы Ангелины Целовой из Пловдива – «Культуры и антикультуры в романе «Факультет ненужных вещей». Ангелина усердно работала в московских и нашем домашнем архиве, а позже с гордостью сообщила о потрясающей награде за работу: «за высокое академическое постижение». Проблемам, темам, художественным средствам романа посвящают работы аспиранты и студенты из Казахстана, Франции, Англии, Германии...

По мотивам романа ставятся спектакли. В Перми не сумела побывать, а в Алма-Ату была приглашена на премьеру. Это, правда, было уже очень давно, в восемьдесят девятом году! Такое уж было время: в Москве шел прекрасный спектакль «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, в Алма-Ате – «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского! Два прекрасных спектакля.

И опасения сбылись

«...В ожидании второго сапога».

Муж с женой ложатся спать.

Пришел их вечно пьяный сосед, живущий через стену.

Снял сапог – бух! – швырнул в стену.

– Ну, теперь ложись! – торопит жена мужа.

– Подожду, когда бросит второй.

Первый сапог швырнули давно. Угрозы и ночные звонки «Мы тебя!», «Мы тебе!..» начались с тех пор, как под «Факультетом ненужных вещей» была поставлена дата – 5 марта 1975 года. «Ручка, ножка, огурчик», последний рассказ Юрия Осиповича, который называют провидческим, дает полное представление обстановки того времени. В фильме, по нему снятому, Ольгой Васильевной Козновой, концовку переделали – вставили выстрел. Писателя «убили».

Выстрел! Эхо...и все.

Почти за два года – ударили, раздробили руку железным прутком, выбросили из автобуса.

И самое страшное: избили в Доме литераторов.

Юрий Осипович давно туда не ходил, а тут пошел поделиться радостью – показать первые экземпляры вышедшего «Факультета».

Я была в Алма-Ате у мамы и еще не знала, что роман вышел. Вернулась через две недели, а его словно подменили. Кончился запас жизненных сил. Все восемнадцать лет, что его знала, почти не менялся, шутит, что мол, вот она, «особая лагерная порода».

Мне ничего о происшествии в ЦДЛ не стал говорить. Только через год, как его не стало, Софья Наумовна Славина – жена Льва Славина, рассказала об этом последнем избиении. Она шла по фойе ресторана, увидела, что какие-то громилы бьют в живот рухнувшего человека. «Это же Юра! Юрочка Домбровский!» – кинулась она к ним. Нелюди разбежались.

К историку.

Послесловие к «Факультету ненужных вещей»

«Теперь последнее. Почему я одиннадцать лет сидел за этой толстой рукописью. Тут все очень просто – не написать ее я никак не мог. Мне была дана жизнью неповторимая возможность – я стал одним из сейчас уж не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры. Как же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем. А об ответственности, будьте уверены, я давно уже предупрежден».

Он умер через полтора месяца.

Из свидетельства о смерти:

«Дата – 29 мая 1978 года.

Причина – острая кровопотеря.

Варикозное расширение вен пищевода и желудка».

Второго сапога не понадобилось – обошлись первым....

Вышедшая уже в этом столетии в Амстердаме монография Питера Дойла носит название: «Юрий Домбровский. Свобода против тоталитаризма».

Из воспоминаний Теодора Вульфовича¹ «Разговоры с Юрием Домбровским»:

«Начал выходить на улицу, но только для кратковременных прогулок, больше сил не хватает.

...И вот тут, в самый неподходящий момент, (а на такое подходящих и не бывает) это непонятное, какое-то сверхкосмическое падение из какого-то общественного транспорта – выбита и повреждена правая ключица, (впоследствии оказался перелом) и черное пятно на всю правую часть груди: я такого гигантского кровоподтека не видел никогда – вся грудь до пояса и ровные края – великий геометр был этот случай.... Чтoб им всем, «таким великим геометрам» передохнуть!

Конца этому фантасмагорическому действу нет: События – Люди – Запредельные сюжеты – мне стало казаться, что то ли Привидение его убивает, то ли он сам себя приканчивает, то ли.... на него идет настоящая обложная охота...»²

Публикация и текст

Клары ТУРУМОВОЙ-ДОМБРОВСКОЙ
Портреты Клары и Юрия Домбровских
А. Зверева. 1977 г.

¹ Т. Ю. Вульфович – участник Отечественной войны. Кинорежиссер и сценарист. Фильмы: «Последний дюйм», «Мост перейти нельзя», «Улица Ньютона дом 1», «Крепкий орешек», «Шествие золотых зверей».

² Журнал «Знамя», 1997, № 6.

«...Человек не просто значительный, но и необыкновенный».

Екатерина КОРОТКОВА-ГРОССМАН

Среди русских писателей Василий Гроссман занимает особое место. Автор замечательных произведений «Степан Кольчугин», «За правое дело», «Жизнь и судьба» в быту был непростым человеком. Тем интереснее познакомиться с фрагментами воспоминаний дочери писателя.

Память об отце, человеке необычайно ярком, обаятельном, значительном, обладавшем столь мощным аналитического склада умом, что многие считали его самым умным человеком в своей жизни, жила во мне постоянно. Я рассказывала о нем подругам, сыну, который видел его будучи еще малышом.

С восьмидесятого года я стала записывать небольшие фрагменты воспоминаний об отце, как бы полемизируя с авторами появившихся тогда мемуаров. В этих мемуарах не было ни слова неправды, но они умалчивали об очень важных для меня чертах характера отца и создавали, на мой взгляд, его неполный, и следовательно искаженный облик. Иными словами, это был уже не тот человек.

Записывала я и наши разговоры. Не раз в этих беседах смешные пустяки перерастали в серьезные размышления. О природе храбрости, разных видах храбрости – фронтовой и гражданской – о случаях их несопадений. Приводились примеры, всем известные в литературе имена.

Казалось бы, осталось все это скомпоновать по темам, слегка дописать, и готова книга. Но не тут-то было.

Человеком он оказался куда более сложным, чем я полагала в те времена.

И чем дальше, тем сложнее представляется эта задача. Я гораздо больше думаю об отце, чем пишу. Много читаю и перечитываю раннего Гроссмана, позднего, изучаю его интереснейшую переписку с отцом, фронтовые дневники. Хотя кое-что существенное записано. Главы о корнях, о предках, о доме, где отец вырос. О романе «Степан Кольчугин», прелестной, живой и теплой книге, по-моему, этапной для отца.

Во время работы над этим романом он проделал огромный путь от идеи: «революция желанна и неизбежна» в начале книги до признания приоритета человечности и доброты над всеми остальными ценностями.

В свете этих чтений и размышлений встает человек не просто значительный, но и необыкновенный.

Необыкновенна его внутренняя свобода и стремление разобраться во всем самому. Его динамика от молодого революционного романтизма к признанию высокой ценности доброты. Здесь очень важна его внутренняя связь с «тетей Анютой», сестрой его матери, хозяйкой дома, где он вырос и где жила его мать.

Эта удивительной деятельной доброты женщина не исповедовала принципов либеральной интеллигенции, в которых был воспитан мой отец. Она была барыней, филантропкой (натужно вспоминаемое сейчас слово) и, судя по ранним письмам и ранним рассказам отца, поначалу была просто ему враждебна. Но и сама она и ее теплый гостеприимный дом пунктиром возникает то в его книгах, то в устных рассказах. Это даже не пунктир, а ось, пронизавшая мировоззрение и творчество писателя.

Пожалуй, самое главное, что я могу сказать об отце, это то, что он, конечно, принадлежит к либеральной прогрессивной интеллигенции, связан с ней и воспитанием и генами, но был слишком крупным и самобытным, чтобы полностью вписаться в сословные рамки, принять все ценности сословия и не иметь иных.

От интеллигенции у него многое. Резкое неприятие антисемитизма. Но в то же время он знает, что не всякий человек, сказавший слово «жид», – антисемит.

От интеллигенции той поры его атеизм, но, не признав и к концу жизни себя христианином, он принимает все ценности христианства. Это есть в его книгах, уже в «Кольчугине», очень существенно в «Жизни и судьбе», в нескольких записанных мною разговорах.

От интеллигенции его преклонение перед революционерами, даже в поздней повести «Все течет», и в той же повести: «А зачем лес рубить?» в ответ на любимое изречение революционеров: «Лес рубят, щепки летят».

Принадлежность к сословию непреодолима, даже в последней повести «Добро вам!» он с удовольствием отмечает следы язычества армян, но там же создан дивный образ Алексея Михайловича, пресвитера молокан. Но лучшие герои «Жизни и судьбы» всегда душой христиане.

Об этой его «неодноукладности» можно многое сказать. Об аскетизме и одновременно жизнелюбии. Об интеллигентской идеализации простого человека, и в то же время неинтеллигентском умении с простыми людьми



общаться, дружить. Дело в том, что он простых людей не столь идеализировал, сколько искренне любил и ценил.

«Вот умер папа, и огромный пласт жизни ушел. Люди, которых никто, кроме него, уже не знал, события, о которых только он помнил. Теперь захочешь что-нибудь спросить, а никто уж не расскажет. Умирает человек и целый мир с собой уносит».

Отец сказал мне это вскоре после дедушкиной смерти. Он много разговаривал и с бабушкой, и со мной. У него этого не было барьера — «отцы и дети». Он и в гости к нему ходил, и гуляли они, и разговаривали часами. И смерть отца он тяжело пережил. До сих пор помню, как позвонил мне на работу и сказал: «Папа умер». Такое отчаяние в его голосе было.

Дедушка Семен Осипович умер на восьмидесятом году, летом, в августе, на даче у родственников. Умер в августе, а урну с прахом захоронили зимой.

Нас было очень мало, тех, кто пришел с ним проститься: отец, Екатерина Васильевна Заболоцкая, я (Катя большая и Катя маленькая, называл нас папа) и Леля Клестова¹, старая приятельница отца, та самая Леля, у которой спрятали не найденный при обыске черновик романа. В какой-нибудь другой, литературный, дом могли нагрянуть и с повторным обыском, а о дружбе отца с Лелей почти никто не знал. Леля положила рукопись в чемодан и засунула под кровать. Человек она была надежный, свой. Вот и в этот хмурый зимний день на Ваганьковском в маленькой кучке из четырех человек стояла Леля с автобазы.

Кладбищенские рабочие расковыряли промерзлую землю, и один из них, старик, с удовлетворением сказал: «Места много, сюда еще шестерых, а то и семерых уложить можно». Похоже, он не собирался нас пугать, искренне хотел обнадежить — мол, не тушуйтесь. Но мы тушевались.

Дедушка умер в пятьдесят шестом году, а отец — в шестьдесят четвертом, совсем не старым, ему было пятьдесят восемь лет...

Многие считают, и я считаю, что не болезнь его в могилу свела, а арест романа, газетные кампании, жестокие проработки тогдашней писательской аппаратной машины.

Пережитый пласт жизни он не весь с собой унес, очень многое оставил в книгах. И все же, думаю я, интересно рассказать о том, что в книги не вошло, а вошедшем — как оно вошло, как преломилось, изменилось. Ведь писал он не мемуары, не дневники, а художественную прозу. Постараюсь вспомнить все, что смогу. О человеке — его жизни, характере, об окружении, о родне. О предках, наконец.

В наш цыганский век нелегко подробно рассказать о предках. Есть, конечно, и сейчас стабильные, оседлые семьи, им это легче. А нас мотала жизнь — переезды из города в город, разводы. Я что-то помню, что-то мне рассказали, многое из того, что знаю, рассказал отец...

Он родился 12 декабря 1905 года в уездном городе Бердичеве. В биографиях обычно указывают, что родился он в трудовой интеллигентской семье. Это истинная правда. Его отец, Семен Осипович, был инженером-химиком. Мать, Екатерина Савельевна, — учительницей французского языка.

Дедушка работал до конца жизни. Мне даже кажется, что, может быть, он захворал и умер оттого, что перестал работать, а по натуре был человеком упряжки. И бабушку помню, уже старенькую, с костылем — ученики приходили к ней на дом. Так что верно все — действительно писатель происходил из трудовой интеллигентской семьи.

Мне хотелось бы лишь сделать одно уточнение. Лукавая наша педагогика внедрила нам в сознание некий стереотип — образ трудового интеллигента, шлепающего в рваных башмаках по лужам и репетиторством добывающего нелегкий хлеб.

«Мы не были шолом-алейхемовской местечковой беднотой, — рассказывал отец. — Такими, что живут в хибарах и спят на полу вповалку. Нет, это были совсем другие евреи. У них были собственные выезды, рысаки, жены их носили бриллианты, а детей они учили за границей».

Дед мой получил образование в Швейцарии, бабушка, по-моему, во Франции и в Италии. А вот были ли они первыми, кого послали набираться знаний за кордон, не могу сказать. Сперва были купцы, потом интеллигенты. Началось ли это с давних пор или только с поколения отцовских родителей, можно лишь догадываться. Думаю, что и прадеды мои, во всяком случае со стороны бабушки, были образованными людьми. Дочь они называли Екатериной, хотя в документах стояло и второе имя: Малка. Бабушка, воспитанная на русской литературе, русской культуре, назвала единственного сына Васей, она это имя любила. Однако в метрике стояло и второе имя.

В доме, где жила бабушка, на идише не говорили и, когда хотели от меня что-нибудь утаить, — я прожила там несколько лет в детстве, — переходили на французский.

Что до предков более отдаленных, с обеих сторон — это были купцы. Гроссманы (пращуры со стороны деда) происходили из Бессарабии, вели оптовую торговлю хлебом, приписаны ко второй гильдии — серьезные дела.

¹ В романе «Жизнь и судьба» есть доктор Клестова, она рассказывает Людмиле о последних днях Толи — Е. К.-Г.



Предки со стороны бабушки (ее девичья фамилия Витис) были, по-простому говоря, литваки — литовские евреи. Но Прибалтику они покинули давно, перебрались в Одессу. В семейных преданиях фигурирует некий Дувид Мейр, основатель семейного купеческого клана, человек крутого нрава, предприимчивый.

А теперь самое главное, что мне хочется сказать: не из нищеты выбивались поколения Гроссманов и Витисов в интеллигентскую благопристойность, а из роскоши негоциантов большой руки переходили к интеллигентской скромности. В эпоху, когда щеголяли в брюках клеш, проносил Василий Гроссман старые узенькие брючки и, когда стилисты ввели в моду «дудочки», очень веселился, что неожиданно стал модником. В доме бабушки царила граничащая с аскетизмом строгость быта.

А о предках с бриллиантами и рысаками отец рассказывал больше потому, что это действительно было. Кроме того, ему было интересно отклонение от стандарта, отклонения он высоко ценил, его читатели уже заметили: то обстоятельство, что все люди разные, Василий Гроссман считал очень важным.

— Так чья вы дочка? — спрашивали меня милые еврейские старушки.

— Кто ваша мать — Ольга Михайловна?

— Нет.

— Екатерина Васильевна?

— Что вы! Я для этого недостаточно молода.

— Так кто же?

— Первая жена. Мои родители вместе учились.

— Стойте... стойте... А! Казачка!

Моя мать, Анна Петровна Мацук, происходила из черниговских казаков. Ни интеллигентская страсть к чтению, ни привычка одеваться у лучшей в городе портнихи не затушевали до последних ее лет облик яркой и типичной украинской казачки.

Один прохожий как-то остолбенел на тротуаре, простодушно воскликнув: «Вот казачка, сразу видно! Настоящая наша казачка». Тут еще надо прибавить, что мама была удивительно женственна и красива. Даже когда ей было за семьдесят, я любовалась ее красотой.

Ее родители, деды, прадеды, весь род жили в селе Высоком и деревне Шаповаловке Борзенского уезда Черниговской губернии. Род был весь как на ладони — казаки. И лишь моя прабабушка по женской линии, Марина Шапорец, была дочерью мелкопоместного дворянина.

Смеха ради я как-то сказала: «Все папины родственники говорят, что я похожа на тетю Густочку, а мамыны — что на дядю Гаврилу».

Отца это рассмешило, мою шутку он не раз повторял. Его типичная писательская привычка: то, что понравилось, пересказывать родным, друзьям, как бы обкатывая впрок.

Мама, понимавшая обычно шутку, сказала строго: «Ты совсем не похожа на дядю Гаврилу». — «А какой он был?» — спросила я. «Он был темноглазый, сухощавый, небольшого роста, с узким продолговатым лицом». Имя никогда не виденного мною родственника, выхваченного случайно и, как мне казалось, остроумно, обрело конкретный облик.

Как выяснилось, дядя Гаврила был незаурядный человек, он единственный из всей нашей деревенской родни то ли высчитал, то ли почувствовал близость «великого перелома» и вовремя, за несколько лет до колхозов, перебрался в город. Спас свою семью от общей беды.

Первое воспоминание об отце. Я жила у бабушки, матери отца, в Бердичеве. Вдруг все оживленно забежали — папа приехал. Момент встречи не помню. Помню: я сижу на бабушкиной кровати, а отец напротив в ковровом кресле, веселый, молодой, читает мне Чуковского. Читает громко, в быстром темпе, энергично. Долго читает. Он мне очень нравится, но я несколько ошеломлена этим потоком громко и быстро, с большим напором, произносимых слов.

О Чуковском мне много позже, уже взрослой, сказал: «Забавная складывается ситуация, когда в какой-то узкой области литературы одновременно возникают большие величины. Уж кажется, что может быть невиннее: стишки для детей. Но в этой тихой заводи вдруг возникают два гиганта: Чуковский и Маршак. И начинаются такие жестокие битвы, каких не знает литература для взрослых. Люто ненавидят друг друга. Создались два лагеря, у каждого свои сторонники. Я — приверженец Чуковского».

Долгие годы мы жили с отцом в разных городах, но неизменно я приезжала к нему на каникулы. И даже до каникул, с шести лет меня сажали в поезд и отправляли «повидаться с папой».

В один из своих приездов в Москву на каникулы я все время твердила отцу, что приехавшая вместе со мной подружка в прошлом году была очень хорошенькая, а сейчас ужасно подурнела. Отец выслушивал меня серьезно, ничем не показывая, что это его смешит. Но в один прекрасный день он встретил меня словами: «Приходила девочка со следами былой красоты».

Едем в такси на вокзал. Мой большой чемодан стоит внутри машины, а я сижу, поджав ноги. Потом папа как-то иначе пристраивает чемодан и говорит мне, как всегда, немного важным тоном, растягивая слова: «Ну, теперь

ты можешь протянуть ноги, разумеется, не в буквальном смысле слова». Проходит минута-две, и он начинает хотеть: «То есть, конечно, именно в буквальном».

Я прожила в Москве при жизни отца девять лет. Какую-то часть этого времени мы жили в комнатке на Ломоносовском вдвоем, жили дружно, вели немудреное совместное хозяйство, отец любил стряпать «кулеши» – густой пшенный суп с картофелем, я пекла коржики (из готового теста), еще что-то варила. Отец, посмеиваясь сам над собой, рассказывал, как, проснувшись рано утром, долго ходил голодный и с раздражением думал обо мне: «Вот, кобыла, молодая, здоровая, спит себе, и нет ей дела, что отец не ел все утро». Потом, не выдержав, жарил себе яичницу, пил чай на кухне, снова входил в комнату, и мысли у него возникали совсем другие: «Пусть поспит бедная девочка, вчера весь день на работе, а потом сидела допоздна за переводом. Надо же ей отдохнуть».

К концу нашего пребывания на Ломоносовском у отца начались неприятности в «союзе». Я в это время выходила замуж, а соседка по писательской коммуналке, жена писателя, опасаясь, что отец пропишет меня в своей комнатке и ей не достанется отдельная квартира, грозила милицией, даже вызывала на дом участкового и каждое утро, стоя рядом со мной у плиты, шипела: «Василий Семенович – писатель-гуманист, он комнату нам оставит». А у отца, издерганного неоднократными предыдущими травлями, не было сил идти с просьбой в «союз», где на него и так уже косо глядели. «Негуманистом» оказался Борис Абрамович Слуцкий, говоривший: «Василий Семенович, плюньте уж, сходите к ним разок, пропишите Катю, не оставляйте комнату этой стерве». Но отец не мог пойти туда: для него было немыслимо ходить с просьбами к начальству.

В те годы мы часто виделись, бродили по Москве, он много мне рассказывал и сам любил слушать. И не стремился закутать меня потеплее, подсунуть что-то вкусненькое, с раздражением говорил о родителях, закармливающих своих детей шоколадом. В то же время простая родительская забота не была чужда натуре отца, я припоминаю эпизоды, где его действия подтверждали тезис, который он произносил юмористически: «Свой кров – не вода». Однажды переложил из своей чашки в мою абрикос, медленно, серьезно орудуя ложечкой, – вот, мол, я отец, кормлю дитя (дитя было уже взрослое). С той же милой трогательной серьезностью долго и старательно надувал резинового оленя новорожденному Алешке.

И все же мы с ним скорее были не как отец и дочь, а как два приятеля.

Когда отца перестали печатать, он взялся переводить по подстрочнику с армянского роман Кочара «Дети большого дома», о металлургах. Говорил, что это адский труд, что это во много раз тяжелее писательского труда, и он бы не выдержал, если бы всю жизнь пришлось заниматься «этой мукой». Но перевел и остался доволен. С удовлетворением повторял: «Я сделал немалое дело – ввел эту книгу в сферу русского литературного языка».

Мне кажется, этой формулировкой тоже был очень доволен. Повторял ее не раз. Это вообще у него бывало: любил повторять что-то удачно найденное. В результате перевода из шестидесяти листов романа осталось сорок восемь. Кочар расстроился, а отец возмущался: «Подумаешь, сократил на двенадцать листов. Я ведь сделал немалое дело: ввел его книгу в сферу русского литературного языка». Но переводческий труд по-прежнему считал каторжным и, слава Богу, больше к нему не возвращался.

Военные записи Гроссмана – триста пять страниц – уникальный материал. Затем все это шло в его знаменитые очерки. А тем временем готовилась документальная основа романов «За правое дело», «Жизнь и судьба». По этим же материалам написана повесть «Народ бессмертен» – первая большая вещь о войне.

Вспоминал: поезд идет в сторону фронта. В вагоне военные, среди них, как некоторые выражаются сейчас, – «лица еврейской национальности». И ходит по вагону солдат, подходит поочередно к этим «лицам» и говорит: «Ты жид. Тебя на фронте не видели. По тылам опшиваешься». Люди военные, не трусливого десятка, но связываться с ним никто не хочет. Так он и бредет по вагону, пока не дошел до подполковника Гроссмана; отец сгреб его в охапку и отволк в комендатуру.

Это черта его характера – брать на себя, особый вид смелости. Писать о войне считал главным своим делом. Я как-то спросила, не обидно ли ему, что его считают военным писателем, он ведь о многом другом пишет. Он с большим достоинством ответил, у него вообще эта манера была – говорить с достоинством, немного растягивая слова: «Нет, почему же, я прежде всего писатель, пишущий на военную тему». И этого не отнимут ни друзья, ни враги. Русский писатель, пишущий на военную тему, записавший в своих военных дневниках: «Фронт свят, тыл грешен». И герои его, красноармейцы, никогда не пускали на раскур номера газеты, если там был очерк, подписанный: «Василий Гроссман».

Фронт он знал отлично. Расскажу лишь один эпизод. Давид Ортенберг, редактор «Красной Звезды», вызвал к себе трех корреспондентов – Алексея Толстого, Василия

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СБОРНИК



ли кричать: «Регламент!» Я подошла к нему потом и поблагодарила. Он сказал: «За что уж там благодарить. Ничего себе выступление – с трибуны согнали!»

Кстати, те, кто выступали до него и отмечали суровость Василия Гроссмана, неправды не говорили, все это была правда, но неполная, причем неполная в существенном. Их винить нельзя. Некоторые знали отца только в последние годы, кто-то знал поверхностно, кто-то забыл все, кроме мрачности и максимализма.

Эренбург сказал на похоронах: он трудно жил и трудно умирал. Таким обычно и описывают его в мемуарах. Трудный человек – жил трудно, с ним было трудно – разговаривать, иметь дело. Это все верно, я, может быть, лучше других это знаю.

Но было в то же время в нем немало веселого, детского. Ему все было интересно – и детство любимой женщины – они встретились уже немолодыми, и какие учительницы работают со мной в школе, и чем угощали, если кто-то вернулся из гостей.

Всегда чувствовал отец незащищенность животных и нашу вину перед ними. На эту тему им написан целый ряд рассказов, причем из самых его лучших – «Дорога», «Лось», «Собака».

Ни в сурового максималиста, ни в доброго жизнелюбца не уместается Василий Гроссман – он многое совмещал в себе...

В наше время часто жалуются на одиночество, разобщенность, на то, что люди разучились дружить.

Уж не знаю, насколько это справедливо, но для меня дружеские связи отца остаются непревзойденным образцом. Дружбы были самые тесные, с долгими разговорами, с частыми звонками.

Помню, каждое утро: «Четвертый, пожалуйста!» – отец звонил Семену Липкину, очень близкому другу; «четвертый» – номер его коммутатора на Беговой.

Дружбы были прочными и долгими – с юности, с детства. Когда отец лежал свои последние недели в больнице, у него дежурили старые друзья: Шура Ниточкин с женой. Дружить они начали лет с пяти.

И сам отец сидел у постели больного писателя Платонова, и тот трогательно просил его не выходить покурить. «Сиди, Вася, кури тут, поговорим».

О том, как высоко ценил он дружеские встречи, мне через много лет рассказывал Алексей Яковлевич Каплер.

Война. Отец приехал ненадолго в Москву, у него в коммуналке на улице Герцена собрались друзья, фронтовые корреспонденты.

Вдруг стук в дверь, входит человек: «Василий Семенович, нужно немедленно ехать в Кремль, вам будут вручать орден». И неожиданно, подумав несколько мгновений, отец говорит: «Вы знаете, я не поеду. Мы тут с товарищами встретились, с фронтовиками. Такая хорошая компания. Не хочется ее рушить. Пусть уж мне орден позже дадут, не в торжественной обстановке».

Газетные судилища, которые обрушивались на людей в сороковые и пятидесятые годы, давили их всей тяжестью государственной машины, уносили здоровье, были особенно тяжелы для отца тем, что многие дружеские или приятельские отношения не выдерживали этого испытания – люди исчезали, замолкал телефон. «Мертвый телефон», – говорил он с яростью, указывая на аппарат, когда вспоминал очень тяжелый в его жизни пятьдесят второй год.

С Михаилом Зощенко он познакомился уже после доклада Жданова и последовавшей за ним травли. Фразу Зощенко: «Я тогда чуть не сдох» пересказывал с несомненным уважением к человеку, который говорит о своем несчастье без патетики.

В архиве отца, бережно сохраняемом его женой Ольгой Михайловной Губер, мало черновиков, он писал их лишь в очень серьезных случаях. Небольшое письмо к Михаилу Зощенко отец писал с черновика.

«Дорогой Михаил Михайлович!

Я слышал о том, что Вы болеете. Не надо болеть!

От души желаю Вам здоровья, душевной силы, покоя, прихода хороших дней.

Хочу сказать Вам о моем постоянном и всегда неизменном уважении к Вам, вашему таланту и труду.

Крепко, крепко жму Вашу руку».

Подписи и даты нет – черновик.

И такое же необходимое для души письмо получил сам, когда еще не стихла страшная кампания пятьдесят второго – начала пятьдесят третьего годов. Она прекратилась лишь после смерти Сталина.

«17.02.55.

Дорогой Василий Семенович!

Я думаю, мне не надо объяснять Вам как я ко всему этому отношусь. На душе омерзительно до тошноты. И почему не разрешаются сейчас дуэли, черт возьми!

А книга все-таки есть!

И продолжайте ее, ради всего святого!

Верю в победу правого дела!

Крепко, крепко жму руку и обнимаю.

Ваш В. Некрасов».

Заканчиваю свои воспоминания об отце письмом к нему Александра Твардовского*.

* Все письма публикуются впервые. – Ред.



Дорогой Вася!

Спасибо тебе за память. Был очень рад получить твоё письмишко. Так уже глубоко ощущение забытости, что кажется, что и ты написал специально для поднятия моего духа. Впрочем, если и так, все равно спасибо.

Я очень рад за тебя, что тебе пишется, и с большим интересом жду того, что у тебя напишется. Просто сказать, ни от кого так не жду, как от тебя и ни на кого не ставлю так, как на тебя. В нынешней моей жизни я вынужден то и дело читать доклады о советской литературе военного времени. Как это тяжело, если б ты знал: мне приходится говорить по крайней мере регистративно о вещах, которые я и регистрировать не хотел бы, — их же нет. Я этим не хочу, конечно, сказать, что на таком фоне и т. д. Нет, ты и на добром фоне не ступишь. Давай тебе Бог. Я лично постепенно убеждаюсь, что натура моя не может сотворить чего-нибудь серьезного вне мало-мальски привычной и устойчивой обстановки. А здесь у меня уже не то, что под Смоленском, — здесь вроде Воронежа, только в б. немецком станд. Дома у меня отдельная клетушка.

Много времени проходит даром:

в поездах без особого толка, в мероприятиях по оживлению органа, которые по-новой усиленно проводятся Нашим. Пишу кое-что, но все большое и длительное невозможно. Кроме того настроение не имеет оснований быть слишком бодрым. Единственно, что хорошо — это общие дела войны, предчувствие совсем хороших вещей в ближ. будущем.

Вася, если тебе вдруг придется выехать и ты будешь при этом иметь возможность выбирать, то приезжай ты к нам на 3-й Белорусский. Мы вместе съездим куда-нибудь, а, главное, увидимся, потолкуем по традиции. Как ни оторваны мы теперь от Военторга и как ни угрюмо безденежье, все же, я полагаю, беседа наша будет оснащена современными средствами обеспечения.

Завтра 21 июня мне исполнится 34 года (или уже исполнилось 8-го — тут дело в разнице старого и нового стилей), пойдет тридцать пятый, а войне четвертый.

Воздержусь от глубокомысленных выкладок по этому поводу, чтоб не начать вдруг цитировать собственную статью к третьей годовщине войны, которая как раз ждет моей вычитки.

Желаю тебе всего доброго.

Привет Ольге Михайловне.

Твой А. Твардовский.

20. VI. 44 г.

П. н. 55563



«...Лицо потерянного рая»

Из стихотворений шестидесятих годов

Юлий ДАНИЭЛЬ

Публикуемые стихи писались в не совсем обычных обстоятельствах: автор сочинял их, находясь под стражей в следственном изоляторе КГБ в Лефортово, в перерывах между допросами (впрочем, кто знает – может быть, и во время допросов?).

Юлий Даниэль, как и его друг и одноделец Андрей Синявский, был, вероятно, одним из самых известных политических заключенных второй половины шестидесятих годов двадцатого столетия. Дело двух литераторов, арестованных за публикацию своих повестей и рассказов за рубежом, стало первым политическим судебным процессом постсталинской эпохи, получившим широкую общественную огласку.

Но данная публикация – не дополнительный штрих к биографии персонажа знаменитого политического процесса, а, скорее, иллюстрация к судьбе его поэтического наследия.

Юлий Маркович Даниэль*, хотя до ареста и упражнялся изредка в стихотворчестве, по своей основной литературной специальности поэтом не был, если не брать в расчет поэтические фрагменты его прозы – стихотворные эпиграфы и вставки в повестях «Искупление» и «Говорит Москва».

Не был он, впрочем, и особо плодовитым прозаиком: все прозаическое наследие Даниэля, если не считать незаконченной мемуарной книги «Свободная охота», писавшейся, в основном, уже после освобождения из заключения, состоит из четырех рассказов и двух небольших повестей. (Обе повести, а также два рассказа были опубликованы за границей под псевдонимом «Николай Аржак»; именно их Верховный суд РСФСР оценил в пять лет лагерей строгого режима).

Своей творческой специальностью – и до, и после лагеря – он считал переводы иноязычной поэзии на русский язык. К моменту ареста в переводческом активе Юлия Даниэля числились стихи украинских, чешских, немецких поэтов, поэзия народов Кавказа; впоследствии, после освобождения, он переводил (опять-таки под псевдонимом – публиковаться под своим именем ему было запрещено) Вальтера Скот-

та, Байрона, Рембо, Мачадо, Валье-Инклана и многих других классиков европейской и мировой литературы.

На звание писателя или поэта он никогда не претендовал и на вопрос о профессии неизменно отвечал: «литератор»; если же требовались уточнения, добавлял: «поэт-переводчик».

Но когда двенадцатого сентября шестидесяти года за Даниэлем захлопнулась дверь тюремной камеры, он взялся за карандаш, чтобы писать стихи – и писал их все пять лет своего заключения. Выйдя на свободу, он никогда больше к оригинальной поэзии не возвращался.

Стихи Юлия Даниэля широко ходили в самиздате шестидесятих годов. Первые самиздатские списки, – около двух десятков стихотворений, – восходят к авторской рукописи, нескольким листкам, исписанным микроскопическим почерком, которые автор этой заметки тайком вынес со свидания с Юлием Марковичем в мордовском лагере в конце марта шестидесяти шестого. Почти все эти стихотворения были написаны еще в следственной тюрьме. В дальнейшем Даниэль иногда посылал новые стихотворения открыто, в письмах к родным, а иногда передавал их на волю нелегально, с оказиями.

Впервые одно из стихотворений Даниэля было напечатано не по-русски, а по-английски: переведенное известным британским поэтом Адрианом Митчеллом, оно появилось в газете *The Observer* в конце шестидесяти девятого, когда автор еще находился в заключении.

Через несколько месяцев в лондонском издательстве *Calders Boiars* вышел первый сборник его стихов – двуязычное издание «*Prison poems/Тюремные стихи*». По всей видимости, сам Даниэль был в курсе дела или, по крайней мере, ожидал зарубежного издания своих стихов: его старинный приятель Александр Дольберг, с пятидесят шестого года живший в Англии и организовавший эти публикации, рассказывал, что сделал это по просьбе Даниэля, переданной ему через третье лицо.

В семьдесят первом году, вскоре после освобождения Даниэля из заключения, Фондом имени Герцена в Ам-

* (1925–1988) – Ред.



стердаме был выпущен – уже только по-русски – существенно более полный поэтический сборник, под заголовком «Стихи из неволи». И об этом издании Даниэль знал заранее. По всей видимости, он даже приложил к нему руку; во всяком случае, в сборнике исправлено несколько описок, тиражировавшихся в самиздатском варианте и использована позднейшая авторская редакция одного из стихотворений («Ещё одна песенка»).

На родине стихи Даниэля стали издаваться с семьдесят седьмого; сначала – в периодике («Даугава», «Огонек», «Дружба народов»), затем в авторских сборниках, вместе с его прозой, публицистикой, переводами, эпистолярным наследием*.

Кроме того, в начале девяностых московское издательство «Мышь» издало репринтное воспроизведение амстердамского сборника. Отдельные стихотворения регулярно включаются в различные антологии русской поэзии XX века, выпускаемые в России и за рубежом.

Из всего сказанного ясно, что данная публикация не может ставить своей целью «ознакомление читателя с поэтическим творчеством Юлия Даниэля», поэта, сравнительно известного и довольно регулярно публикуемого. Что же она такое?

Ответ прост: она является свидетельством раннего этапа бытования стихов Даниэля, их самиздатского хождения, данью памяти о тех путях, которыми запрещенная русская литература проникала к зарубежному издателю.

Эти стихотворения выбраны редакцией из машинописной подборки стихов Даниэля, обнаруженной в архиве журнала «Грани». Сама подборка, озаглавленная несколько загадочно – «Стихи из ...» (сравните название амстердамского сборника 1971 года), – представляет собой около двух десятков стихотворений**, относя-

щихся к сентябрю шестьдесят пятого – марту шестьдесят шестого. Почти все они, за исключением последнего (стихотворения «Приговор», написанного уже в мордовских лагерях) относятся к периоду следствия и суда. Таким образом, эта подборка, несомненно, восходит к той рукописи, которую мне удалось вынести с первого лагерного свидания в марте шестьдесят шестого года. К этой же рукописи восходит и большинство известных нам самиздатских подборок, относящихся к периоду шестьдесят шестого – семидесятых.

Очевидно, экземпляр, хранившийся в архиве «Грани», в то время – эмигрантского журнала, издававшегося в ФРГ, является попросту одной из таких подборок, просочившейся за рубеж. Ряд атрибутов – например, совпадение вариативных датировок отдельных стихотворений – указывает на то, что аналогичная, если не та же самая, машинописная подборка (правда, с учетом более поздней авторской правки), была одним из источников и для амстердамского издания.

Понятно, что эта подборка может относиться лишь ко времени до шестьдесят первого года; после издания стихов Фондом имени Герцена не было никакого смысла передавать их за рубеж. Понятно и то, почему журнал не решился опубликовать эту подборку в конце шестидесятых: подобная публикация могла поставить автора под удар – в конце концов, за нечто подобное он был уже осужден Верховным судом.

Теперь автору в любом случае уже ничего не грозит: Юлий Даниэль скончался в Москве более двух десятилетий назад, а журнал «Грани» уже много лет как издается и легально распространяется в России.

Я благодарен редакции: сегодня она делает то, что сорок лет назад сочла, по всей вероятности, слишком рискованным для моего отца, – публикует эти стихи.

Александр ДАНИЭЛЬ

* Юлий Даниэль. Говорит Москва: Проза, Поэзия. Переводы. М.: Московский рабочий, 1991; Он же. «Я все сбиваюсь на литературу...»: Письма из заключения. Стихи. М.: О-во «Мемориал» – изд-во «Звенья», 2000; Он же. Свободная охота. М.: ОГИ, 2009.

** Тексты стихотворений публикуются с исправлением опечаток, содержащихся в самиздатском экземпляре рукописи, и с учетом позднейшей авторской редакции – А. Д.



СТИХИ ИЗ...

СОРОКАЛЕНИЕ

Как славно знать, что был ты несерьёзен,
Что ты плевал на важные дела,
И что беспечность, как смола из сосен,
Свободно и естественно текла.

Пусть рот кривят солидные мужчины
С высот сорокалетия своего.
Как славно знать, что не было причины
И что тебя кружило озорство.

О тени предков, преданных идеям,
Сюжетцы для возвышенных стихов!
Куда как лучше стать себе злодеем
За просто так, во имя пустяков.

Брести без брода и ваять из снега,
Уйти в бега, влюбиться на пари...
Мальчишество моё, мой alter ego,
Со мной всегда на равных говори.

Никто не властен над своей планидой,
Но можно ей подножку дать, шалая...
Эй, наверху! За простоту – не выдай!
Не расступайся, мать – сыра земля.

12 ноября 1965 г.

РОМАНС О РОДИНЕ

Страна моя, скажи мне хоть словечко!
Перед тобой душа моя чиста.
Неужто так – бесстыдно и навечно
Тебя со мной разделит клевета?

Свои мечты сбивая в кровь о камни,
Я шёл к тебе сквозь жар и холода,
Я шёл с тобой. Я шёл, и на глаза мне,
Как слёзы, наплывали города.

Я не таю ни помысла дурного,
Ни сожалений о своей судьбе.
Страна моя, ну вымолви хоть слово,
Ведь знаешь ты, что я не лгал тебе.

Ведь не бросал влюбленность на весы я
И страсть мою на доли не дробил –
Я так любил тебя, моя Россия,
Как, может быть, и женщин не любил.

Чтоб никогда не сетовал на долю,
Чтоб не упал под тяжестью креста,
Страна моя, коснись меня ладонью –
Перед тобой душа моя чиста.

29 января 1966 г.

СТИХИ С ЭПИГРАФОМ

– А зачем вам карандаш?
– Писать стихи.
– Какие стихи?
– Не беспокойтесь, лирику.
– Про любовь?
– Может, и про любовь.

Да, про любовь, – наперекор «глазку»,
Что день и ночь таращится из двери,
Да, про любовь, про ревность, про тоску,
Про поиски, свершенья и потери.

Да, про любовь – среди казённых стен,
Зелёных, с отражённым жёлтым светом,
Да, про неё, до испуга, с тем,
Чтоб никогда не забывать об этом.

О дрожи душ, благоговеньи тел,
О причащеньи счастьем и утрате;
Я про любовь всю жизнь писать хотел
И лишь теперь коснулся благодати.

Да, про неё! Всему наперекор,
Писать про суть, сдвигая позолоту;
Им кажется, что взяли на прикол
А я к тебе – сквозь стены, прямиком,
Мне до тебя – одна секунда лёту.

Мне всё твердит: «Молчи, забудь, учись
Смирению, любовник обнищай!»
А я целую клавиши ключиц
И слушаю аккорды обещаний.

Я твой, я твой, до сердцевины, весь,
И я готов года и вёрсты мерить.
Я жду тебя. Ну где же, как не здесь
Тебя любить – и, что любим, поверить.

13 октября 1965 г.



ДРУЗЬЯМ

Была щедро не в меру Божья милость.
Я был богат. Не проходило дня,
Чтоб манною небесной не валилось
Сочувствие людское на меня.

Я подставлял изнеженные горсти,
Я усмеялся: «Господу хвала!»
Когда входили караваном гости
С бесценным грузом света и тепла.

Но только здесь сумел уразуметь я –
От ваших рук, от ваших глаз вдали,
Что в страшное, ненастное трехлетье
Лишь вы меня от гибели спасли.

Нет, не единым хлебом люди живы!
Вы помогли мне выиграть бои.
Вы кровь и жизнь в мои вливали жилы,
О, лекари, о, доноры мои!

Всё кончено. Сейчас мне очень плохо.
Кружится надо мною непокой.
Кому вздохнуть: «Моя ты суматоха...»
И лба коснуться тёплой рукой?

Всё кончено. Не скоро воля будет,
Да и надежда теплится едва.
Но в тишине опустошённых буден
Вы превратились в звуки и слова.

Вы, светлые, в тюремные тетради
Вошли, пройдя подспудные пути,
Вас во плоти я должен был утратить,
Чтоб в ритмах и созвучьях обрести.

Вы здесь со мной вседневно, ежечасно,
Прощеньем, отпущением грехов:
Ведь в мире всё покорно и подвластно
Божественной невнятице стихов...

6 ноября 1965 г.

ПЕСЕНКА

За неделю неделя
Тает в дыме сигарет.
В этом странном заведении
Всё как будто сон и бред.

Птицы бродят по карнизам
И в замках поют ключи,
Нереальный мир пронизан
Грубым запахом мочи.

Тут не гасят свет ночами,
Тут неярк свет дневной,
Тут молчанье, как начальник,
Утвердилось надо мной.

Задыхаясь от безделья,
Колотись об стенку лбом!
За неделю неделя
Тает в дыме голубом.

Тут без устали считают,
Много ли осталось дней,
Тут, безумствуя, мечтают
Все о ней, о ней, о ней.

Тут стучат шаги конвоя –
Или это сердца стук?
Тут не знаешь, как на воле –
Кто твой враг и кто твой друг.

Это злое сновиденье,
Пустота меж «да» и «нет»...
За неделю неделя
Тает в дыме сигарет,
Тает
В дыме...

9 ноября 1965 г.



ДОМ

В окно я глянул и увидел дом,
Обычный дом – немыслимое чудо:
Он был семи – или восьмизэтажный,
А в первом этаже был магазин,
А выше были окна без решёток,
И каждое окно освещено
Совсем особым светом, непохожим
На свет соседних. Это оттого,
Что там, на окнах, были занавески
И были шторы – словом, было то,
Чем люди отгораживаться вправе
От посторонних взглядов. Я, однако,
Сумел глазами памяти увидеть,
Узнать лицо потерянного рая:
Там были стулья и цветы на окнах,
Когда-то презиравшиеся мною,
Цветы в горшках, зелёные божки,
С которых пыль стирают по субботам,
Там лампы в потолок не уходили,
Не прятались за мутным плексигласом,
А рдели в кринолинах абажуров,
Собой венчали шаткие торшеры,
Со стен свисали... Там на книжных полках
Лежали неожиданные вещи:
Шнурки от туфель, бильярдный шарик,
Чулоч с иголкой в штопке, позабытый
Из-за гостей, нагрывавших врасплох;
Ещё рецепт – его уже с неделю
Никто никак не может отыскать...
Там были скатерти, на них – ножи и вилки, –
Орава режущих и колющих предметов...
Там, в этом доме, было много женщин –
Не медсестер и не стенографисток,
А просто женщин. В платящих домашних

Они, сколовши волосы небрежно
И рукава по локоть засучив,
Купали в новых ванночках младенцев,
Со лба к затылку отгоняя воду,
Чтоб мыльной пене в глазки не попасть;
И отблеск розовых мелькающих локтей
Ложился сполохом на сердце, обещая
Округлое и тёплое свершение
Потом, когда погаснет в доме свет...
Да, я забыл сказать, что по фасаду
На доме было множество балконов,
Где стыли на ветру велосипеды
И в сети гамаков шли косяками
Проворные снежинки... Дом трещал –
Его неудержимо распирало,
Давило изнутри избытком жизни:
В нём жило всё – от шпильки головной,
От кошки и собаки до нескладных
Подростков с неуклюжими руками,
Украдкой сочиняющих стихи.
И малые частицы этой жизни
Сквозь кладку стен, как запах, проходили,
Летели сквозь зашторенные окна
Ко мне, ко мне, к откинутой фрамуге
Окна, перед которым я стоял,
На стол взобравшись. Целых полминуты
Я прикасался к человеческой жизни.
Потом я спрыгнул на пол. Вот и всё.
... Я знаю, что неловки эти строки,
Что мой товарищ глянет неподкупно,
Серьёзно покачает головой
И скажет мне: «А что, как это – проза,
Да и плохая?» – «Да, – скажу я, – да!
Плохая проза. Хуже не бывает...»

6 октября 1965 г.

* * *

Вспоминайте меня, я вам всем по строке подарю.
Не тревожьте себя, я долги заплачу к январю.
Я не буду хитрить и скулить, о прощеньи моля,
Это зрелость пришла и пора оплатить векселя.

Непутевый, хмельной, захлебнувшийся плотью земной,
Я трепался и врал, чтобы вы оставались со мной.
Как я мало дарил! И как много я принял даров
Под неверный, под зыбкий, под мой рассыпавшийся кров.

Я словами умел и убить и влюбить наповал,
И, теряя прицел, я себя самого убивал.
Но благая судьба сочинила счастливый конец:
Я достоин теперь ваших мыслей и ваших сердец...

И меня к вам влечёт, как бумагу влечёт к янтарию;
Вспоминайте меня – я вам всем по строке подарю.
По неловкой, по горькой, тоскою пропахшей строке.
Чтоб любили меня, когда буду от вас вдалеке.

19 октября 1965 г.



НА РИНГЕ

Я вышел, боксом не владея,
Рискнув удачливой судьбой.
Не звал ни Бога, ни людей я –
И проиграл до боя бой.

Толпа – грохочущая прорва,
Перчатки – парюю гранат...
Удар! Я смят, отброшен, взорван
И спину мне обжёт канат.

Удар! Бесстрастно смотрят судьи,
Как дышит голая душа,
Как до моей до тайной сути
Добрался мастер не спеша.

Он – Бог. Его движенья чётки.
Как протоколы, – без прикрас,

И ставят чёрные перчатки
Удары – точки после фраз.

Мне от беды не отвертеться,
Меня везде достанет плоть,
А всё ж не будет полотенце
У ног, постыдное, белеть!

Я жду: сейчас меня накажут
За дерзость и за простоту;
Ну, что же – бей! Пускай нокаут
Под схваткой подведёт черту.

Я поражение любое
Приму, зажав зубами крик, -
Не для победы, а для боя
Я шёл на ринг.

16 января 1966 г.

* * *

Дожди, дожди коснулись щёк,
Грустя, деревья порыжели,
И был открыт никчемный счёт
Моих побед и поражений.

Струилась осень день за днём,
Линяла летняя палитра,
А я вовсю играл с огнём
И тайно жаждал опалиться.

Не потому, что я шальной,
Роптал перед глухой стеною –
Я преступил закон иной,
Я виноват иной виною.

И не за то, что я кричал,
Меня, сойдясь, осудят судьи –
За то, что на свою печаль,
Как пластырь, клал чужие судьбы.

За то, что я, сойдя с ума,
Не пощадил чужого сердца,
А суд, законы и тюрьма -
Всего лишь кнут, всего лишь средство.

Возмездия за тайный грех,
За то, что, убивая – выжил...
И вот зима. И страшен снег,
Запятнанный капелью рыжей.

13 января 1966 г.



ЕЩЁ ОДНА ПЕСЕНКА

То ли был, то ли небыль
Из весёлого сна?
Я в сражениях не был
И не пил я вина,

Не был пулею мечен,
И стихов не писал,
Не глядел я на женщин,
Не любил, не бросал,

Безрассудство не славил,
Дни за днями губя,
И на карту не ставил
Ни других, ни себя.

Не плясал неуклюже,
На ветру не дрожал,
В подмосковные стужи
По лыжне не бежал;

За друзей не ручался
И влюбляться не смел,
На волнах не качался,
Песни петь не умел.

И в апрельскую сырость
Не плутал по земле –
Это всё мне приснилось
В зарешечённой мгле.

12 декабря 1965 г.

ФЕВРАЛЬ

А за окном такая благодать,
Такое небо – детское, весеннее,
Что, кажется, мне незачем и ждать
Другого утешенья и спасения.

Забыто зло, которое вчера
Горланило и души нам коверкало,
Ну, милые, ну, женщины, пора
Взглянуть в окно, как вы глядите в зеркало.

Уже плывёт снегов седая шерсть,
И за окном, как серьги, виснет каплями.
Ещё чуть-чуть – и всем вам хорошеть,
Сиять глазам, платкам спускаться на плечи.

Ещё чуть-чуть – и вам ночей не спать,
Мечтать взахлеб и все дела откладывать,
На улице года помчатся вспять,
И у прохожих будет дух захватывать.

А в этот миг умолкнет перестук,
Собрав мешок, на полустанке выйду я,
За тыщу вёрст учую красоту
И улыбнусь, ревнуя и завидуя.

А вас весна до самого нутра
Проймет словами нежными и грубыми.
Ну, милые, – пора, пора, пора
Расстаться вам с печальями и с шубами.

22 февраля 1966 г.

ПРИГОВОР

Да не посмеешь думать о своём,
Вздыхать о доме и гнущаться пищей:
Ты – объектив, ты – лист бумаги писчей,
Ты брошен сетью в этот водоём.

Чужие скорби грусть твою вберёт,
Умножит годы лагерная старость,
И лягут грузом на твою усталость
Чужие сроки северных широт.

Пускай твою саднящая мозоль
Напоминает о чужих увечьях.
Ты захлебнулся в судьбах человеческих –
Твоей судьбой теперь да будет боль.

Да будешь ты вседневно грань стирать
Меж легким «я» и многотонным «все мы»,
И за других, чьи смерти были немые,
Да будешь ты вседневно умирать.

Да будет солона твоя вода,
И горек хлеб, и сны не станут сниться,
Пока вокруг ты видишь эти лица
И в чёрных робах маятся беда.

.....

Я приговору отвечаю:
– ДА.

Март 1966 г.

Кавказский пленник

Всеволод ИВАНОВ

Пленные были в трех теплушках, но красноармейцы почему-то больше всего дежурили и толпились около одной. Заглядывали в просверленные круглые отверстия задней стенки, перебивали очередь. С силой рвали рукава друг другу. Переругивались.

– Черт, гляди, отмахнул на круговую от плеча. Зашивай теперь.

– А ты воткнулся головой, што клоп в пазуху. Ишь, весь раскраснелся, налился кровью. Надо и другим...

Испитой, бледный, как его серая, потертая шинель, красноармеец тщечно проталкивался между двумя крепкотелыми татарами и обширнотелым армянином. У него бока, нависающие на туго перетянутую поясом талию, совсем закрывали широкий, заворотившийся с обоих краев ремень, и руки он расставлял широко, локтями упирая их в бока стоящих рядом татар.

– Я совсем немножко, товарищи, одним глазком, – умолял хилый парень. – Дайте же...

Армянин только поводил толстым задом, пыхтя, и сопя, как обжора за едой. Татары переступали на месте, ожесточенно наступая друг другу на ноги.

Тонкий, вертлявый кавказец, в короткой шинели, ухитрившийся ей придать вид щеголеватой черкески, угрем проскользнул между гладких, круглых спин и отверстие отыскал совсем под локтем армянина. Сухие типичные ноги горца в мягких сапогах без каблуков совсем неслышно упирались в тяжелые сапоги татар. Он взвизгивал от удовольствия.

– Ай, что за женчин... Все только пундрится и мундрится...

Столпившиеся позади хохотали:

– Нежли все еще пундрится?.. Вот, стерва, уж третий день. Другая бы глаз не осушала, доведись до нашей русской бабы, а этой хошь бы што.

– Полька она...

– Може и еврейка, только белая...

– А муж ейный русский генерал, говорят. Его не поймали.

– Ха, что ей муж его и не было в отряде, она сама орудовала, как командир...

– Вот черт-баба, в штанах, с наганом, а рожа крашенная...

– Княжня, она княжня, я знаю, – откликнулся черкес, оглядываясь, – черкесская княжня.

Для убедительности черкес поднял тонкую руку кверху.

– Я палец даю на отсечение...

Армянин вдруг, оторвавшись от щели, шлепнул его широкой, круглой, как блин ладонью по руке.

– Заткнись, блошья спесь... Русска это русска... Я знаю. Грушам торговал, шашлик угощал... Все ела, знаю... Богатый, знатный барина...

Новая гурьба желающих взглянуть на пленницу спорной национальности толкалась к просверленным отверстиям, хватая друг друга за локти... У одного старая, пробитая пулями шинель, треснула и фалда повисла до земли. Он не оглядываясь попал кулаком обидчику в голову. Фуражка у того надвинулась на глаза. Он, рассвирепевший, принялся дупить напивавших почему попало...

Никто не хотел остаться в долгу...

Серые шинели слились в один матерно мечущийся, растрепанный ворох...

Политком Глушков, давно недовольно наблюдавший за солдатами, двинулся к ним, придерживая тяжелый наган.

– К порядку... Стрелять буду... ссс...

Хотел еще прибавить бранное слово, но так и растерлось оно одним шипеньем. Попробуйте не ругаться на фронте.

Клубок распался на отдельных солдат, все головы повернулись к политкому. Он, не спеша, подошел к солдатам, только подрагивал чуть-чуть наган в желтой кобуре на широком новом ремне.

– Что вы все любопытничаете, как бабы... Отойдите дальше.

– Вона все пундрится, – оправдываясь, отозвалось несколько голосов.

Солдаты отошли немного, тесно толкая друг друга. Глушков обошел их и поискал отверстие в стенке на уровне своего роста. Такого высокого отверстия не оказалось. Он оглянулся к солдатам.

– Куда же вы смотрите...

– А вы понижее, понижее, товарищ политком, – сам, приседая, показал черкес.



Глушков недовольно примял немного фуражку на голове и, согнувшись перед отверстием чуть не вдвое, заглянул. Сначала ничего не видел: узкие стекла у самого потолка мало давали света. Теплушка совсем пустая. Две белые полосы сосновых нар, скорее как длинная скамья и на ней, теперь сразу стало видно, – сидит женщина в белой шелковой черкеске. Две тугие косы прямой линией – по спине. Лица не видно: оно отвернуто к свету окна. На коленях – белая папаха. В мягкой, расчесанной мерлушке совсем утонуло круглое зеркальце. Рядом – на плахе – круглая, плоская, голубая коробочка. В руках у женщины пуховка, как пышный, только что распушившийся одуванчик. Она водит им по лицу и поворачивает голову перед зеркалом. Лицо все более отворачивается от Глушкова. Тяжело он опирался: из линиялой красной стенки выдавился сухой треск. Женщина быстро подобрала под плахи ноги в черных лакированных сапогах и оглянулась.

Серые глаза ее с ненавистью забегали по стенке. Брови совсем нависли на глаза или ресницы и стали до бровей.

– Ссс... скоты...

Скорее свистнула, чем произнесла она, продолжая обшаривать глазами стенку.

Лицо бледное, белое, первое, какое-то внутреннее, а не наружное. Глаза быстрые, мохнатые – таковы южные мухоловки. Не успеешь шевельнуться, как она уже неизвестно где.

Политком отдернулся от щели и вздрогнул, словно по его груди проскользнуло это стремительное молниеносное насекомое. На его плечо по-дружески, но крепко легла чья-то рука. Он оглянулся: рядом с ним стоял военный комиссар Огнев. Глубокая, совсем безгубая улыбка. Скривленная линия густых бровей.

– Интересуетесь, товарищ...

Глушков не сразу ответил:

– Не разобрал хорошенько...

Все так же без губ комиссар произнес:

– Я думаю все ж-таки, что лучше соединить ее с остальными пленными... Солдаты нежелательно возбуждены, вы заметили...

Политком также уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:

– Вы, кажется, больше о ней заботитесь, товарищ Огнев, а не...

У обоих ярче проступили только глаза. Такими взглядами обмениваются враги. Но вражды между ними совсем не было. Огнев бывший офицер, но он с начала октябрьской революции примкнул к советским частям, и за два года на фронте против белых не в чем

его упрекнуть. Но эта женщина. Напрасные пустые сожаления, что побывал он до войны на Кавказе... Смешно признаваться теперь в чем-то товарищу политкому. Совсем неважно, кем она была раньше, ничего это не изменит теперь. Может ли он что-нибудь сделать для нее? И все ж-таки думает он об этом.

Кто похвалится тем, что всегда разуму и логике у него подчинены чувства, особенно к женщине...

Политком неуклонен:

– На рассвете я позабочусь развязаться с пленными, а также и с этой женщиной довольно канителились... Приказ о соединении с главной армией у нас получен... И вообще какие-то переговоры с явно враждебным белогвардейским элементом ничему не ведут... Мне ясно, но у вас, мне кажется, насколько я замечаю, какие-то мечты о перевоплощении... Вы готовы читать пленнице чуть не «Капитал» Маркса. А к чему это поведет? Поверьте мне, из такой женщины вы советского вождя не сделаете... Да и вообще она дальше коробки с пудрой не перешагнет...

Голоса не громкие, не дальше сжатых губ, короткого дыхания, но ухо пленной женщины чутко. Она всем телом прижалась к стенке теплушки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело, – красная, холодная стенка, с темными, пыльными желобками соединений, принимает, впитывает ее жар – она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно не будет удивительно, если переданное ей тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши...

– Нет, я хотел бы еще поговорить...

Это почти признание во всем.

Политком отходит от теплушки, поворачивается к ней лицом.

– Я еще ни разу не сопутствовал вам. Вы вместо меня снимали допрос, хотя по обязанности я, как руководитель политической частью, должен... Но теперь я войду вместе с вами...

Комиссар Огнев вдруг круто по-военному повернулся, козырнул молча политкому и пошел вдоль вагона... Глушков крикнул ему уже вслед:

– Подождите, товарищ Огнев, нужно выяснить... К чему эти недоразумения, недомолвки...

Последние слова он уже бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели. Догнал он Огнева у штабного вагона и поднялся вслед за ним по ступенькам. Огнев, не глядя на него, опустил на свою койку и, вынув из кармана папиросу, нервно гладил ее между тонких пальцев... с припухшими за революцию казанками.



Политком молча наблюдал за ним.

Вошел секретарь штаба, принес подписать бумаги и только, что полученные из главного штаба. Отделив одну из полученных бумаг, протянул ее Огневу.

– Эту вы все время откладывали. Я ее разыскал и печать к исполнению приговора уже поставлена... Осталась только ночь...

Комиссар Огнев быстро приподнялся, не глядя на протянутую ему бумагу.

– Поговорим в лесу... Здесь неудобно...

Он также быстро, как вошел, выпрыгнул из вагона и пошел к дальнему низкорослому кустарнику. Растегнутые полы шинели волочились по обе стороны его тела, таща за собой сухую траву и репейник. Политком, отставая, следовал за ним, недовольно срывая с себя пристающие колючки репья. С большим неудовольствием замечал он сулившее колоссальную потерю времени намерение Огнева добраться совсем не до кустарника, а до гор, до которых не менее, как верст пять... Но Огнев, дойдя до первых кустарников, обессиленный повалился грудью па землю. Выгоревшая, сухая, колючая трава острыми спицами воткнулась в тонкое сукно, больно впилась в разгоряченное близко приникшее к земле тело. Огнев не шевельнулся, примял колючую щетину, остался также лежать, уткнувшись лицом в фуражку... Запыхавшийся политком остановился около него...

– Вы, я вижу, товарищ, серьезно...

Глушков оглянулся.

Кругом низкорослый, колючий боярышник, карликовые дубки, выгоревшая, обломанная зноем трава с тупой, загрубелой верхушкой. Армейские лошади пасутся на ней. Часто водят осушенными мордами, не находя достаточно корма. Вдали в синей жиже лагерь кавказских гор. Убегающая к ним пухлая насыпь железной дороги. Далекие штыки кипарисов станции кавказского курорта, теперь занятого красными войсками. Домов не видно, только черные, острые иглы кипарисов.

Солнце, потерявшее мощь, отодвинуто к краю неба. В это время выходит из курорта воинский поезд. Вот показались завитки дыма.

Политком потрогал плечо Огнева. Жест его был примирительный.

– Хотите разыграем – кому первому идти...

Называть куда, к кому и зачем пояснять не нужно было. Им было понятно, поймут и читатели.

– Вот идет поезд, стреляйте – кто попадет в паровоз...

– Я не это хотел предложить, – прервал его политком. – Но все равно. Никто от этого не пострадает. Я...

Не дослушав его, Огнев вскочил с земли и выхватил из кармана револьвер.

– Стреляйте, – только произнес он.

Политком также быстро отстегнул от ремня револьвер и вытянул руку. Огнев выстрелил первый... Пуля царапнула несущийся паровоз за длинное цилиндрическое тело: вверх взлетело легкое облачко. Глушков, сдаваясь, выстрелил, не целясь. Пуля перелетела паровоз и подняла с земли сухую вспышку пыли...

Темнело, когда комиссар Огнев подходил к третьей теплушке. Похоже было – стопы его слишком тяжелы или земля его колдует, путает, и не слушать ее колдовства он не может. Все ж-таки он дошел. Рука протянулась к засову и совсем неожиданно сорвалась с замка. Огнев, покачнувшись назад, чуть не упал: кто-то схватил его из-под теплушки за ноги.

Хорошее колдовство.

– Ты зачем, товарищ?

Голос красноармейца-армянина.

– А ты сам зачем?

Брезгливо отталкивал мягкие, жирные руки. Огневу казалось, что на сапогах остаются густые мазки свиного сала...

– Я караулим... Все солдат губа точит на барину, а я один барину знаю лучше всех...

Огнев как можно спокойнее ответил:

– Что ты не узнал? Я начальник. Полковой комиссар. Иди спать пока. Мне постановление сделать последний допрос...

– А может начальник еще что сделает...

– Негодай, иди прочь...

Армянин метнулся обратно под вагон и вылез с противоположной стороны, но не ушел, а лег у переднего колеса теплушки.

Не спуская с него глаз, трое татар молча стояли на часах перед другими двумя теплушками с пленными.

Огнев, стараясь не греметь тяжелым замком, осторожно отодвинул дверь. Женщина лежала на лавке, подложив папаху под голову. Когда комиссар вскочил в теплушку и поспешно задвинул за собой дверь, она также быстро вскочила и села, держась обоими руками за кромку плахи.

– Что вам?..

Не отвечая, Огнев чиркнул спичками и зажег небольшой огарок. Оглянулся куда бы его поставить. Она прищурилась на него при свете, быстро согнула в локте его руку и сказала:

– Стойте так.

Она осторожно достала из кармана на груди круглое зеркальце и пудреницу из бокового кармана. Открыв голубую коробочку, не глядя на Огнева, неподвижно светившего ей, стала пудриться...



Когда нос стал белее лица, она достала губную помаду и тронула ей чуть-чуть губы. Улыбнулась.

– Теперь хорошо.

Спрятав пудру и помаду, взглянула на Огнева. Зеркальце осталось у ней в руках. Выпрямилась и, еще раз взглянув в зеркальце, протянула руку к груди комиссара и толкнула его.

– Отойдите дальше.

Огнев, повинаясь совсем не ее руке, толкнувшей его едва, отступил назад.

Она опять села и положила зеркальце на колени.

– Зачем вы ко мне приходите? Сказанного однажды я не переиначиваю...

– Это могло бы опровергнуть ваше прошлое, но не в этом дело... Времени осталось у вас мало. Отложить расстрел я больше не могу...

– Я и не прошу вас... И вообще вы негодный кавалер стали...

Она задумалась ненадолго. Мухоловки сложили вместе обе стороны душистых лапок.

– Я хотела что-нибудь после себя оставить...

– Мне...

– Совсем не вам, а вообще. Я думаю, что мои косы на это годятся. Пускай они останутся жить... Я их люблю.

Она сложила на груди обе косы вместе и играла пушистыми концами...

– Серьезнее вы ни о чем не попросите.

– Вот смешно. Это очень серьезно...

– Неужели вы совершенно отказываетесь принять от меня какую-нибудь помощь...

– Помощь. Фи... И притом... надо же понимать. Кто служит, вообще как-то действует в жизни вместе с хамми, сам теряет благородство. А от лишенных этого достоинства я услуг не принимаю. Уйдите. Вы мне больше не нужны. Спасибо за огарок... Да вот еще что. Разрешите мне причесаться к завтраму, а то завтра я не успею... Подержите еще огарок...

Женщина спокойно стала распускать волосы.

Огнев быстро поставил огарок прямо на пол. Его большая неуклюжая тень метнулась по стене, переломляясь у потолка. Он сидел рядом с женщиной и, не давая ей опомниться, поймал ее руки.

– Галина, вспомните, ведь вы любили меня когда-то. Мои убеждения были вашими. Почему же теперь в такую критическую минуту вы так насмешливы, неумолимы, когда еще, может быть, можно что-нибудь сделать... Вы молоды, вам не больше двадцати... Вы смелая, решительная женщина, в Советской России вам откроются неограниченные возможности, богатое поле деятельности...

Она вырвала свои руки.

– Самое богатое – быть предательницей. Это только вы, слабый, безвольный человек, могли предать на избиение русскую истинную армию, спасающую отечество. У вас не было стыда предать свой класс, высшее сословие, откуда вы сами происходите. Вы стоптали, разрушили, заплевали свои священные дворянские верования, традиции, привычки, обычаи целых столетий. Но я не такая... Я презираю взбунтовавшихся рабов и вас вместе с ними... Вы мне противны, гадки. Мой муж, полковник, старый, слабый человек, но честный, доблестный защитник, освободитель затоптанной, попорченной России, и я ему не изменю, хотя бы мне пришлось умереть...

– Галина, успокойтесь, рассудите спокойно, объективнее – не заблуждаетесь ли вы, не гибельное ли это заблуждение, совсем не нужное России, русскому рабочему классу, крестьянству... Вспомните – крестьян вы любили, когда нужна была помощь, вы не отказывали...

– В помощи. Да. Но один стол с ними не имела, свои преимущества не забывала, в хвосте за ними не ходила, грязь за ними не убирала... Фу, гадость какая, только подумать... Уходите. И вы еще прикасались ко мне: у вас руки грязные, смотрите, ногти обломанные, короткие, желтые...

Она с отвращением вытерла свои руки о низ черески. Зеркальце соскользнуло с колен, упало на пол и разбилось пополам...

Пленница испуганно посмотрела на осколки, подняла их, словно не веря глазам, посмотрелась и заплакала, затопала ногами, пронзительно крича:

– От вас только несчастье, горе, потеря. Ненавижу, ненавижу. Убейтесь.

Она бросилась на нары, подогнув под себя колени и, уткнувшись головой в папаху, зарыдала. Косы, свисая до полу, бились, трепетались на полу...

Огнев бросился к ней...

Дверь теплушки отодвинулась, готовый вскочить в нее, стоял политком, за ним – угрюмые, темные лица красноармейцев-татар, о бок – винтовки...

Пленница продолжала рыдать...

– Что вы с ней сделали? – строго спросил политком и, не дожидаясь его ответа, обратился к женщине:

– Он вас изнасиловал? Отвечайте...

– Зеркало, зеркало он разбил, – иступленно закричала она.

Одна половинка разбитого зеркальца выскользнула из рук и упала на пол, но ее незначительный, игрушечный блеск, всего в одну искру все заметили. Политком улыбнулся и дружелюбно коснулся спины Огнева.

– Ей богу, напрасно вы мучаетесь, товарищ...



Худой, бледный красноармеец, подошедший позади татар, разглядывая плачущую женщину, негромко выговорил:

– Вот несознательный элемент...

Презрительно сплюнув, пошел от неподвижно стоявших татар. Огнев, не сопротивляясь, дал себя вывести из теплушки.

Политком Глушков напрасно пытался сегодня заснуть. Деревянная койка – жестче, чем всегда. У подоткнутой на ней шинели прямо невозможные швы. Он уверен, что сегодня у него по телу красные рубцы – отпечатки этих толстых, грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самого портного этой шинели. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кряхтеть и почесываться. Но почесываться приходилось не от одних швов. Политком, ворочаясь, бормотал:

– Швы... вши...

Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответу, чтоб шил аккуратнее...

– Чертовщина. Ничего нет хуже, как сидеть, выжидая распоряжений. Такая чепухистика лезет в голову...

«Комиссар – рядом, за стенкой, спит уже. Уж, кажется, ему бы скорее... Может быть, и не спит, но его не слышно».

Глушков прислушался к его дыханию.

«И дыхания совсем нет».

– А ну его, что он мне сдался. И пленница эта – пустая женщина...

Политком достал папиросы и долго чиркал спичками: головки сламывались под руками и отлетали, давая вспышку на лету. Наконец одна попалась неподдавшаяся нетерпеливым пальцам политкома – не сломавшись, загорелась с шипеньем. Выкурил. Опять лег, накрылся одной полый шинели. Духота. Совсем душная ночь. Отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Достал из-под изголовья сапоги (привычка, приобретенная в голодное время), стал медленно надевать.

– Пойду, посмотрю караул.

Стараясь не задевать шпорами, шел мимо спящих штабных. Только при спуске с вагона шпоры ударились о ступеньки и звенели. Вышел в полнейшую темноту (в вагонах горели фонари), на улицу свет не проникал – окна были завешены изнутри. Кругом полнейшая темнота. Одно небо и звезды, больше ничего. Но и путь не далекий: теплушка направо третья с краю. Первой теплушки не видно, ну тогда – вторая от штабного вагона. Даже пролеты между вагонами не видны. Пошел вдоль вагона, касаясь стенки. Вот рука осталась в пустом пространстве. Еще один вагон пройти. Какой же храп в

этом вагоне. И не храп даже, а, скорей, целая мельница на жерновах в ходу. Караульных около третьего вагона не было. Может быть, у двух следующих. Обошел кругом две крайние теплушки. Пользоваться руками уже не нужно было. Ближайшие предметы вырисовывались темнее, чем пустое пространство. Никто не стоял на карауле. Наверно, растянулись на земле, а от земли отличить лежащее на ней тело в такую ночь невозможно.

«Ну, хорошо, это потом».

Вернулся к третьему вагону. Попробовал замок. Замок был на месте. Но не видно было в темноте, что вторая петля засова не захвачена дужкой замка. Совсем не думая об этом, толкнул дверь, она легко, не скрипнув, поддалась, как по маслу. А он помнил, уводя Огнева, что дверь неприятно и резко скрипела, когда он ее задвинул.

С тупым толчком в сердце, но не представляя ничего, схватился за спички. Одну за другой, одну за другой – только сломанные головки и угасание на насыпи из мелкого гравия.

В темноте вскочил в теплушку, двери захлопнул и, пытаясь унять дрожь в пальцах, слабо скреб спичкой о бок раздавленного спичечного коробка... Так же слабо и не сразу разгораясь, тлела спичка. Углов она не освещала, но видны были обе плахи: на них никого не было. На полу еще уцелел огарок. Политком зажег его и неуверенно осветил первый угол. Только его собственная тень, собираясь в бесформенный комок, лезла туда. Наконец во всех углах – черный бесформенный урод, лежащий распростертым на полу до самых ног Глушкова...

Когда Глушков добежал до штабного вагона, в дверях его схватила холодная, тяжелая, негнущаяся рука.

– Вы воспользовались ночью... Как это называется?..

Политком различил одно шипенье этих слов, но не слова. Но и оно было ему не менее понятно.

– Ее нет в теплушке.

Холодная рука сама упала с плеча политкома.

Были подняты на ноги все солдаты. При переключке не оказалось пятерых татар и армянина.

Пленные в первой и второй теплушке все были налицо. Их всех перешарили со свечой в руке за руки, за ноги, по ничего не нашли, никакого намека на их связь с бежавшей женщиной.

Политком, не зная на ком сорвать все нарастающее раздражение, с ненавистью смотрел на Огнева.

– Что вы теперь думаете предпринять, товарищ комиссар, которому вверена боевая часть?..

Огнев молча повернулся и скрылся во тьме. Скоро послышался топот копыт. Комиссар сидел на неоседланной лошади... Глушков презрительно усмехнулся.

– Какой вы неорганизованный человек, это прямо поразительно. Подайте ему седло сейчас же, – свирепо закричал он.

Огнев не успел увернуться от подхвативших его рук.

Глушков откомандировал на розыски еще человек двадцать.

Огнев метался в ночи один, без дорог, натываясь на кусты, камни, рывины. Дергал за узды коня, тот часто вставал на дыбы, крутился на одном месте, пытался даже сбросить непонятного ему в своих деланиях всадника, совсем немогущего избрать определенный путь...

Огнева угнетала одна мысль:

«Они ее погубят, погубят... Надругаются... Одна в руках пяти разъяренных, сбросивших узды дисциплины татар, обезумевшего от похоти армянина. Как он допустил до этого. Не догадался, к какой развязке это приведет».

Самые болезненные для самолюбия упрёки о своей недогадливости, отсутствии прозорливости, догадки, предвидения...

Все двадцать вернулись обратно после безрезультатных, напрасных двухчасовых толканий в ночи...

Серо-фиолетовый рассвет носил в себе одного одинокого, посиневшего всадника, на измученной, с израненными ногами, спотыкающейся лошади.

Радость зари не зарумянила, не оживила его поблекшего лица, не ободрила, не освежила бега коня, с приставшими к хвосту репьями.

Не ободрила всадника и взметнувшаяся пышно рыжая грива солнца...

Все выше, выше вскакивало солнце на небо и видел уже все, чего еще не видел, не доскакал еще побледневший всадник. Но и его взорам должно было это скоро открыться страница за страницей...

Чернел вдали первый, неподвижный холм...

Очень сильно, до кровавой ссадины нужно было сжать бока коня, чтоб он еще собрал растроченные силы.

Распростертое тело ... армейской лошади и всадника татарина. Запекшаяся кровь на распахнутой, совсем голой груди. Черные волосы, слепленные кровью... Скрученные руки, запутавшиеся в поводу. Обгаренная, обезображенная голова коня рядом...

«Но это только один... еще четверо...»

Недалеко лежал еще один с пулей во лбу. Лошади около него не было...

Близко горы. Сначала густой плащ плоскогорий, покрытый лесом: орешник, дуб, чинары. Ближайшая гора, прикрытая им до половины, до пояса словно юб-

кой, дальше голая, скалистая. В лесу мирно паслись три лошади. Высоко приподымая пухлые губы, щипали колючую траву. Появление человека их не встревожило: они выглядели совсем отдохнувшими, свежими. У двух поводья волочились по земле. Лошади равнодушно на них наступали, у одной – узда была оборвана у самой морды. Далеко от лошадей впереди на каменистой тропке лежали три трупа, один – лицом вниз, врывшись в землю пальцами. Двое – друг на дружке крест накрест с глазами – в небо...

В ручье, пересекающем горную тропинку, отчетливо запечатлены были копыта двух коней, идущих рядом...

Оставшийся в живых армянин казался Огневу самым отвратительным, невыносимым существом.

«И действительно он, Огнев, «неорганизованный человек»: надо было догадаться сменить утомленного коня на одного из трех отдохнувших коней».

Возвращаться мешало нетерпение. Но напрасно подгонял он измученное животное, оно, рванувшись из-под всадника, снова замедляло бег...

Солнце уже достигало наивысшего подъема и силы своего бега. Еще небольшой скачок и усилий уже никаких.

Последний.

ЭТО опрокинуло все удручающие предположения заморенного бегом и жаром всадника...

Преграждая ему путь, лежало грузное тяжелое тело армянина с кровавым месивом вместо головы, а на руке крепко замотанная вокруг ладони белокурая, тугая коса...

Огнев спустился с коня, размотал белую, окровавленную косу. Она пахла порохом и волосистой гарью. Он заметил опаленные, оборванные взрывом выстрела волосы...

«Она предпочла лишиться косы...»

Середина волос продолжала пахнуть пудрой потевшей ее владелицы...

Усмехнувшись, Огнев положил ее в карман и, не спеша, опустив поводья, поехал обратно...

С мертвого ему на спину перелетели мухи. Оставшиеся, – спокойные, важные, не торопясь клали в запекшуюся кровь свое мушиное малое и великое в природе – новые зародыши продолжения и развития бездушного торжества природы возрождения из мертвых...

Распаренное своим бегом и подъемом вспотевшее солнце катилось, приглаженное с горы...

Публикация Т. ИВАНОВОЙ
Из архива Н. Панченко

Поэмы Александра Ревича

ПОЭМА О ДОМЕ

Был дом, как дом: водились мыши,
чадили печи, пол скрипел,
за окнами белели крыши,
шёл снег... а дальше был пробел...
нет, помнится, мигали свечи
(должно быть, гас ночами свет),
как сказано, чадили печи,
но, слава Богу, был обед –
свекольник с ячневой кашей,
порой из крана шла вода,
охрип рояль в квартире нашей,
а время двигалось тогда
медлительностью черепашей.

В те дни так жили города,
куда бежали всей деревней
от голода и прочих зол,
и это было злостодневней,
чем агитпроп и комсомол,
о злоба дня, как было о Плевне,
мне видится в эпохе древней,
когда пешком ходил под стол,
когда отец мой безработный,
служивший в белых на беду,
карябал на бумаге нотной
под Баха фуги.
Речь веду
про то, что лишь по слухам знаю,
но всё же слышал в том году,
когда ворочался без сна я,
скрипучих половиц хорал:
отец бродил, когда все спали,
и на простуженном рояле
зачем-то что-то подбирал.

Вот так и жил я, желторотый.
Валил по праздникам народ,
штыки качались, пели роты,
как шла дивизия вперёд,
а наш сосед, полковник старый,
Олег Петрович Лозовой,
цедил в усища: «Янычары», –
качал седую головой.
Он тоже привыкал к безделью,

в застенке избежав свинца,
и к нам ходил с виолончелью,
беря уроки у отца.

Ещё я помню: как-то к маме
пришла в один из зимних дней
девчонка, рыжая, как пламя,
и стала нянею моей,
притом она звалась Татьяной,
пришла из курского села,
была смешливой и румяной,
моей подружкой была.

Под Рождество морозец колкий
пришёл на смену шумных вьюг.
Привязанный гирляндой к ёлке,
я ползал весело вокруг,
под хвойной веткою склонённой
я полз, назначенный котом,
а няня оглашала дом:
«Около моря дуб зелёный,
златая цепь на дубе том...»
Как я любил её за эти
невывразимые слова,
чья музыка во мне жива,
покуда я живу на свете.

Потом она от нас ушла.
Как плакал я, четырёхлетний,
не вылезал из-под стола,
совсем не верил, думал: сплетни,
что замужем теперь она,
что муж её – сапожник Ваня,
и я всё ждал: вернется няня
и сядет рядом у окна,
и даст мне молоко в стакане.

Шли дни, я стал ходить в подвал,
глядел восторженно, как ловко
сапожник гвоздь в каблук вбивал,
как возникала заготовка.
Он был весёлым, Танин муж,
широкоплечий, черноусый.
Я не встречал добрее душ.



К тому ж он складно нёс турусы
и песню пел одну про то,
как машинист машинной правит,
а кочегар баланду травит,
потом играл со мной в лото,
игрушки резал мне из чурки,
смешные разные фигурки,
ещё умел крутить сальто
и на руках ходил, бывало.
Я без него прожить и дня
не мог, ревел, когда меня
силком тащили из подвала.

По праздникам он надевал
шлем со звездой, бекашу с бантом,
унылый покидал подвал
и шёл навстречу демонстрантам,
оркестрам, флагам и речам,
с ним няня шла в косынке красной.
Я так просился – труд напрасный,
ах, как я плакал по ночам.

Что мы поймём, что мы откроем
в четыре года? Всякий раз
казалось мне: он был героем,
был на войне и что-то спас.
Он что-то спас, добился славы,
моей и няниной любви,
ему несли ручки и травы

благословения свои.
Порой он исчезал куда-то
недели на две или три,
все дни я ждал его возврата,
и что-то падало внутри,
я к няне забегал сначала
по многу раз в течение дня,
но всякий раз она молчала
и не глядела на меня.

Но вот однажды в полдень жаркий,
в чьём солнце плавился квартал,
при выходе из нашей арки
я дядю Ваню увидал.
Он шёл босой, в рубашке рваной,
с подбитым глазом, в бороде,
передо мной был взгляд стеклянный,
каких не видел я нигде.
Он шёл, меня не узнавая,
он шёл, не видя ничего,
и ускользала мостовая
из-под нетвердых ног его.

Я снова мальчик, снова трушу,
хотя всё знаю наперед,
когда Россия прямо в душу
в дымину пьяная бредёт.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПОЭМА 1927 ГОДА

*Его поймали, арестовали,
Велели паспорт показать.
Песня «Цыплёнок жареный»*

А в том году мне было пять.
Порой такое вспоминаем,
что ни пером не описать,
ни рассказать. Но май был маем,
и начинался в этот день,
в день красных флагов и косынок,
папах, фуражек набекрень
в толпе, взволнованной, как рынок.
Я был тогда, конечно, мал,
но помнится, как по брусчатке
оркестр военный гарцевал,
как мерно топали лошадки
за эскадроном эскадрон,
лошачьи холки были гладки,
неслось «ура!» со всех сторон,
оркестра гром и цок табунный
вливался в шаг полков чугунный,

в собачий лай и грай ворон,
и кто-то голосил с трибуны.

Тот праздник, знатный тот парад,
день всех трудящихся на свете
на памяти моей был третий,
и, несмышлёный, был я рад
присутствовать на том параде,
усевшись на закорках дяди.
В тот праздник ликовал народ,
разбивший контру победитель,
увы, не знал он наперёд,
какая райская обитель
ждала его, нас всех ждала.

Бывали праздники, бывали
салюты и колокола,



но эти праздники едва ли
так живы в памяти, как тот
далёкий май в далёкий год.

Итак, гремели на брусчатке
тачанки и броневики,
и я, до всяких зрелищ падкий,
глядел на бравые полки,
на конницу и на пехоту,
всё это было мне в охоту,
как в цирке клоунов игра,
как львы и тигры в зоопарке,
пока я жив, с того утра
об этом помню я подарке.
Как веселилась детвора,
ребята с нашего двора,
снуга в толпе на тротуаре,
и снова слышалось: «ура!»

Затем счастливый пролетарий
в рядах бесчисленных колонн
прошествовал полкам вдогон,
и слышалось: «...на бой кровавый...»
«...мы в бой пойдём...»

«...марш, марш, вперёд...»
так песни над текущей лавой
взлетали, как бы в свой черед.

Что делалось в башке кудрявой
у пятилетнего мальчика?
Чужою увлечённый славой,
он явно презирал отца
за то, что в праздничной колонне
не шёл он с флагом впереди,
с кровавым бантом на груди
и в проходящем эскадроне
не восседал на скакуне,
так странно было видеть мне,
что он живёт, как посторонний,
что без него гарцуют кони,
шумят знамёна, май идёт,
бормочет зеленью, бессонный,
весны приветствуя приход,
сгоняет стаи рыб в затоны.

Откуда мог я знать, пострел,
как маялся отец без дел,
с какою болью, побеждённый,
на победителей смотрел,
что в нём душа перегорела,
когда с повинной головой
пришёл из дальних мест домой,
как чудом избежал расстрела

и думал: благо, что живой,
что всех не помнят поимённо,
и так уж воздано с лихвой.

Но плыли улицей знамёна
и медь плыла поверх голов,
и помню, замер я от звона,
стального лязга кандалов.
Кому взбрело на ум такое:
на праздник, Господи прости,
под сотнею штыков конвоя
колонну узников вести?

Решили, видимо, что надо,
являя милость напоказ,
несчастных вывести из ада
в цепях для устрашения масс.
Я вижу каменные лица,
я вижу выбритые лбы,
виденье это длится, длится,
как лик страны, как знак судьбы.
Брели сермяжные халаты
под звон цепей, под лязг оков,
ступали серые солдаты
друг с другом скованных полков,
как по Владимирке когда-то
в цепях на каторгу брели
рабы сермяжного халата,
сыны моей родной земли.

Россия! Почему веками
твой богоизбранный народ
шагает, окружен штыками
в колоннах арестантских рот?

Всё это вскоре утонуло
в потоке маршей и знамён;
ряды, бредущие сутуло,
и медленный кандалный звон,
и снова рокот барабанный,
оркестры, крики торжества,
и в облаках аэропланы,
бипланы, схожие с У-2,
и песен звонкие слова,
и каждое такое слово
твердил я следом по слогам,
и плыл передо мною снова
великолепный балаган.
Мне было пять, и май был маем,
и праздник радовал дитя,
но что мы в детстве понимаем? —
лишь сны нам снятся жизнь спустя.



ПОЭМА О РУССКОМ ПАРИЖЕ

Была такою мутной Сена,
что непонятно было, как
в ней утопиться непременно
хотел какой-то там чудак.
В таком болоте утопиться!
Уж лучше оказаться там,
где чёрная уселась птица
среди химер на Notre-Dame,
и крылья распахнув пошире,
взлететь и плыть на высоте
над Храмом, столь известным в мире,
над узким островом Сите.

Что делать в царстве тридевятиом
горящих окон и реклам,
когда не каждый здешний атом
в печёнки проникает к нам?
Конечно, – славная столица,
и есть поэт Аллен Боске,
который может объясниться
на чистом русском языке,
и есть еще актер Валерий,
сказать вернее – Валери,
с кем мы полдня, по меньшей мере,
в саду сидели Тюильри,
где был уют вполне домашний,
где рядом с Эйфелевой башней,
как штык, проткнувшей высоту,
есть чудеса пониже сортом,
но можно с Генрихом Четвертым
на Новом встретиться мосту.

Париж. Бродя по стогнам этим,
мы рады многому порой,
но Ходасевича не встретим,
и Галич спит в земле сырой.
Где все они? Порою током
с бумаги строчка бьёт в упор.
Теперь бы повстречаться с Блоком,
вступить бы с Белым в разговор,
не говоря уж о Верлене
и о Рембо не говоря...
Но вот легли на город тени,
и гасла бледная заря,
и целый вечер был свободен,
и не идти же для души
в вертепы двух парижских своден –

на Сен-Дени или Клиши!
В окне темнело понемногу,
вдруг молния, дождём грозя,
зажгла зигзаг, но слава Богу,
за мной заехали друзья,
из русских, двое, муж с женою,
и вскоре нас уже несло
в ночь, в ливень, бьющий в лобовое
полупрозрачное стекло.

Дождь стих. Мы вышли. Перед нами
горящих лампочек пунктир
причудливыми письменами
у входа прочертил: «Трактир», –
и мы спустились по ступеням
в полуподвальное тепло,
наполненное смехом, пеньем,
и как-то сразу отлегло,
возможно, выпал редкий случай,
и всё откликнулось на зов
гитарных звонов и созвучий
природных русских голосов,
где две гитары на эстраде
и «две гитары за стеной»,
где в каждом звуке, в каждом ладе
душа открылась предо мной.

Сто раз я слышал песню эту
и пел её не раз, не два,
но вторя каждому куплету,
теперь шептал её слова.
Ну что в ней? Ничего такого,
стихи да и мотив – не ах,
но так на звук ложилось слово,
что рядом, путаясь в словах,
вдруг стали подпевать французы
и все, пришедшие в кабак,
и вмиг соединили узы
людей, не связанных никак.

Тогда ещё шёл век двадцатый,
и в ночь с какой-то давней датой
вновь слышались грозы раскаты,
опять лило, и все сильнее,
проулков пенились излучки,
и под гитары пели внуки
изгнанников страны моей,



они смешно произносили
слова, хоть знали с детских дней,
но пели вольно, без усилий,
как деда в прежние века,
когда в челнах ватаги плыли
по Волге вверх издалека.

Светало. Стало пусто в зале,
лампада теплилась в углу,
и вот троём ребята встали
и сели к нашему столу,
в три голоса под две гитары
они запели от души,
пустились в тары-растобары
и пили водку под «виши»,
два Николая и Наташа,
потом хозяин подошёл,
и дружная ватага наша
устроила весёлый стол,

и чтоб в гостях согреть мне душу,
ребята грянули «Катюшу»,
затем – «Закурим по одной»,
им всё застолье подпевало,
всё было так, как мы, бывало,
в землянке пели ледяной.

Когда мы вышли, над кварталом
всходило солнце в смоге алом
и окон плавило стекло,
потом он становился рыжим,
Париж всё тем же был Парижем,
а сколько времени прошло!
Век уходил, как век Бодлера,
как всякая другая эра,
стоял у крайней полосы,
на Сене искры гладь рябили,
и на какой-то башне били
неумолимые часы.

ПОЭМА ДОРОГИ

*По глухим далёким деревушкам
возвращался с фронта я домой...
Старая песня*

Он сказал мне: «Твоего отца
встретил я в Екатеринодаре.
После боя пот катил с лица.
В скверике сидел он с кем-то в паре:
пиво пили, сухари грызя,
оба при погонах, при параде,
и хоть в классе были мы друзья,
прибыл я в передовом отряде
красных войск. Тот город час назад
сходу был будённовцами взят,
и, возможно, старой дружбы ради,
крикнул я: «Смывайтесь! Город наш!»
Он кивком со мною попрощался
и – бегом. Вокруг был ералаш.
С ним с тех пор я больше

не встречался.

Тётка говорила: «Он тайком
в дом вошёл. Глядим: бродяга вроде.
Помнится, он был в тряпье таком,
как на самом жалком нищерброде,
словно выбрался из-под земли,
чёрный весь от копоти и пыли,
еле-еле мы его отмыли,
всю одежду вшивую сожгли,

в то, что отыскалось, приодели,
он ведь шёл с Кубани на фуфу,
простудился, кашлял две недели,
хорошо ещё, не слёг в тифу.
Как ещё душа держалась в теле?»

Вижу, как он шёл по пустырям,
спал в стогу и прятался в овраге,
хлеб выпрашивал у хуторян,
примирившись с долей бедолаги,
как с дорожной палкой и сумой,
высохший, нездешний, тонколиций,
по глухим просёлкам брёл домой,
обходя слободки и станицы.

Помнится: совсем в другом году,
двадцать с лишним лет спустя, из плена
с посохом и торбою бреду,
видно, суждено мне на роду
повторить такое непременно.
Видно, так. Иначе – почему
мне пришлось однажды самому
испытать дорогу и суму,
спать в омётах, зарываться в сено?



Вспомнилось всё это на заре,
в час, когда колёса в такт стучали,
числа спутались в календаре,
может, все часы на свете стали
вслед за приговором в трибунале:
сдался в плен и сдал своих солдат...
к высшей мере!., заменить!., штрафбат!,
Может, вывезет ещё кривая?

Жизнь идёт, размерен стук колес,
мчит состав, дай Бог, не под откос,
мчат вагоны, стук не прерывая,
ничего, что за стеной конвой,
что вокруг штыки заградотряда,
Слава Богу, кончено с тюрьмой,
всем паёк положен фронтовой,
живы все, чего ещё нам надо?

Спят в теплушке рядовые,
спят все от лейтенанта до майора,
всех лишили званий и наград,
всех сюда загнали без разбора.
Спят ещё под стук колёс, но скоро
многих не сочтёшь из тех ребят,
это будет скоро, скоро, скоро,
через час подъём, консервы ешь,
жуй краюху, чай хлебай горячий,
скоро, скоро, так или иначе,
с жизнью распрощаемся собачьей,
на исходный выведут рубеж,
а потом – наперевес винтовки
и – на колья проволочных мреж
без артиллерийской подготовки.

А пока что полз туман густой
над землёй, над энной высотой,
и состав уже подполз к платформе,
из вагонов выводили нас
в тесноту – в туман и в ранний час,
а ведь мир – он был куда просторней.

Строй, поверка, быстрый перекур,
шуточки под взвизги местных дур,
и уже команда: по вагонам!
Что стряслось? Я, кажется, отстал,
поезд всё быстрее, а я вдоль шпал
во всю прыть – бегом за эшелон.
Угрозило. Попал в беду.

Но ещё рывок – и на ходу
в поручень рука вцепилась шаткий,
миг – и я на тормозной площадке,
от судьбы, как видно, не уйду.
Вот он – лес, потом ищи-свищи,
вот он – мир, где всё в тумане тонет,
вот – болото, кочки да хвощи,
всё молчит, никто не растрезвонит,
вот он – я, и рядом никого нет.

Но туман растаял. Ветер. Дождь.
Нет лесов, нет мимолётных рощ.
Где хвощи? Где кочки? Где болотца?
И гремит состав, летит вагон
в дождь и ветер, времени в обгон.
Чем вся эта скорость обернётся?
Снится мне: отец идёт пешком
с посохом корявым и мешком
от станицы – по степи – к станице,
то ли сам иду я с посошком
по степи... ещё мне что-то снится.

Мог бы я уйти за тот предел,
слиться с бором, с лиственной пущей,
но рукой зачем-то прикипел
к поручню тюрьмы своей, бегущей
в неизвестность, где конец пути,
пуля в лоб, а, может, боль в кости
будет годы долгие знакома,
мир широк, да некуда уйти
от себя, от времени и дома.

Все дороги и тропинки все
на болоте, в чаще и овсе,
в кукурузе и чертополохе,
может быть, для нас не так уж плохи,
в дом родной, к последней полосе
мы шагаем, пленники эпохи.

В ночь, когда нас бросили в прорыв,
был я ранен, но остался жив,
чтоб сказать хотя бы о немногом.
Я лежал на четырех ветрах,
молодой безбожный вертопрах,
почему-то бережённый Богом.

«...И огненно настурция цветёт»

Из стихотворений семидесятых годов, написанных в Тарусе

Лариса МИЛЛЕР

* * *

Посвящается Борисову-Мусатову

Осыпавшийся сад
И шмелиное гуденье.
Впереди, как сновиденье,
Дома белого фасад.
Сад, усадьба у пруда,
Звук рояля, шелест юбки...
Давней жизни абрис хрупкий,
Абрис зыбкий, как вода,
Лишь в душе запечатлён.
Я впитала с каплей млечной
Нежность к жизни быстротечной
Ускользящих времён...

* * *

Почти затоплена земля
Та, на которой мы стояли,
И золотятся под лучом
Уже затопленные дали.
На обречённом островке
Нет смысла оставаться доле,
Уходит почва из-под ног,
И мы – нигде, и мы – на воле.
И, не заботясь о пути,
Ступаем, небосвод колебля,
И обвевают ноги нам
Ушедшие под воду стебли,
И не предвидится нигде
Ни пяди благодатной суши,
И замирают от тоски
И от восторга наши души.

* * *

Всё серьёзно – каждый шаг, каждая улыбка,
Как в младенчестве грежим крашеною рыбкой,
Как ступаем по земле, как уходим в землю,
Как бушуем и клянём, как смолкаем, внемя.
Как прощаем, чем корим – всё весомо, свято,
А не только миг, когда, на кресте распятый,
Застывает надо всем мученик великий
С выражением тоски на бескровном лице.
Был Он свят и был велик до распятия, прежде,
Когда хаживал с людьми в будничной одежде.
Не в Голгофе лишь одной пафос и мученье,
Есть обычной жизни ход и судьбы течение.
И не просто распознать, что есть миг обычный,
Что есть самый главный миг, самый патетичный.

* * *

Как ручные, садятся на грудь
Листья дуба и клёна.
Что такое наш жизненный путь,
Бесконечно продлённый? –
Миллионы концов и начал
В непрерывной цепочке, –
От листа, что сегодня опал,
И до завтрашней почки.
Это цепь бесконечных утрат,
Бесконечных находок,
Это вечно восход и закат
С обещаньем восхода.
Это вечно то сушь, то дожди,
То пустыни, то реки,
Это вечное вслед – «подожди»
Уходящим навеки.



* * *

И всё равно я буду помнить свет.
И в пору тьмы и на пороге смерти
Я не скажу, что в мире света нет,
А если и скажу, то мне не верьте.
Сплошная тьма у самого лица.
Но стоит сделать два нетвёрдых шага,
И вот уж под лучом струится влага
Какого-то лесного озера.
Мираж и сон? Воображенья плод?
И ночь кругом, и свет совсем не брезжит;
Но значит, где-то день, и солнце нежит,
И огненно настурция цветёт.

* * *

И ночью дождь, и на рассвете,
И спят благословенно дети
Под шёпоток дождя.

Покуда тишь и дождь как манна
Идёт с небес – всё безымянно
Окрест. А погода

Вновь обретёт и знак, и дату
И двинется опять куда-то,
Неведомо куда.

И распадётся, раздробится
На силуэты, жесты, лица,
Миры и города.

И станет зыбким и конечным
Всё то, что достояньем вечным
Как будто быть должно.

И будут новые потери
Нас укреплять в нелепой вере,
Что так заведено.

Устав от собственного ига,
Мы будем ждать иного мига,
Напрягши взор и слух.

И позабыв за ожиданьем,
Что мы владеем мирозданьем
И что бессмертен дух.

* * *

Ни горечь, ни восторг, ни гнев
И ни тепло прикосновений.
Лишь контуры домов, дерев,
Дорог, событий и явлений.
У тех едва заметных рек,
Тех еле видимых излучин
Ещё и не был человек
Судьбою и собой измучен.
И линией волосаной
Бесплотный гений лишь наметил
Мир, что наполнен тишиной,
Без шёпота и междометий.
Да будут лёгкими штрихи,
Да будет вечным абрис нежный,
И да не знать бы им руки,
Излишне пылкой иль прилежной.
Да научиться бы войти
В единый мир в час ранней рани,
Не покалеча по пути
Ни малой чёрточки, ни грани.

* * *

Не подводи черты.
Не думай об итоге.
Несметных дней гурты
Белеют на дороге.

Гони их пред собой,
Гони к холмам волнистым,
Дорогою любой
К долинам травянистым.

Не верь дурной поре.
А верь, что за долиной
Вдруг вспыхнет на заре
Твой куст неопалимый.



* * *

Нас годы предают,
Нас годы предают,
Нас юность предаёт,
Которой нету краше;
И птицы, и ручьи
Весенним днём поют
Не нашу благодать,
Парение не наше.

Лети же, юность, прочь.
Я не коснусь крыла
И не попомню зла
За то, что улетела.
Спасибо, что была,
Спасибо, что вольна –
И улетела прочь
Из моего предела.

И я учусь любить
Без крика «подожди!»,
Хоть уходящим вслед
С отчаяньем гляжу я.
И я учусь любить
Весенние дожди,
Что нынче воду льют
На мельницу чужую.

* * *

Лететь, без усталости скользить
По золотому коридору.
И путеводна в эту пору
Осенней паутины нить.
И путеводен луч скупой,
И путеводен лист летучий.
И так живётся, будто случай
Уже не властен над судьбой.
Принесена с лихвою дань
Страстям, превратностям, порывам.
И если держит терпеливо
Своих детей земная длань,
То, значит, существует час,
В который то должно свершиться,
Что превращает в лики лица
И над судьбой подымлет нас.

* * *

Все поправимо, поправимо.
И то, что нынче горше дыма,
Над чем сегодня слёзы льём,
Окажется прошедшим днём,
Полузабытым и туманным
И даже, может быть, желанным.
И будет вспоминаться нам
Лишь белизна оконных рам
И то, как в сад окно раскрыто,
Как дождь стучит о дно корыта,
Как со скатерки лучик ломкий
Сползает, мешкая на кромке.

* * *

Покину землю, так и не объяв
Всего, что есть прекрасного на свете.
Быть может, донесёт однажды ветер
Шум дальних вод и шелест дальних трав.
Привычное улавливает слух.
Привычное окидываю взором.
Но если я тоскую по просторам,
То лишь по тем, где окрылённый дух
Поэта пребывал, когда с пера
Текла строка: «Пора, мой друг, пора...».

* * *

А там, где нет меня давно,
Цветут сады, грохочут грозы,
Летают зоркие стрекозы
И светлых рек прозрачно дно;
И чья-то смуглая рука
Ласкает тоненькие плечи.
Там чей-то рай, там чьи-то встречи.
О юность, как ты далека!
Вернуться в твой цветущий сад
Могу лишь гостем, чтоб в сторонке
Стоять и слушать щебет звонкий
И улыбаться невпопад.



* * *

Какое странное желанье –
Цветка любого знать название,
Знать имя птицы, что поёт.
Как будто бы такое знанье
Постичь поможет мирозданье
И назначение твоё.

Не всё ль равно, полынь иль мята
На той тропе ногой примята,
Не всё ль равно? В одном лишь суть –
Как сберегаем то, что свято,
Когда с заката до заката
Незримый совершаем путь.

Не всё ль равно, гвоздика, льнянка
Растут в пыли у полустанка,
Где твой состав прогромыхал?
В одном лишь суть – с лица ль, с изнанки
Увиден мир, где полустанки,
Гвоздики и полоски шпал.

Не всё ль равно?.. И всё же, всё же
Прозрачен мир и не безбожен,
И путь не безнадежён твой,
Коль над тобою сень сережек,
И травы вдоль твоих дорожек
Зовутся «мятлик луговой».

* * *

Неясным замыслом томим
Или от скуки, но художник
Холста коснулся осторожно,
И вот уж линии, как дым,
Струятся, вьются и текут,
Переходя одна в другую.
Художник женщину нагую
От лишних линий, как от пут,
Освобождает – грудь, рука.
Ещё последний штрих умелый,
И оживут душа и тело.

Пока не ожили, пока
Она ещё нема, тиха
В небытии глухом и плоском,
Творец, оставь её наброском,
Не делай дерзкого штриха,
Не обрекай её на блажь
Земной судьбы и на страданье.
Зачем ей непомерной данью
Платить за твой внезапный раж?

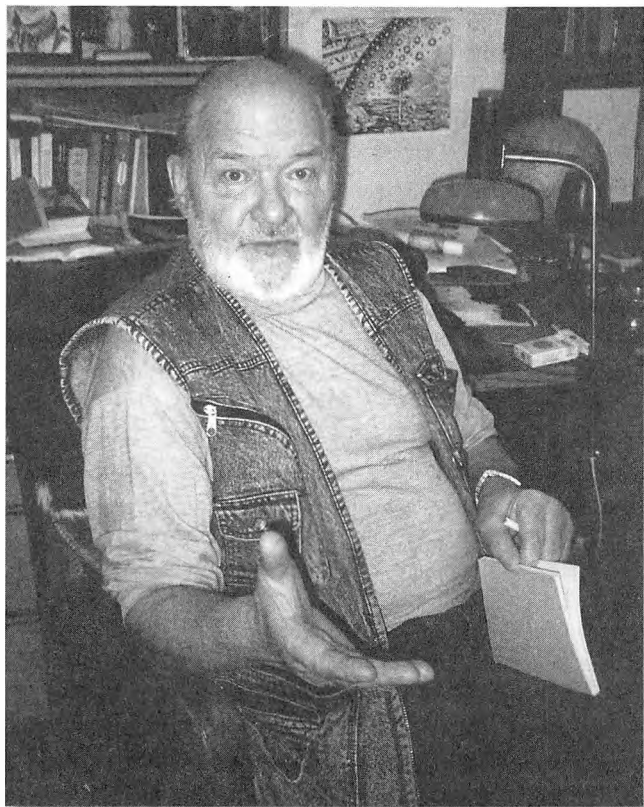
Но поздно. Тщетная мольба.
Художник одержим до дрожи:
Она вся светится и, Боже,
Рукой отводит прядь со лба.

* * *

За концом, пределом, краем,
За чертой, где умираем,
Простираются края,
Протекает жизнь земная;
Тропы новые вия.
Годы, скрытые от взгляда,
Станут чьим-то листопадом,
Чьей-то болью и тщетой,
Чьим-то домом с тихим садом,
Чьей-то памятью святой.
И таит земное лоно
Лета будущего крону,
Вёсен будущих траву,
Лист, которого не трону,
Плод, который не сорву.

«Т.С.» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Из переделкинского дневника*



Юрий КАРЯКИН

Начали расшифровку, но очень скоро, отставив в сторону старые дневники, стали с Ирой записывать почти каждый день новые впечатления и мысли. Так и сложился этот переделкинский дневник или «Уколы мысли», представляющий лишь малую часть дневниковых записей. Я диктовал. Жена Ира писала на компьютере. Почти не редактировал написанное, хотелось всякий раз записать новое. Вот почему мой дневник предстает порой для меня как чистый сумбур.

Почему я «сумбурю»? Да просто потому, что систематизировать, то есть «подвести магнит» под все эти опилки может или сможет всякий сколько-нибудь умный талантливый человек, а тем более ... полюбивший мою грешную душу. Конечно, и сам могу, и сам должен. Но, смею уверить, – раз этот «сноп» опилок летит, извергается, я – ну точно знаю! – его нельзя остановить. Потом его не будет. «Опилочки» и «магнит»... В работе получается – когда как. Вместе – редко. Когда вместе – счастье.

Точка-взрыв... Вот тут-то и надо дать себе волю, волю хаоса в себе, потому что это – *хаос содержательный*... Эту точку-искру надо еще раздуть в пожар. Вот я потому-то и записываю в реальном «беспорядке» все, что сиюминутно, сиюсекундно приходит в голову, в сердце – все, все, все... А потом (лучше сразу) начинать разбираться в этом хаосе. Он же не на «чистом листе» взорвался, а на всей жизни предыдущей. Под эти беспорядочные якобы «опилки» – подвести магнит, и – обнаруживаются силовые линии. Вот тут-то: «и в мерный круг направляю укороченной уздой...»

Вот это-то и есть мой дневник, то, что я называю «уколами мысли».

4 марта 1997

Что мне больше всего нравится в познании – сопоставление двух, трех фактов, далеких фактов и вдруг... взрыв понимания.

Привычка вести дневник, вернее не собственно дневник, а делать короткие, а иногда и более пространственные заметки – возникла у меня давно. Собралась очень своеобразная хроника мыслей за полвека.

С переездом в Переделкино в девяносто третьем году я окончательно ушел из политики, в которую попал случайно, на волне перестройки, а потом и благодаря избранию народным депутатом. Чувствовал себя в политике как рыба на песке. Уйти-то ушел, а снова поплыть, как раньше, в привычной реке литературы, оказалось непросто. В общем, был какой-то кризис. И тут мой переделкинский сосед и старый товарищ Юра Давыдов посоветовал: «А ты вместе с Ирой начни расшифровывать свои дневники. Наверное, всплывет много интересного».

* Печатаются впервые небольшие фрагменты из дневника. – *Ред.*



Взрыв точки: Достоевский – Герцен – Ленин

Точка здесь такая. 1870 год...

Точка первая. Начало января. Достоевский начинает «Бесов».

Точка вторая. Двадцать первое января. Умирает Герцен, только что написавший свое гениальное духовное завещание – «Письма к старому товарищу».

Точка третья. Двадцать первое апреля. Родился Ленин. Родился главный персонаж «Бесов» Достоевского и, в сущности, «Писем к старому товарищу». (Потом он выскажется о тех и других).

Пересечение в одной «точке» этих трех линий российской судьбы – да и судьбы всего мира – сначала даст небывалый социально-духовный взрыв, а теперь – может дать и взрыв понимания.

Хронологически точнее – сначала Герцен, потом Достоевский.

«Письма к старому товарищу» Герцена – это, действительно, недооцененная гениальная философия истории, сопоставимая разве с «Философией истории» Гегеля, самим Герценом (внутренне) – противопоставленная Гегелю. Я имею в виду противопоставление герценовской «субъективности» – гегелевской «объективности». Точнее – противопоставление понимания истории вне духовно-нравственных критериев, ориентиров, масштабов с таковыми.

А Гегель был неверующим? – Верующий, конечно, но история у него, в сущности, понималась вне добра и зла. Более того, он считал, что эти категории лишь мешают понять ее объективный ход («ум злодея», по Гегелю, выше всяких моралей... Что бы он сказал после тысячи девятьсот сорок пятого года? Ему пришлось бы в корне изменить свою точку зрения, а Герцену убедиться в страшной правоте своей).

Никто так не раскусил нечаевщину, как Герцен, поняв ее как главную угрозу, угрозу не только и не столько социально-политическую, сколько духовно-нравственную для всего человечества.

«Дворянский этап» русской революционно-демократической традиции и завершился завещанием Герцена. Оно выстрадано им так же, как пушкинский «Пророк» после пушкинского же «Демона» и «Сеятеля».

Чудовищная несправедливость Достоевского в отношении к Герцену: в «Бесах» он «подан» как автор пародийного стихотворения «Студент». Написал его Огарев, посвятил – забыл кому, а потом, под давлением Нечаева, – переписал его Сергею Геннадьевичу Нечаеву. Именно с Огаревым и с Бакуниным Герцен в

конце жизни схватился не на жизнь, а на смерть из-за Нечаева и с самим Нечаевым, конечно. И эта схватка – мысль не моя, а петербургского автора в книжке о Нечаеве – ускорила смерть Герцена. Нечаев смертельно боялся публикации письма Герцена о нем, всячески срывал ее, шантажировал дочь Герцена... Не поддавшись, оказалась достойной отца.

Кстати, я обнаружил в «Русском вестнике» в разделе – «Критика и библиография» – обзор последних произведений Герцена, обзор, который мог прочесть Достоевский, а, наверное, не мог не прочесть: в это же самое время в том же «Русском вестнике» печатались «Бесы».

И когда Достоевский писал, что у нас никто не понимает Нечаева, то это было вдвойне несправедливо. Во-первых, раньше всех и не хуже Достоевского его понял Герцен; во-вторых, его понял, чуть позже (на процессе тысяча восемьсот семьдесят первого года), если так можно выразиться, совокупный ум участников этого процесса.

Вот интересная история: Ленин был предугадан, предвиден, Россия была предупреждена о его появлении. Раньше всех и глубже всех его предвидели, о нем предупреждали Герцен и Достоевский. Даже одна эта «общая точка» (выражение Достоевского) заставляет пересмотреть традиционную, установившуюся как бы навсегда оценку, оценку – противопоставления, оценку – антагонизма. Но тут они были вместе, были заодно.

Главный пункт – единство: попытка снятия вечного противоречия между «я» и «мы», между личным самосовершенствованием и общественным переворотом – что сначала, что потом?

Противоречие это столь же мнимое, по существу, сколь и реальное – в жизни. Но мнимость его постигается и достигается слишком долго.

У Герцена и Достоевского – прорыв к его снятию. Объяснюсь. Тот и другой, навидавшись всякого, почти в одно и то же время (Герцен – 1812–1870; Достоевский – 1821–1881) открыли этот прорыв не просто в самосовершенствовании личности, в самотребовательности ее, не просто в провозглашении ничем не заменимой значимости «первого шага», а, может быть, прежде всего в том, что отнесли этот критерий к ВОЖДЯМ, почував, предугадав, поняв, что – наступает эпоха вождей и толпы, то есть то, что чуть позже сформулируют Ортега-и-Гассет («Восстание масс»), Мережковский («Грядущий хам»), «Вехи», Булгаков («Собачье сердце»). Какую-то сверхгениальность и сверхуниверсальность последнего мы до их пор не по-



няли, сняв с этого рассказа только самый поверхностный слой.

Герцен и Достоевский раскусили Ленина до его рождения. Ленин, имея почти полное собрание сочинений обоих, не понял ни того, ни другого, попытавшись «присвоить» Герцена и возненавидев Достоевского.

«У вас не будет последователей, пока вы не научитесь переменять кровь в жилах» (Герцен. 31 декабря 1847). «Письма к старому товарищу», как и «Письма об изучении природы» — написанные куда раньше первых, в сущности, в юношеские годы — потрясли меня несказанно. Чем? Не понимал, но чувствовал. Потрясающей художественностью. Не понимал, но чувствовал: личностью. Заражал. Я просто в него влюбился. Это было в студенчестве. Впервые философия на поэтическом языке.

Куда позже я понял не меньшее, а несравненно большее значение последних писем Герцена, которые можно было бы назвать «Письма об изучении человеческой природы». От них невозможно оторваться. Цитировать хочется все подряд. Гениальная философско-социологическая, духовная ПОЭМА!, по чисто художественной слитности так называемого «содержания» и называемой «формы», по той «субъективности», которая, оказывается, выше, глубже, заразительнее всякой объективности.

Господи, все давным-давно, задолго до нас открыто и переоткрыто. А нам что? А нам — только понять и применить...

Но вот в этом-то «только», оказывается, все-все и упирается. Завещание Герцена. Завещание, работая над которым, вынашивая которое, борясь за которое, он и положил жизнь. Эта ПОЭМА стоит ПОЭМЫ. Кто такое напишет? Гегель, что ли? (Мне кажется, Мераб Мамардишвили мне бы этого не простил). Это — гениальная попытка найти путь ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ как «РАВНОДЕЙСТВУЮЩЕЙ» всех частных «моралей». Но «равнодействующей» всех «моралей» — не было, нет и не будет: Христос — равнодействующая? Один человек может победить весь мир.

Гениально у Достоевского о Герцене (Страхову): «...поэт по преимуществу. Поэт берет в нем вверх везде и во всем, во всей его деятельности. Агитатор-поэт, политический деятель — поэт, социалист-поэт, философ в высшей степени поэт ...» (5 апреля 1870).

Сегодня сделал маленькое открытие. Вспомнил, благодаря книжке Раи Орловой о Герцене, герценовскую статью «Мясо освобождения» (1863). И вдруг «замкнулось» на «Братьев Карамазовых», на сценку

«За коньячком». Иван с отцом. Спор. Шныряет Смердяков. Федор Павлович выгоняет его и говорит:

— Смердяков за обедом теперь каждый раз сюда лезет, это ты ему столь любопытен, чем ты его так зала-scal?

— Ровно ничем, уважать меня вздумал; это лакей и хам. *Передовое мясо* (курсив мой — Ю.К.), впрочем, когда срок наступит.

— Передовое?

— Будут другие и получше, но будут и такие. Сперва будут такие, а за ними получше. — А когда срок наступит? — Загорится ракета, да и не догорит, может быть...

Уверен: осознанно или неосознанно в этой реплике Ивана аукнулась герценовская статья. Вообще: Герцен как один из прототипов Ивана (проблема герценовского деизма, атеизма, отношения к религии).

18 марта 2004

О романе Достоевского «Бесы»

Коммунистически — революционная интерпретация «Бесов» имеет свою страшную, а порой и кровавую историю. Началась она с десятых годов прошлого века двумя приговорами — Ленина и Горького.

По свидетельству Воровского, Ленин вообще отказался читать эту «дрянь» — как и «Братьев Карамазовых». Однако, судя по свидетельству Бонч-Бруевича, можно представить, что все-таки читал. А по-моему, так и не мог не читать, что доказывается буквально его бешеной ненавистью к этому роману. Так можно ненавидеть только то, что знаешь. А прочитав роман, не мог не узнать самого себя.

Когда МХАТ поставил в десятом (одиннадцатом?) году «Братьев Карамазовых», через два года — «Ставрогина», намереваясь продолжить сценическую интерпретацию романа «Бесов» во второй части — «Шатов и Кириллов», Горький разразился негодующими статьями. Их смысл: если можно, хотя и небезопасно для молодежи, еще, скажем, читать «Бесов», то ставить их на театре — это едва ли не политическое преступление. Потому, дескать, что «достоевщина» при несомненном таланте режиссеров и актеров будет удешевлена.

Ленин, разумеется, поддержал Горького. В коммунистической, революционной, демократической и даже либеральной печати была открыта настоящая кампания травли. И не только в России. В тринадцатом году «Ставрогин» был поставлен в венском «Свободном театре», и тут же был снят по требованию так на-



зываемых прогрессивных кругов как памфлет на «русское демократическое движение». По этой же причине вообще не состоялась постановка «Бесов» в Берлине в том же году.

Тут придется сделать два небольших отступления. Как известно, прототипом Петра Верховенского в «Бесах» был Сергей Нечаев. А Нечаев был для Ленина – образцом революционера. «До сих пор не изучен нами Нечаев, – пишет в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич, – над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался. И когда слова «нечаевщина» и «нечаевцы» даже среди эмиграции были почти бранными словами, когда этот термин стремились навязать тем, кто пропагандировал захват власти пролетариатом, вооруженное восстание и диктатуру пролетариата, когда Нечаева называли – как будто бы это особенно плохо – «русским бланкистам», Владимир Ильич нередко заявлял о том, какой ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым с легкой руки Достоевского и его *омерзительного, но гениального* (курсив мой – Ю.К.) романа «Бесы»...» Совершенно забывают, – говорил Владимир Ильич, – что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы. Умел свои мысли облачать в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятли на всю жизнь. Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос – «Кого же надо уничтожить из царствующего дома?», – Нечаев дает точный ответ: «Всю большую ектенью».

Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда огромное большинство, так или иначе, по тем или иным причинам бывали в церкви и знали все, что на великой, на большой ектенье вспоминается весь царствующий дом, все члены дома Романовых. Кого же уничтожить из них спросит себя самый простой читатель. – «Да весь дом Романовых» – должен он был дать себе ответ. *Ведь это просто до гениальности!* (курсив мой – Ю.К.) Нечаев должен быть весь издан. Необходимо изучить, дознаться, что он писал, где он писал. Расшифровать все его псевдонимы, собрать все воедино и все напечатать, – неоднократно говорил Владимир Ильич». А еще Ленин называл его «титаном революции», одним из самых пламенных революционеров... Я думаю, – заключает Бонч-Бруевич, – что мы должны выполнить завет Ленина.»

Таким образом, во всяком случае, главный завет Нечаева – уничтожить всех Романовых – Владимир Ильич – выполнил.

Повторим, подчеркнем. Потому что мало кто это знает: казнь царской семьи осуществлена по завету Нечаева и по приказу Ленина.

Когда-то очень давно, лет сорок назад, я изумился, не найдя в индексе имен Полного собрания сочинения Ленина имени Сергея Нечаева. Почему? Был настолько ему противен? Или потому что Плеханов еще в девятосот пятом году называл Ленина – Нечаевым, что двадцать пятого октября семнадцатого года Максим Горький заклеил Ленина тем же именем. Что Вера Засулич на вопрос, кого ей напоминает Ленин – ответила: Нечаева.

А еще в те далекие времена я сетовал на то, что Ленин, к сожалению, не знал работу Маркса-Энгельса «Русский Альянс», где Нечаев был заклеен, как воплощение абсолютной безнравственности. И лишь потом я узнал, что Ленин, который говорил всегда: «Каждое слово Маркса для нас святыня» – не только читал эту работу, но и сам ее издавал.

А, может быть, потому и не упоминал имени Нечаева, чтобы не обнаружилось его, Ленина, несогласие с Марксом в оценке этого «пламенного революционера». А еще потом я увидел среди портретов предшественников большевиков на страницах «Искры» – Ткачева и Нечаева.

В своей апологетической статье «Памяти Герцена», посвященной «Письмам к старому товарищу» – истинное завещание Герцена, Ленин «забыл» процитировать такие слова: «Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей... Взять неразвитие силой невозможно...». А ведь это слова Герцена в адрес Нечаева. Да потому и не процитировал, что это входило в его собственную программу. Недаром потом он скажет: «Каждый коммунист должен быть агентом ЧК»...

Забавная «проговорочная» формулировка: *омерзительный, но гениальный роман*. Выходит, во-первых, читал. А во-вторых, как может омерзительность быть гениальной, или гениальность – омерзительной?

На Первом съезде советских писателей в августе тридцать четвертого года Горький, отождествив Достоевского с героем «Записок из подполья», говорил: «Вот до какого подлого визга дошел писатель». А Виктор Шкловский поддакнул: «Как жалко, что Достоевский умер. Будь он жив, мы судили бы его своим пролетарским судом».

«Бесы» были запрещены, не издавались у нас с двадцать восьмого года, и чтение и распространение этой книги считалось контрреволюционным.

Политический подход к пророчествам Достоевского в «Бесах» – крайне важный аспект проблемы. Но есть



еще более глубокий, еще более дальновидный аспект – «метафизический», сугубо духовный, мировоззренческий. Сегодня у нас «Бесы» слишком заполитизированы. Метафизика «Бесов» у большинства пропала. Петруша вытеснил Ставрогина. А Ставрогин не только написал «устав» для «наших» (буквально написал), их *политический устав*, но и сам был их *духовным* уставом. Определил их *духовные* ориентиры, масштабы, критерии, а уж потом они и разгулялись – политически, социальнее...

Я сам шел от «физического» понимания «Бесов» к «метафизическому». Разыскивал черты Сталина, сталинизма. Вначале не видел черты Ленина, ленинизма, вообще: и коммунизма, и фашизма. Кстати Достоевский дает в «Бесах», в сущности, общую формулу и коммунизма, и фашизма, если угодно, коммуно-фашизма.

«ТЕРРОР XX ВЕКА». Суть в том, что «идеал» как коммунизма, так и фашизма не может быть по своей природе быть достигнутым вообще, а навязан может быть (поэтому) только насилем. И тот, и другой – составили самые длинные проскрипционные списки в истории человечества и, как никто в этой истории, реализовывали их.

На первом месте, на самом первом месте всего рационализма, концентрацией которого и является коммунизм, стоит атеизм. Он, атеизм, был первым пунктом в Уставе, Программе «Союза коммунистов» (первоначальный вариант). Маркс об этом: «Критика религии есть начало всякой критики...»

Патологическая ненависть к религии – особенно у Ленина. Достоевский: «Бога нет – все дозволено».

О «Братьях Карамазовых»

Кто главный виноватый? Не Смердяков, не Иван, не Дмитрий, а... Алеша!

Алеша был отправлен Зосимой в «свет», в «мир», чтобы спасти. Не сумел, не справился. Посмотрите, просмотрите, прослушайте весь роман с этой точки зрения и раскроются вдруг глубины невероятные: *самый святой – самый виноватый*. Для того и выпущен был в «свет», в «мир», чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ. Не вышло. Почему? По его вине, по его грешности, по его «карамазовщине». Алеша сам говорит Дмитрию: «Ты на последней, предпоследней ступеньке стоишь, а я – на этой же лестнице, только на первой еще...».

И *этот* Алеша должен был, по замыслу Достоевского, уйти – во втором, главном, ненаписанном романе – в социализм, в революцию, в атеизм.

Поясним читателю. Достоевский – сам! – говорил (кажется, в разговоре с Сувориным): «Этот роман – лишь предисловие к будущему». Да в самом предисловии «От автора» к роману «Братья Карамазовы» говорится: «Главный роман второй – это деятельность моего героя уже в наше время <...> Первый же роман <...> есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя».

Достоевский задумал эксперимент – из наипредельнейших, из невозможных, из невозможнейших. Реального святого пустить в революцию. Предел пределов. Если выдержит, то... Если нет, то... Никто до него не осмелился на такое...

Итак, главный роман – задуманный, второй, – об Алеше. Но и первый – о нем. А замысел второго, действительно, абсолютно гениален. Эксперимент небывалый: самого лучшего пустить из монастыря в революцию. Самого лучшего в самое-самое худшее – вот это эксперимент, так эксперимент. Святого – в ад (но уже в первом романе ясно, Алеша – не святой, в нем – дьяволенок)...

Алеша-революционер. Много ли Алеш было в нашей революции? Закономерность: они могут быть лишь на самой ранней стадии социального протеста. Какой долгий и исчерпывающий, в сущности, опыт был накоплен к семнадцатому году. На одну историческую секунду, на одну историческую минуту еще можно было обмануться (Блок, Маяковский...) Но не больше, не дольше. Больше, дольше значило быть нравственным недоумком.

А вообще-то говоря, в чистом виде, думаю ни одного Алеша в Октябрьской революции не было. Точнее, в ней – были, она их истребила... Алеша гибли на плахе не контрреволюционной, а именно – революционной. Алеша революции не нужны, смертельно опасны, как смертельно опасны людям, отрицающим всю и всякую нравственность, те, кто несет нравственность и духовность. Абсурд: очеловечить зверей, лизнувших крови... Нечто Алешину у Павла Флоренского...

Все три братца – Алеша, Митенька, Иван могли быть, должны были быть вовлечены в революцию так или иначе – и еще неизвестно на чьей стороне, но если на большевистской, то всех их укокошит братец четвертый, незаконнорожденный, – Смердяков. В сущности, весь процесс развития, развертывания революции, выявления ею самой себя – это торжество верховенщины и смердяковщины.

Итак, «главный» роман... об Алеше-революционере, царевильце, которого казнят. Есть свидетельство, что



роман этот Достоевский называл еще: «Дети». Стало быть, Алеша не просто сам пошел в пекло, а вместе – с «детьми», то есть с Колей Красоткиным, с мальчиком, открывшим Трою, и другими илюшными сородичами.

Предельная «чистота эксперимента»: не только он сам, честнейший, совестливейший Алеша, но и он с этими «детьми»...

«РЕШАЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». Есть такое понятие в логике и в жизни. Один такой у Достоевского уже был – «Преступление и наказание». Не говоря о «Записках из подполья»... да, в сущности они все у Достоевского – решающие.

Сальери убивает Моцарта. Моцарта! ГЕНИЯ!.. Вывод:

«– Гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли?

– Ты думаешь? (бросает яд в стакан Моцарта). Так пей же».

Вот эпитафия к нашему веку, да и ко всем векам, когда началась культура, началась – благодаря Моцарту и вопреки Сальери.

Что после этого можно еще сказать нового? Кажется: «тема закрыта».

Но Достоевский ставит запредельный эксперимент: Сальери убивает гения-Моцарта, новоявленный «гений» Раскольников убивает ... старуху-процентщицу, «вошь». И что же? А то же самое. Ведь сказано же: не убий.

Вот подобный этому эксперимент Достоевский и решил поставить на Алеше Карамазове. Есть факт столь же неоспоримый, можно сказать бьющий в глаза, и – почти никем не начинающий осмысливаться (исключение). Алеша Карамазов – в революцию!

Это же все равно почти, что князь Мышкин – в революции, Мышкин – цареубийца, Мышкина казнят...

Но это же все равно – страшно выговорить, что Христос... Если вдуматься, то жизнь уже ставила такие эксперименты: инквизиция, Торквемада, иезуиты, Лойола, Кальвин, Савонарола... Не счастье. Но художественного осмысления не было.

Одно дело, когда в революцию (сиречь в насилие) идут самые низкие, грубые, самые глупые (действительно, несчастные) и даже люди средней грубости, глупости,

люди среднего злодейства. Другое, абсолютно другое – когда люди самого высшего духовно-нравственного полета.

Кто кого себе подчинит? Кто кого сломает? Кто сломается? А главное – почему они туда идут, почему они туда «летят»? И – еще главнее вопрос – почему они от туда выходят, «вылетают». Что они там делают и что с ними там делается?

Забегу сразу отчаянно вперед: Достоевский «духовно-экспериментально» задумал все-таки провести Россию через революцию в лице ее высших «типов». И, наверное, пришел к страшному выводу, что и на самом деле – «натурально», физически России придется через этот опыт пройти. Пройти, чтобы найти истину, точнее вернуться к ней.

До сих пор тема, идея «Алеша Карамазов в революции» – оспаривается.

Не в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году открылась эта мысль Достоевского, ударила, обожгла его – раньше. Уж во всяком случае, не позже шестьдесят восьмого-шестьдесят девятого годов, когда начал вызревать замысел «Атеиста», «Жития великого грешника».

Если в известных нам «Братьях Карамазовых» Алеша считает себя главным виновником преступления, убийства отца, то – вот «решающий эксперимент», вот действительно запредельная чистота эксперимента, такой Алеша, «деятель неопределенный, невыяснившийся» идет в революцию...

Октябрь 1999

... Сколько любопытства праздного – у большинства людей – и непраздного, сострадательного – у меньшинства – насчет «игорных запоев» Достоевского.

Как –то впрямую спросил меня об этом приехавший к нам в Переделкино из Саранска молодой и очень способный журналист, литератор Аркадий. Мы потом с ним сдружились, ездили с Ирой в Саранск к нему в гости. Года через два дошла до нас страшная весть о его самоубийстве.

Помнится начал я свой ответ Аркадию об «игорных запоях» Достоевского издали – с попытки понять, что значило для Достоевского двадцать второе декабря тысяча восемьсот сорок девятого года*: расстрел, помилование...

* Читателю стоит напомнить. Инсценировка казни над петрашевцами, в том числе и Достоевским, в тот день: военно-полевой суд приговорил их к смертной казни «расстрелянием», но более высокая инстанция – генерал-аудиторiat – смягчила приговор, отменив казнь и назначив всем различные сроки каторги. Достоевскому – восемь лет. Потом император Николай I утвердил отмену казни и еще более смягчил приговоры. Достоевскому – четыре года, однако распорядился объявить об отмене казни лишь в последний момент. – *Ред.*



Письмо Достоевского брату Михаилу, написанное тем же вечером из Петропавловской крепости, для меня остается самым великим художественным произведением писателя, потому что оно было «кусочком», моделью всей его программы жизненной:

«Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. <...> Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. <...>

Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело: не знаю. <...>

Но не тужи, ради Бога, не тужи обо мне! Знай, что я не уныл, помни, что надежда меня не покинула. <...> Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!».

К этому дню, к этому письму как нельзя лучше относятся строки Пастернака:

*И здесь кончается искусство
И дышат почва и судьба...*

Так вот, этот день подарил ему самую ужасную и самую счастливую минуту: смерть, встреча со смертью и – воскрешение.

Он побывал на грани бытия и небытия, одолевая страх этого заглядывания, стараясь не сморгнуть. Без этого его открытия не только непостижимы для нас, но их просто бы не было и у него самого.

Но ведь потом, в течение всей жизни – двести восемьдесят припадков «падучей». И каждый из них равен по своему, повторяет – ножом по не заросшим рубцам, по не зарубцевавшейся ране, каждый из них равен двадцать второму декабрю: встреча со смертью и воскрешение.

Это и вообразить себе трудно, невозможно. Столько раз пришлось ему заглядывать в эту пропасть между бытием и небытием.

В конце жизни он скажет («Записные книжки»): *«Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие».*

Впервые он открыл это для себя в тот день и – заново начал свое бытие. А потом еще двести восемьдесят раз. А жил-то он – *каждый день под этой угрозой...*

К чему я это? Ведь разговор наш об игре в рулетку... А вот мне и кажется, что осознанно, а еще более неосознанно, – в игре он снова испытывал нечто подобное... Неважно, что о деньгах речь. Важно, что в эти моменты он чувствовал себя и погибшим и спасшимся, и грешным, и святым – рискует всем – и не только своим, но зато и спасет всех...

Недаром же именно в связи с игрой у него вырвалось: «А хуже всего то, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил. Бес тот час же сыграл со мной шутку». Из предельно конкретной ситуации – предельно общий вывод: «везде-то», «во всем», «всю жизнь»...

Может быть, действительно, тут не обойдешься без фрейдовско-юнговских категорий: «вытеснение», «сублимация»... Без них не обойдешься, но с одними ими тоже далеко не все поймешь... Вообще, кстати, скорее сам Достоевский помогает понять Фрейда, чем Фрейд Достоевского.

А потом Аркадий попросил у меня интервью для своего литературного еженедельника на тему: «шестидесятники» и Достоевский.

Тема, понятно, мне по душе. Не только потому, что я больше чем полжизни занимаюсь Достоевским, но, прежде всего, потому, что она – конкретна.

При всей ее конкретности она является частью более общей темы: «Шестидесятники» и культура» или как, почему, как, благодаря чему, ради чего «шестидесятники» спускались с «зияющих высот коммунизма», а точнее – *выбирались, выкарабкивались из коммунистической пропасти.*

Благодаря культуре, русской и мировой, и ради культуры. Все это – лишь другая сторона вопроса: почему победил коммунизм в России? Здесь много разных ответов, разных аспектов этих ответов, но есть и такой: *благодаря небывалой спекуляции на отсталости, то есть на общем бескультурье масс, благодаря невиданно беспощадному уничтожению культуры, благодаря замене ее все упрощающим суррогатом культуры.*

Естественно, что разрыв с коммунизмом – не просто как с явлением идеологическим, социально-политическим, но и как с явлением мировоззренческим – и должен был неминуемо начаться с осознания несовместности, такой же несовместности коммунизма и культуры, какая – несовместность – существует между злодейством и гением.

Если путь победы коммунизма – это крестовый поход против культуры, то путь разрыва с ним – путь возрождения культуры.



Ну, а тут, при всех общих закономерностях этого пути, у каждого «шестидесятника» была своя дорожка, своя тропка... И если говорить о моей дорожке, о моей тропке, то это прежде всего, больше всего *личное влияние* таких двух людей, как Достоевский и Солженицын.

С первого прочтения «Бесов» в начале пятидесятых годов и с первого прочтения «Одного дня Ивана Денисовича» в ноябре шестидесят второго я почему-то вдруг сразу понял: это – мое, это – компас.

Разумеется, ни в пятьдесят шестом, ни в шестьдесят втором я еще не знал и не догадывался о том, что и Достоевский, и Солженицын сами некоторое время находились под обаянием социалистических (коммунистических) идей. И каждый проделал долгий мучительный путь разрыва с этим соблазном.

А теперь, спустя сорок-тридцать лет с тех пор, я уверен: человек, прочитавший, переживший как свое всего Достоевского и всего Солженицына, получает прививку против коммунизма уже навсегда.

Очень давно стала мучить мысль: а что бы сказали о коммунизме, об Октябрьской революции, о Ленине, о Сталине и прочем такие люди, как Пушкин, Достоевский, Гоголь, Толстой, Шедрин, Чехов? Ведь ясно же: не только не одобрили бы, но и отреклись бы, прокляли. А будь они живы в наши времена, что бы с ними сделали? Разве не то же самое, что с тысячами писателей, философов, мыслителей, художников, священников, просто верующих.

Особенно больно было себе представить Пушкина на месте Мандельштама там в лагере на Второй речке, скелетообразного, забитого, завшивленного, избиваемого, обезумевшего.

«Не дай мне Бог сойти с ума» (А. С. Пушкин).

«Чёрная ночь. / Душный барак. / Жирные виш...» (О. Э. Мандельштам).

По-видимому, последний стих сошедшего с ума поэта...

В сущности этими двумя эпиграфами я уже сказал все, что хотел сказать. «Умному – намек, глупому – дубина...» не поможет.

Или: Владимир Соловьев – на Соловках (как Флоренский)...

Или: Достоевский не в царском, а в коммунистическом «Мертвом доме»...

Только представишь себе это и уже никаких, ни малейших сомнений насчет несовместности коммунизма и культуры – не остается.

От «Бесов» до «Архипелага ГУЛАг»

Достоевский: «Верны ли мои убеждения...» и «Социализм, коммунизм и атеизм – самые легкие три науки. Вбив себе их в голову, мальчишка считает уже себя мудрецом. Кроме того, поддаются эти науки легче всякой на популярное изложение».

«Вбив себе их в голову...» А нам – вбивали все это в голову, всверливали... Нас заставляли негодовать за судьбу пушкинского станционного смотрителя, гоголевского Башмачкина, достоевских Макара Девушкина и мармеладовых – вот, дескать, судьба маленького человека в старой России и – заставили, научили не видеть несравнимые беды десятков миллионов в новой России, не слышать их стоны и крики.

Путь гениальных одиночек (Достоевский, Солженицын, Замятин, Бунин, Пришвин, Бердяев, Булгаков, Франк...) подготовил перелом в сознании уже десятков и сотен «шестидесятников», а те, своей незаметной работой – в какой-то и немалой, наверное, (выяснится) степени подготавливали уже действительно сравнительно массовый, уже десятки, сотни тысяч людей – разрыв с коммунизмом в конце восьмидесятых – начале девяностых.

Но все-таки по-настоящему не внешнего – идеологического социально-политического, а внутреннего духовно-мировоззренческого разрыва для масс, для миллионов еще не произошло.

Александр Исаевич Солженицын: *«Оглядываясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все же прорывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна».*

Этот писатель точно обозначил этапы духовного разрыва с коммунизмом: жить не по лжи, не соучаствовать; раскаяние, искупление.

Мы, самая предупрежденная страна о бедах, которые несет коммунизм, более всего от него пострадали.

«Лишь начинаю...» замысел как художественное произведение

Достоевский в сорок три года: *«...мне кажется, что я только что собираюсь жить».*

В пятьдесят один: *«...я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь, или только лишь ее начинаю».*

В пятьдесят четыре: *«...не только не хочу умирать, но ощущая себя, напротив, так, как будто бы лишь начинаю жить».*



В пятьдесят девять – за тридцать пять дней до смерти: *«А теперь еще пока только леплюсь. Все еще только начинается».*

Нерастраченность, неисчерпаемость, приращение сил духовных – вот о чем это все говорит. О том, сколько еще хочет и, главное, может он – отдать людям, создать для них.

Природа словно ставит на гении свой эксперимент, раскрывая возможности человеческого духа, демонстрируя его силы, которые, может быть, не сравнимы даже и с внутриядерной энергией.

И вот Гойя в свои пятьдесят лет начинает «Капричос» – а умри он раньше, и мы почти не знали бы его, в семьдесят четыре – «черную» роспись «Дома глухого», в семьдесят девять – «Новые Капричос» и накануне смерти, потерявший зрение, вооружившись дополнительными очками, пишет автопортрет – старик на костылях: *«Я все еще учусь»...*

И вот Гёте в свои пятьдесят лет приступает к «Фаусту», то есть к первой части, а в восемьдесят два заканчивает часть вторую.

И вот восьмидесятилетний Толстой говорит, что ему надо десять жизней как минимум, чтобы воплотить задуманное...

А неосуществленные планы Моцарта, Пушкина, Скрябина?..

А рисунки Микеланджело и Леонардо? – это ведь тоже – замыслы.

Черновики Достоевского, Пушкина... – то же самое, что рисунки Микеланджело и Леонардо, это – *их рисунки*, рисунки *словом*. Особая задача, которую не только никто не решал, но даже, кажется, и никто не ставил – исследовать сам *ритм*, *тон*, *музыку* этих черновиков, замыслов, рисунков.

Когда Эрнста Неизвестного в семьдесят шестом году выдворяли из нашей страны, он подарил мне альбомы графики «Юрию от Эрнста – *как тень замысла*». Это были наброски скульптурных памятников, которыми художник был готов украсить город и страну.

«*Лишь начинаю*» – это общее открытие всех поэтов и художников мира, общая надежда, общая боль. И почему это открытие-надежда-боль так пронзает наши сердца, сердца обыкновенных смертных людей? «*Лишь начинаю*» – это всечеловеческое, роднящее всех нас. Всех, кроме тех, чья мечта: «Мы всякого гения потушим в младенчестве» (Так говорит Петр Верховенский в «Бесах»).

Наконец-то собраны воедино и сделались общедоступными в Полном собрании сочинений все планы, наброски, наметки Достоевского, все его художественные замыслы, оставшиеся невоплощенными.

Попробуйте почитать их. В эту работу так же трудно войти, как потом из нее выйти: так она заманивает, завораживает, не отпускает. А если представить все эти планы, наметки в целом, то сначала непременно получается хаос. Но какой! Хаос удивительно живой. Хаос, пульсирующий могучей тайной мыслью Демиурга, сверкающий несметным роем образов, и они то исчезают, умирают, то возвращаются и воскресают, то превращаются друг в друга, то кажутся совсем-совсем и навсегда живыми, неповторимыми, законченными и все-таки – почему-то не выпущенными в свет.

И хаос этот не столько многоцветен, сколько многозвучен. Вы услышите шепот, крик, гул бесчисленных голосов, тороящихся высказать что-то самое, самое главное.

Правда, законченные художественные произведения Достоевского – тоже своего рода хаос, но хаос – преображенный, организованный высшей волей художника. А здесь – хаос самого рождения, становления новых художественных миров.

Он сам – как великое художественное произведение, творящееся прямо на ваших глазах... И он оказывается почему-то вам очень знакомым, будто вы уже побывали там когда-то..

Рассказ о замысле – это тоже художественное произведение, и именно Достоевский и открывает его как жанр. Как гениальны сны, даже у не гениев, так ведь и замыслы простых смертных, внутри-то, в мечте-то, в душе-то тоже гениальны. Замысел как сон. Сон как замысел. Гениальная сумбурность, гениальный беспорядок – проясняют (намекают) неведомый и манящий смысл.

Достоевский – различие «поэта» и «художника», «алмаза» и «бриллианта»... Все влюбленные – талантливы и гениальны (нашли алмаз), но «бриллиант» – это адская работа, ее результат.

«Есть странные сближения...»

Общепризнанно, и в этом большая истина, или, точнее говоря, есть большая часть истины: открытия науки (Ньютон, Коперник, Эйнштейн, Дарвин...) могут быть и даже должны быть – «опубликованы» рано или поздно, там или здесь, тем или иным человеком, а истины искусства – абсолютно личностны: понимаете, не будь Бетховена, – «Лунной сонаты» никогда бы не было. Так



и с Моцартом, и с любым художником гениальным. Это только однопредметно, однозначно, односделано: не будь его, этого художника, никогда этого бы и не появилось....

Это очень верно. Но все-таки даже здесь есть одно, даже два резона.

Есть – факт! – фантастические совпадения, когда разные художники, не зная друг друга, говорят почти одно и то же. Существует испанская пословица: двум людям не может присниться один и тот же сон. Оказывается: может!

Судите сами.

Все знают из Ахматовой:

*Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как жёлтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда....*

*Сердитый окрик, дёгтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.*

А вот Эмилия Дикенсен:

*Он был Поэт –
Гигантский смысл
Умел он отжимать
Из будничных понятий –
Редчайший аромат
Из самых ординарных трав,
Замусоривших двор –
Но до чего же слепы
Мы были – до сих пор!*

А вот еще два поэта.

Зинаида Гиппиус:

*Блевотина войны – Октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твоё похмелье,
О бедная, о грешная страна!*

*Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянным сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил – засёк кнутом?*

*Хохочут дьяволы, хохочут псы над рыбьей свалкой,
Хохочут пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!*

29 октября 1917,

С-Петербург

Максимилиан Волошин:

*С Россией кончено... На последях
Её мы прогладели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, развэрзни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи.
Германцев с запада, монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного суда!*

23 ноября 1917.

Коктебель

Там разница между «вариантами» – примерно – шестьдесят лет, здесь – меньше месяца.

Разные времена. Разные места. Разные люди – и вдруг: одно и то же. Почти.

Отдаю себе отчет в том, что примеры такие – исключительные исключения. Важнее другое, без чего абсолютно непонятно и первое: все гении художественные, все таланты – да на самом-то деле все люди, каждый человек – сталкиваются с этим триединством:

Жизнь. Смерть. Тайна...

Все мы, независимо от способностей, национальностей, возраста только вокруг этих трех сосен и блуждаем. Не хотим на них смотреть, хотим. Смотрим, не смотрим, все равно вокруг них ходим. Вся мировая литература, вся мировая философия, вся мирская жизнь обыкновенного человека...

Но отсюда же и следует не только неизбежность, но и абсолютная необходимость «одинаковых дум», «одинаковых чувств», стало быть, – и одинаковых, в конце концов, выражений этих мыслей и чувств, иногда – до буквальности.

Ну почему гениальные творения Пушкина, Моцарта, Гойи, Микеланджело вдруг, ни с того, ни с сего заставляя нас рыдать, мучаться, вспоминать себя? Почему?



Да потому, что есть, осталась в нас еще какая-то струна, одна, пусть одна струна, которая вдруг напрягается. Опушенная, вялая, откликается на призыв этой, другой струны гения и вдруг начинает звучать с ней в унисон. Стало быть?

Стало быть не все потеряно, стало быть эта струна – есть, стало быть ей нужно только напомнить ее самое, – звучание ее, такое же извне, чтобы она – откликнулась, зазвучала, себя вспомнила...

Если тебя потрясает произведение гения, что это значит?

Это значит только одно: ты – ему, гению, конгениален. Значит он в тебе возродил твою гениальность, о который ты забыл, о которой, может быть, ты и не знал и которая вдруг откликнулась на забытое и, может быть, даже тебе неизвестное.

Так вот, Гюйя, Пушкин, Достоевский... да каждый из нас, из вас – жили этим, переживали это... но одни пережили и выразили все это до конца, а другие – забыли или даже не знали. И вдруг вспомнили и узнали.

Художник – это вовсе не профессия и даже не только призвание.

Великий художник – это человек, напоминающий нам о том, кто мы есть на самом деле. Художник – это

сущность цельного человека. Цельного. Нерасколотого.

Отсюда – религиозная сущность искусства – ЕДИНЕНИЕ.

А на чем можно единить людей? На художественности, то есть на цельности, то есть на нерасколотости, на единении единицы со всем родом человеческим.

Гений, гениальный художник – просто напоминание нам о нашей сущности.

Поэтому мы на это, каждый по – своему, и откликаемся.

2 февраля 1996, ночь.

Богатых много, щедрых – мало. Но когда богатые хотят быть щедрыми, подавляющее большинство из них оказываются – бедными! То есть: не умеющими отдавать. Они отдают, а у них не берут и не хотят брать. А если и берут вначале, сгоряча – взаимный восторг, взаимное самоумиление, – то – ненадолго.

Получается так, как с Воландовыми подарками: червонцы оказываются наклейками от нарзана, а дамы, одевшиеся в модные платья, – голыми. И начинается – антивосторг как плата за восторг.

Удары шпагой

Воспоминания о Георгии Владимове *

Лев АННИНСКИЙ

– Однако же вы не такие люди, которые позволяют безнаказанно наносить себе удары шпагой, – возразил кардинал.

А.Дюма (отец). Три мушкетера.

Все, что я хотел сказать о его книгах, я успел сказать ему самому. И сказать, и написать, и напечатать. Повторяться незачем: литературной стороны я касаться не буду. Сосредоточусь на стороне человеческой: тут тоже хватает и унисонов, и контрапунктов.

Тот, кто добивается...

Впервые я увидел его в коридоре «Литературной газеты» в конце пятидесятых годов. Кажется, в пятьдесят девятом. Тогда запахло очередной оттепелью, и газета отреагировала: с поста главного редактора ушел мрачно-насмешливый Всеволод Кочетов (давно, впрочем, числившийся лишь номинально); а в дверях кабинета появился новый редактор – Сергей Сергеевич Смирнов, с широкой улыбкой встречавший сотрудников и с каждым знакомившийся за руку.

Стиль работы начал меняться. В отделе современной русской литературы – основном отделе редакции – появились новые сотрудники.

К одному из них – молодому критику Владимову – у меня были основания приглядеться. Дело в том, что я помнил появившуюся лет пять назад его статью, наделавшую шума в литературных и театральных кругах. Статья была посвящена пьесе Алексея Арбузова, называлась «К спорам о Ведерникове» и появилась в журнале «Театр».

Не таким уж я был дотошным театралом, чтобы помнить подробности или лезть проверять свои впечатления по старому комплекту «отраслевого» журнала, но слух об этой статье продолжал шелестеть вокруг имени ее автора, и общее ощущение от ее чтения – в студенческие еще времена – сохранялось в моей памяти.

ти, звенящее ощущение, словно ударили в гонг:

– Добивается тот, кто добивается!

Гимн конквистадорам, ринувшимся в бой. На приступ! На последнюю разборку: все или ничего!

Теперь я присмотрелся к ударившему в гонг.

Широкие плечи. Большие руки. Осанка военного. Волна волос. Что-то уж больно красив. Но – скулы подчеркнуты багровым шрамом или ожогом. Борозды складок в углах сильного рта – то ли след улыбки, то ли гримаса напряжения. Внимательные глаза...

Я ждал, как проявит он себя в деле. В литературном деле, то есть на газетной полосе.

Проявился – статьей о Константине Симонове, о романе «Живые и мертвые». Крепкая статья, плотный текст. И – пронзившая меня фраза:

«Спасенная Россия».

Как-то вроде бы спасать Россию не принято было в либеральной критике того времени. А Владимов был критик либерального лагеря и печатал в «Новом мире» статьи, гвоздившие простонародных графоманов и партократов. Это совсем другое поле боя.

А тут – спасенная Россия...

В общем, я немедленно отдал ему должное. И даже не удержался от соблазна осторожно выяснить его мнение о моих работах. Одну из них он наверняка читал: с кочетовских времен болталась в загоне одна моя статья – о Юрии Трифонове и Юлиане Семенове; с приходом Смирнова ее решили наконец напечатать, и она только что появилась на полосе; возможно, что вести ее поручили Владимову.

Каким-то ловким ходом в случайном разговоре я его спровоцировал. Он согнал усмешку в угол рта:

– Статьи бывают: хорошие, плохие и никуда не годные.

Я замер...

– Так эта была – никуда не годная.

Вообще-то он был совершенно прав: сожрать в один рот Трифонова и Семенова можно было, только начав на общепринятые литературные критерии. Полгода спустя, когда я переходил из газеты в журнал

* Первые главы из книги воспоминаний о писателе. – *Ред.*



«Знамя», эта моя статья попала на глаза редактору журнала Вадиму Кожевникову, и тот отказался меня брать – за эстетическую глухоту! – еле согласился.

Но, с другой стороны, и меня можно было понять: в «Литературной газете» пробиваться на полосу было очень трудно, каждая публикация повышала рейтинг, и я совершенно не был готов так запросто признать свою негодность. Да и не очень-то я мог тогда выбирать, о ком писать.

Понял одно: что никогда больше не спрошу у Владимирова мнение о моих писаниях.

Магнетизм аномалии

Кажется, газету мы покинули одновременно: я ушел в «Знамя», Владимов – в «Новый мир». С командировкой «Нового мира» он вскоре поехал на Курскую Магнитную Аномалию – за очерком. Но когда очерк его появился в журнале под названием «Большая руда», я понял, что это никакой не очерк, а взрывная проза, и что эта проза не только переворачивает сложившуюся в моем сознании литературную ситуацию, но существенно обновляет самый взгляд на окружающую реальность.

До того момента все укладывалось у меня в веселое противостояние «отцов» и «детей»: тупые ортодоксальные «старика» против молодых остроумных интеллектуалов. А тут – ни то, ни другое. Аномалия! Мужик, схлестнувшийся с мужиками.

До этого я думал, что знаю, кто прав, кто не прав. Теперь и правые, и виноватые полетели в пропасть разреза.

Проверяя себя, я спросил Владимирова, каким он писал своего героя, – положительным или отрицательным.

Владимов усмехнулся:

– Такие школьные вопросы меня не занимали.

Меня они в шестьдесят первом году еще сильно занимали – именно потому, что в тогдашней критике Пронякин владимовский был мгновенно записан... одними – в положительные, другими – в отрицательные герои. Ну, понятно, что кнутабойцы из кочетовского «Октября» судили по школьному вопроснику, но ведь и властители либеральных дум принялись грозить непокорному шоферюге, летуну и индивидуалисту: не словчишь!

Я метался между возмущением и восторгом.

Одна только умница Ирина Роднянская передала суть дела психологически точно: конфликт настолько невыносим, что гибель героя воспринимаешь как облегчение.

Облегчения я тоже не хотел, и выплеснул все, что меня мучило, в статью, с которой нечего было и со-ваться в столичные ангажированные органы печати. На мое счастье, имелись у меня в ту пору связи с некоторыми провинциальными журналами, не втянутыми в тяжбу левых-правых, и в одном из них, в свердловском «Урале», спасибо Нине Полозковой, мое самовыражение нашло выход. Позже статью о «Большой руде» я включил в мою первую книгу. Книгу Владиминову – подарил.

Естественно, не стал спрашивать, что он по этому поводу думает.

Но вскоре это почувствовал – по одной рецензии. Рецензия, появившаяся в журнале «Москва», была не просто положительной, но невероятно теплой по тону, что на фоне довольно ядовитых суждений в мой адрес было приятно (хотя яд я находил живительным). Автор рецензии была талантливая и обаятельная женщина Лариса Исарова. Между прочим, жена Владимирова.

Из трех женщин, которым довелось быть его женами, все три сыграли некоторую роль в наших отношениях, поэтому я решаюсь прикасаться и к этой стороне его жизни.

Итак, жена высказалась – он промолчал.

Он высказался – четверть века спустя, подарив мне изданную в «Посеве» повесть о Пронякине с надписью, меченой уже эмигрантским местом жительства: *«Дорогому Лёве Аннинскому дарю эту старую книжку с нестареющей любовью. 24.09.1990. Niedernhausen, Germany»*.

А в «Послесловии от автора» – следующий пассаж, который довелось мне откомментировать лишь в девяностом году, в письме, которое я приведу ниже. Пока – рассуждение Владимирова:

«...Сдается мне, «Большая руда» так и не была понята до конца в свое время, когда о ней столько говорили и писали. Простая немудрящая история...»

Ну, уж! Простая и немудрящая! Лукавит Георгий Николаевич... но тем интереснее:

«...сколько недоумений вызвала она у нашей многоопытной критики, равно и печатной, и кулуарной. Сколько ярлыков вешалось на Пронякина – побывал он «летуном», и корыстолюбцем, и штрейкбрехером, и прямым потомком хемингуэевского Гарри Моргана («Иметь и не иметь»), и «героем нашего времени», и «человеком из будущего», – но, как справедливо заметил Лев Аннинский, лучший из моих критиков, «ярлыки болтались на его тени; теней было столько, сколько точек отсчета, сам же Пронякин неуловимо ускользал от исследовате-



лей». Сам Аннинский четырежды подбирался с анализом к «Большой руде» и вот на чем утвердился окончательно: «Человек, осознавший себя личностью, либо ломается, либо ломает себе шею». Это — энергичная дилемма, но не еще ли один ярлык на тени?..»

Последняя фраза высветила рельеф ситуации. Хотя то, что количество моих выступлений о повести подсчитано, наполнило меня гордостью. И то, что я — его лучший критик. Вообще-то, критиком я был только по литпрописке, а сам про себя думал «что-то другое» (нет, никаких претензий на «писательство», а именно что-то другое, я и сейчас не могу определить, что это).

Но возвращаемся в шестидесятые годы. Отношения теплеют, становятся теснее, приобретают личный оттенок. Как-то все само собой образуется: домашние встречи (у них и у нас), записи Высоцкого (первая кассета — из владимовских рук), и — рукопись новой повести, которая попадает ко мне из его же рук, кажется, даже раньше, чем в отдел прозы «Нового мира».

Повесть называется «Руслан».

«Спасенная Россия» — отзывается что-то во мне.

Лай и молчание

Я прочел про этого пса и сказал Владимову... ну, точно не помню, но смысл такой: кроме грозного пса Руслана, честно и убийственно служащего подлому делу, в повести есть ведь и еще один пес: эдакий умный кабысдох Трезорка, и если для «западного» образа жизни отлично подходит первый, то в России жить приходится по образу и подобию второго, и, стало быть, Трезорка этот и есть главное в повести сокровище.

Не знаю, оценил ли Владимов мои филологические уловки: он меня выслушал, крикнул и перевел разговор на другое.

А я вдруг понял, почему мне так необходимы его тексты. Его жесткая определенность, кристаллическая точность оценок — зачем это мне, склонному как раз к компромиссам и всепониманию, чтобы не сказать: ко всепрощению. Да это ж компенсация! Оставаясь принципиальным атеистом, я увлеченно осваивал в ту пору Бердяева и Флоренского, то есть осознавал христианскую прелесть родной мне культуры. Воинские доблести мне отнюдь не грезились.

— Куда ты пристроил своего боевого пса? — спросил я, чтобы не возвращаться к началу разговора.

— Он пока бесхозный, — ответил Владимов. — В «Новом мире» тянут.

О «Новом мире» мне думать было незачем, и верный пес выпал из моего внимания.

Казалось, из пожелания автора тоже. Какое-то странное молчание установилось вокруг самой фигуры Владимирова. Отсутствие новых текстов казалось не просто интригующим, но едва ли не имманентно присущим его писательскому облику. Громыхнул в «Большой руде» — и замолк, словно бы вслушиваясь в эхо. Ясно: или еще раз громыхнет, или — не проронит ни слова. Все или ничего!

Как-то он мне сказал:

— Ты очень странно присутствуешь в критике: печатаешься у черта на куличках, и доходит от тебя только эхо, как от дальней грозы.

Я подумал: это ты не про меня, это ты про себя. Я-то печатаюсь у черта на куличках, потому что мне хода нет в столичные журналы, ни в либеральные, ни в ортодоксальные, а ты-то почему молчишь? Сходил в море, выловил там селедку, сам просолился насквозь — и, кроме скупого очерка в писательской многотиражке — ни звука.

Постепенно ситуация стала проясняться: кроме селедки, Владимов привез из рейса замысел романа, который и сотворял теперь в молчании.

На сей раз он не дал мне читать рукопись, и роман «Три минуты молчания» я прочел в том самом «Новом мире», с которым у Владимирова была давняя, можно сказать, литературно-генетическая связь.

Прочтя, я вознамерился о романе написать, и для надежности (я все еще «боялся» столичных журналов) придал статье эпическую основательность: добавил к морскому писателю Владимову еще двух мореходов. Один — очень известный и не менее признанный, чем Владимов, писатель Виктор Конецкий; другой — неожиданно выплывший из северных волн дебютант Николай Рыжих.

Выстроил я из них для устойчивости равнобедренный треугольник и написал статью под названием «Соль воды», каковую пустил в плавание со страниц журнала «Юность».

Поскольку в «Юности» материалы печатались тогда с портретами авторов, то помещен был возле заглавия и мой среднего качества портрет.

С ним-то и произошла незабываемая история, куда более интересная, чем сама статья, которая, что называется, булькнула и забылась.

Через некоторое время выходит у Владимирова этот самый роман за границей. Если не ошибаюсь, повенгерски. И Владимов это издание мне дарит. И выжидающе смотрит на меня смеющимися глазами.



Я раскрываю первую страницу и чуть не падаю: на авантитуле – там, где по всем законам полиграфии должен быть портрет автора, – красуется увеличенная до полной страницы моя физиономия из «Юности»!

Немая сцена.

– Они что, спятили? – говорю я.

– Связал нас черт с тобой веревочкой одной, – говорит он.

– Как это могло произойти? – говорю я.

– Очень просто, – говорит он. – Они прочли твою статью в «Юности» и решили, что раз статья о Владимире, то и портрет в ней – Владимирова.

– Но почему только о Владимирове? А Конецкий? А Рыжих? – говорю я. – Они что, в Будапеште, слепые?

– Спроси у них, – говорит он. – Если они не слепо-глухо-немые...

А смотрит – торжествуя. Честное слово – победоносно!

И я понимаю, почему. Он же выиграл у Конецкого! Надписал же мне на первой странице того же самого романа, только русского издания: «Леве Аннинскому с любовью...» – А ниже: «Однако вы не из тех людей, которые позволяют безнаказанно наносить себе удары шпагой...» – с точным указанием части и главы.

На венгерской же книге:

«Дорогой Лев, не кажется ли тебе, что сама судьба свела тебя с «Тремя минутами» и догнала на мадьярской земле, и уж от любви не уйти никуда, не уйти никуда. Или, как здесь поется: а у любви берегов не бывает, у любви не бывает разлук. В доказательство чего позволю подарить тебе эту уникальную библиографическую редкость. Твой Г.Владимов. (А может, Аннинский?). Москва, 11 июня 76 г.»

Я на своих книгах, подаренных ему, на такие ответственные сентенции не решался. Да и книг-то у меня вышло... одна-две, и обчелся. После «Ядра ореха» – с трудом вымученная издательством «Художественная литература» брошюрка о Николае Островском – для школьных библиотек. Я, впрочем, постарался прочесть роман о Корчагине как житие, то есть как текст религиозный, для чего вдосталь повиртуозничал на эзоповом языке. Бдительных коллег это не обмануло, они меня сразу раскусили: обвинили в протаскивании чуждых идей и в клевете на Павку Корчагина. У меня не было никакой уверенности, что Владимир захочет разбираться в моей тайнописи, но все-таки книгу я ему подарил.

Каково же было мое изумление (и гордость!), когда через некоторое время в «Литературной газете» появилась огромная беседа Владимирова с Феликсом Кузнецовым, и речь там зашла о романе «Как закалялась

сталь»: Владимир высказался совершенно в том же, что и я, духе!

Он на меня, слава Богу, не сослался (вернее, сослался, но по другому поводу), но явно прочел и вник.

Я подумал: все образуется. Плывет по волнам советской печати его рыбацкий «Скакун», и появляются такие его интервью – все к лучшему...

И тут из-за кордона раздался лай...

Цена верности

Этот лай я узнал сразу, – хотя пес был обложен вдвое большим количеством страниц, и к своему исконному имени: Руслан – получил добавок в виде эпитета: Верный.

Куда важнее было другое обстоятельство: та конура, из которой выскочило на меня это гулаговское чудовище, то есть та конура, в которой оно нашло себе место. Это был отнюдь не «Новый мир» (к этому времени уже изрядно растерявший репутацию журнала оппозиционного), а заграничный, антисоветский, заклеименный проклятьем, вредительский, вражеский, страшный журнал «Грани».

На титульной странице «Верного Руслана» стояло:

«Леве Аннинскому с преданностью всяческой и собаческой. Г.Владимов».

Что мне делать? – думал я, приступая к чтению. Ведь теперь его телефон поставлен на прослушку. Что за удовольствие разговаривать, ежесекундно помня, что у тебя не один, а минимум два слушателя!

В общем, я решил написать письмо.

Это первое письмо в нашей переписке, и я решаюсь опубликовать его не с тем, чтобы было ясно мое мнение о «Верном Руслане», – это мнение, додуманное и выверенное, обнародовано неоднократно, – но я хочу передать «окрас момента», – именно то, что Владимир тогда от меня услышал (то есть прочел в письме), и как этим определились наши дальнейшие отношения.

16 мая 1975 г.

Дорогой Жора, разговоры разговорами, их еще полно будет, и все ж под свежим впечатлением от прочитанного хочу написать тебе – и потому, что не все скажешь в лицо, особенно автору (я имею ввиду и хорошее тоже), и время пройдет, боюсь, что-то изгладится, а впечатление – огромное, и я весь поглощен мыслями, вызванными во мне чтением.

Проза сильная, дышащая крайними вопросами, и вместе с тем – искусная и точная по ткани, парочка



несообразностей (ну, там – что «на троих» стали после 1961 года выпивать, а не в 1956, или – что не успели бы каменный поселок построить за одну зиму-весну, впрочем, там есть и оговорка: неизвестно, сколько прошло весен, но ведь по художественному счету – одна же!) – ну, это все мелочи. Главное, что потрясло и поразило меня – в том числе и сравнительно с чтением 1963 года – это ощущение неотменимой трагичности живого существа, обреченного своей судьбе.

Тогда этого не было. Тогда меня немножко давила чисто западная безысходность метафоры, рациональный тупик, в который вела неприязнь к герою; выход ты искал в трезорей терпимости, и этот выход – я говорил тебе – воспринимался в том контексте, как переход в иную систему координат, тебе вообще говоря, не свойственную. Переход из традиции «западной» в традицию «российскую». Эти два выхода существовали порознь и рядом. И ты был в межмнении.

Теперь чистая метафора, в которой зверь тонет среди чисто публицистических чувств и поневоле становится виноватым, – выросла в образ живого существа, почувствованный с поразившей меня чуткостью. Это более не полуаллегорический вариант Ефрейтора, где Служба доведена до уровня «чистого опыта», но действительно живое существо, имеющее не заемную (занятую у нас), а свою судьбу. Отсюда – ощущение, что Руслан и виноват, и не виноват в произошедшем. Видишь, одно дело – щедринский Коняга, в котором угадывается перекрашенный человек из народа, и другое дело – Холстомер Толстого, или звери Сетона-Томпсона, имеющие перед Богом не меньше прав на интерес, чем мы. Трагическая расплата за судьбу, которой все живое наделено без его ведома, раскрыта тобой теперь, на этом звере с замечательной силой сочувствия и понимания, при котором невозможно даже и сказать, осуждаешь ли ты его или оправдываешь, мстишь ему или жалеешь его – это именно тот вариант, когда природа мстит с неизбежностью, но от этого не менее больно, или, как Достоевский говорил об осужденном: он должен понести наказание, но не смейте этому радоваться!

Мне глубоко близко то понимание живого, к которому ты пришел. Мне больно, что эта вещь, достойная быть классикой – я верю, что она будет ею признана, я хочу этого – больно, что по преходящим тематическим причинам не может теперь появиться в наших журналах. Но она никуда не денется, и ляжет камнем в фундамент остающейся после нас русской культуры, и прядью, нитью – в ткань душевную наших внуков.

Обнимаю тебя! Л. А.

Оставим в стороне саму повесть, сравнительные достоинства двух ее редакций, а также человеческие измерения собачьего сердца, составляющие ее художественный шарм. Вовсе не об этом письмо! Не в этом его смысл, его подспудная мелодия, его суть. А суть в том, что с этого момента писателя Георгия Владимова отрежут от советской литературы. И от страны. И от всех нас. А я этого не хочу! И, не решаясь ничего сказать прямо, даю отвлеченные советы: потерпи, мол, все образуется, тебя еще здесь опубликуют, только не уходи!

Однако наш герой не из тех, кто позволяет наносить себе удары шпагой.

Из последовавших за этим встреч, не очень частых, но неизменно дружелюбных – один важный разговор, отчасти мною спровоцированный, но естественно вытекавший из сюжета «Трех минут молчания» (чуть не сказал: вытекавший из пробоин сейнера, скакавшего по волнам этого романа).

– Есть лодочники и есть корабельщики, – сказал Владимов. – Это два типа поведения в ситуации, когда корабль в опасности. Лодочники кидаются в шлюпки и отваливают, спасая себя, а корабельщики остаются на борту и борются за спасение судна.

– Мы с тобой корабельщики? – я перешел на личности.

– Мы – корабельщики, – согласился Владимов, убрав усмешку в угол рта.

Лет семь еще предстояло ему бороться за спасение судна, оставаясь на борту. Команда, в составе которой он это делал, называлась «Эмнисти Интернэшнл» и финансировалась какими-то зарубежными службами. Разрыв надвигался.

По рукам ходило письмо, в котором Владимов объявлял себя сторонником Солженицына в деле борьбы с режимом. «Ну, теперь ты уже почти в лодке, – подумал я. – Будет ли у меня случай спросить тебя об этом?»

Последовавший затем его звонок помню дословно.

– Лева, привет! Я хочу сказать тебе, что выхожу из Союза писателей.

Я сорвался с тона:

– Жора, зачем?! Ты же не выходишь из... профсоюза? (Господи, а в каком профсоюзе мы все числимся?).

– Из профсоюза? – он говорил очень спокойно. – Как можно выйти из того, чего практически нет?

– Но Союз писателей тоже... в известном смысле профсоюз. Какой смысл из него выходить? Что меняется? (Что за чушь я несу!).

– Реально говоря, это никакой не профсоюз. И меняется все. Поэтому я выхожу.



– Не ходи дальше, Жора, – жалко сострил я. (И это все, что я могу сказать ему на прощанье?).

– Ну, это уж как получится.

– Держись!

– Держусь.

Больше звонков не было. Ни его, ни моих. Только слухи – сквозь пелену молчания. Обыск... изъятие архива... скандал, устроенный его новой женой кагебешникам... диссидентская верность.

Инсульт как фактор общения

Не могу сказать, от кого я услышал, будто у Владимира инсульт, но это вывело меня из ступора. Черт бы их всех побрал: агентов, комбатантов, протестантов... Он дома или в больнице? В какой? Это нетрудно выяснить. Номер палаты? Часы посещения... В конце концов я иду навещать больного, и это никого не касается: ни международной амнистии, ни отечественной жандармерии. Я навещаю больно-го.

Больной несколько удивился, увидя меня в дверях палаты... но не более, чем на мгновение. Я засек знакомый внимательный взгляд и улыбку. Владимов не походил на страдальца.

Мы разговаривали – как полагается в больничной палате. Кстати, палата была маленькая, двухместная, и сосед вышел, так что мы остались без соглядатаев. Ничего интересного соглядатаям в разговоре не было. Как самочувствие? Какое лечение? Когда выписка?

Подтекст моих расспросов я отлично сознавал: тебя добросовестно лечит та система, которой ты объявил войну? Или мстит тебе?

Нет, не мстит. Лечит добросовестно.

Я спросил о здоровье жены. (Вторую его жену я видел пару раз в Доме литераторов: миниатюрная красавица с точеной фигуркой, с огнем, неожиданно вспыхивающим в желтых глазах... или они казались мне желтыми? Чудилось что-то тигриное в ее изяществе. Наталья Кузнецова. Ввожу ее в рассказ, потому что в последовавших событиях нашего сюжета она сыграет заметную роль).

Мы простились, а через некоторое время Наталья позвонила мне и спросила, приму ли я приглашение на день рождения Владимирова, имеющий состояться в ближайшее февральское воскресенье.

Я сказал, что приму.

Подробности празднования я, пожалуй, пропущу. Владимовского в нем было мало, – хотя пятидесяти-

летний юбиляр сидел во главе стола, занимавшего почти всю комнату в крошечной квартирке на «Пионерской», и отпускал шуточные замечания, которые гости почтительно выслушивали.

Гости – видные по тому времени отказники, ветераны диссидентского движения, сидельцы и страдальцы. Некоторых я знал еще до их диссидентства. И они меня знали, и, как я почувствовал, несколько недоумевали, с чего я затесался в их круг. Мне казалось, что каждая моя реплика берется на просвет и взвешивается. Что-то неизбежное я говорил, но в сущности, это были для меня три часа молчания.

Больше меня не звали.

Еще три года молчания – и неожиданный звонок. Владимов хочет попрощаться.

Что ж, к этому шло.

Когда увидимся?

В дальней перспективе – Бог знает, а в ближайшей, если можно, нынче же вечером. Чтобы оставить на сохранение бумаги.

Он приехал с большой папкой. Попили чаю. Я проводил его до метро. Обнялись.

Шел восемьдесят третий год. Палестинцы очередной раз дрались с израильтянами. Я подумал: хорошо, что авиатрасса в Германию лежит севернее тех драк.

Полнится душа и пресекается речь...

Нет худа без добра: он – в германском Нидерхузене, я – в Москве. Результат – около двух десятков его писем за последовавшие годы.

С радостью передаю ему слово, ограничиваясь отныне лишь комментарием, чтобы высветить ту или иную ситуацию или объяснить некоторые частности.

Первые пять лет – никакого общения. Полное молчание. Ноль контактов. «Застой».

У него – разрыв с «Гранями», работа на радио «Свобода».

У нас – постепенное оттаивание. Очередная Оттепель, переходящая во внеочередную Перестройку. Публикация текстов, до того запретных. В одном из толстых журналов появляется «Верный Руслан».

«Литературное обозрение» заказывает мне рецензию; сотрудник, ее заказавший, извещает об этом Владимирова; я прошу прислать мне тексты статей о повести в зарубежной прессе.

И получаю письмо, в котором должен объяснить только одну фразу: поразившую меня когда-то реплику Надежды Яковлевны Мандельштам о Сталине:



«Дело не в нем, дело в нас», – я это процитировал в «Знамени» незадолго до того, и Владимов прочел.

8.3.1989

Л. Аннинскому.

Дорогой Лёва, Канчуков из «Лит. обоза» сказал мне, что ты согласился им написать о «Руслане». Полнит-ся душа и пресекается речь...

Пересылаю просимое, а сверх того кусок из статьи Чернявского (давно покойного) – он и послабее, и по-жизне Терца, но дает возможность выбора: собака или «честный чекист». А впрочем, может быть, и не в этом суть, ежели «дело не в нем, дело в нас».

Я надеюсь, у тебя все благополучно, и пользуюсь оказией (вместе с Наташей) передать твоему семейству самые лучшие пожелания и сердечные приветы. Бог позволит – может быть, увидимся в мае. «Ленфильм» хочет экранизировать «Три минуты молчания» и приглашает в Питер на две недели. Но как они говорят, «возможны всякие подводные камни».

«Лесковское ожерелье» я получил, был в восторге и многое понял из того, что творится на нынешнем ТВД (театр военных действий). За всем происходящим слежу внимательно, радуясь и печальюсь одновременно.

Обнимаю. Твой Г.Владимов.

В мае мы как следует не увиделись. В Питере Владимов побывал, а Москву проскочил проездом – мы с женой едва успели передать сувениры.

«Лесковское ожерелье» – моя книга, которую я послал ему с какой-то оказией.

Следующее его письмо – отклик на мою рецензию в «Литературном обозрении». Письмо настолько интересное, что я, с позволения Владимирова, в том же «Литобозрении» его вскорости опубликовал. Привожу письмо здесь: этот документ важен для будущих биографов Владимирова и исследователей «Верного Руслана».

Несколько частных комментариев. Статья А.Синявского (Абрама Терца) о «Верном Руслане» была опубликована еще в семидесятые годы, после публикации повести за рубежом.

Полуболотов – герой повести Миханла Кураева «Ночной дозор». Митишатъев – герой романа Андрея Битова «Пушкинский дом». Чонкин – герой романа Владимира Войновича «Приключения солдата Чонкина». Иван Африканович – герой повести Василия Белова «Привычное дело».

Олег Михайлов – писатель и критик, с которым мы сделали диалог для «Литературной газеты» (Олег–

мой университетский однокашник, а в далеком прошлом – суворовец, как и Владимов).

Остальное должно быть понятно без комментариев.

Городу и миру

30 октября 1989.

Дорогой Лева,

спасибо за журнал – и, конечно, за статью.

Понимаю, сколь было сложно после Абрама Терца, хотелось же и подальше него шагнуть. Но ты, собственно, и был дальше, – еще когда отписывал мне 16-го мая 75-го. Ему, для подкрепления публицистического нафоса, все-таки понадобился «честный чекист», «строитель коммунизма», положительный советский герой в «итоговой вариации», четверолапый Павка Корчагин, у тебя же было – без аллегорий – «ощущение неотменимой трагичности живого существа, обреченного своей судьбе». Из чего, между прочим, я заключаю, что ты, в отличие от некоторых, не на одни эпитафии обращаешь внимание, но и на подзаголовки. Ведь писано было городу и миру: «история собаки». Не видю! Латынина даже посетовала, что недостаточно жесткий с героя спрос, не как с Полуболотова, – а того не заметила, что Полуболотов-то жив-здоров, а псу в первой же сцене вынесен смертный приговор, и все далее происходящее – только отсрочка исполнения. Повесть и писалась с тем ощущением, которое ты поймал и обозначил, – что Руслан свою смерть таскает с собою неразлучно, как если б ему под шкуру вишили ампулу с ядом, с антабусом, неминуемо должным когда-нибудь, при каком-то случае, его убить. Химический же состав токсина – хоть ты почему-то упорно с этим не соглашаешься – именно то, чему мы его научили и в чем он оказался первым учеником.

Дорого автору и другое твоё восприятие, что я не держу читателя лагерными ужасами, но вся суть – «в постоянном вывороте жизненной ткани с «добра» на «зло» и обратно», и весь ужас – «что из элементов добра магическим образом составляется зло», что «выстроился тот тоталитарный лагерь... еще и на честности и правде! Еще и на положительном Руслане...» Кажется, еще чуток, и мы поймем удивительный – и печальный – парадокс русской литературы: все норовят авторы представить нам героя «положительно прекрасного», а словочная действительность не дает ни в какую, и поэтому Гоголь свое дитя в печке спалил, Достоевский – никого лучше эпилептика не нашел, а твой покорный слуга взял и собаку восславил, которую,



к тому же, «следовало отстрелить». Прошу не понять так, что я себя каким-то боком встраиваю в ряд с великими, это Абрам Терц делает, а я – просто для наглядности, для примера.

«Верный Руслан», возможно, и не великая книга, но – хорошая. Может быть, даже очень хорошая. (Почему-то не принято у нас говорить «хороший писатель», а ведь какой прелестный и точный комплимент!). И читать ее, судя по твоей статье, будут еще долго. Если столько мыслей и темперамента она возжигает у критика, еще не вечер для нее. И не абсолютно исключено, что и Л. Аннинский к ней еще вернется, как некогда к «Большой руде».

Есть, однако, вещи, с которыми трудно мне согласиться. У тебя получился замечательный, былинной красоты зачин, будто сперва слух пошел, что надвигается из восточной глубинки грандиозный и актуальнейший сюжет, и выходили на него разные добры молодцы – покуда не взялся Владимов. Было все немножко не так, скорее – наоборот. Сперва Владимов написал, и «новомирские» машинистки это распечатали, отрезав верх страницы с именем автора, и оттого и пошел слух о «новом шедевре» Солженицына. (Кинорежиссер Марлен Хуциев, знакомясь с ним, ляпнул даже об его «лучшей вещи – про собаку», на что бывалый зэк никак не отреагировал: смолчал), а позднее рассказ этот сделался бродячей легендой, которую использовали всяк по-своему 12 авторов, в том числе Яшин. Но, кажется, он не стихи написал, а тоже рассказ, и это было объявлено журналом «Москва», и пришлось Б. Заксу туда звонить и разъяснять. Щепетильный Яшин свое тотчас забрал и, по-видимому, уничтожил. А я, таким образом, был 13-м, кто приступил – по второму заходу – к собственному сюжету. И ежели больше других преуспел, так потому, что не всем на пользу чужое. Пушкин, как нам известно, даривал Гоголю сюжеты – «Ревизора» и «Мертвых душ», но он не дурак был дарить пушкинское, дарил – гоголевское.

Что о «рыданиях, выдаваемых за кашель», не зэк рассказывает, а суворовец – может стать, ты прав, но в силу твоей язвительной привычки искать не там, где автор говорит, а где он проговаривается или оговаривается. С поезда спрыгивает все-таки зэк (И тот же Солженицын в одном частном письме признал, что написано о лагере «изнутри, а не снаружи»), но ты прошел мимо вокзальной сцены, как и многого еще, что не слишком удобно ложилось в концепцию. Вот Наталья Иванова – та не прошла, движется как-то в фарватере с автором, пока что всех параллельнее. Достоинство это или изъян критика, я уж не разбираюсь, так давно

отпал от этого жанра. Но если мне и хотелось публицистического разговора в критике, так именно такого, что в № 21-«Огонька» – о свободе, и на что мы ее трагизм, и кто нам на сей счет смеет указывать. Если б меня еще при этом не переслаивали так насильственно с моим Митишатьевым – Войновичем! Как они друг с другом соотносятся, Руслан с Чонкиным, уму непостижимо, ведь они живут в разных измерениях, каждый по своим правилам игры. Я говорю о тех правилах, которые обыкновенно объявляются автором на первых же страницах, а то и в первых абзацах: скажем, садится посреди деревни самолет, и собираются мужики вокруг, и какой-то мальчик вдруг палкой лупит по плоскости, то бишь крылу. Ни в одной российской деревне никакой мальчик ни при каких обстоятельствах не ударит палкой по самолету (да в те годы, начало 40-х!) – стало быть, это не простая деревня, а какая-то необыкновенная, деревня Войновича, где все возможно, «что и не снилось нашим мудрецам». Но если мы эти правила игры приняли, эту палку проглотили, то проглотим и Чонкина, которого в природе не было. Не было никакого «русского Швейка» – так его аттестует западная реклама – нечто из области чувашского Фадеева и ханты-мансийского Ильфа-Петрова, сомнительное и несуразное, ибо что оно такое – Швейк? Солдат маленькой страны, втянутой в большую чужую войну. Но наша Отечественная ни для кого чужой не была, даже для дезертиров, уклонявшихся от нее все-таки с чувством греха и вины. Да, впрочем, русский характер всякую войну примет, как свою, кто бы ее и ради чего ни затеял, потому как –надоть! Надоть его (немца, чехословака, афганца и др.) мордой об землю, больно много воображать начал!

Кстати, дорогой Лева, насчет «поворотного 1966 года» – оно, конечно; и «Привычное дело» вещь замечательная, волшебная, но с той поправкой, что и Ивана-то Африкановича этого прекрасного – тоже не было! Существовал он – как воплощение принципа, что если даже и не было, так следовало придумать. Да если б был он – не было бы трагедии Василия Ивановича Белова, не писал бы он «Все впереди», а снова и снова прибежал бы к своей бесконечной Тимонихе. Но вся эта «деревенщина» – исключая, может быть, Матрену, шукшинских «чудилов» и можаевского Живого, – существовала лишь в головах изобретателей, в чертежах и эскизах, натурные же образцы – не работали, и в конце концов это выявил, сам того не хотя, Распутин со своими святыми старухами. Мы с тобой знаем, что туце всего они мечтают перебраться в квартиры с газом и унитазами, но согласно Распутину они так свою «почву»



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

любят, что даже полы моют перед затоплением Матеры. Это и не самим придумано, а заимствовано частью из «Поэмы о море» Довженко, а частью из «Гибели эскадры» Корнейчука, где боцман приказывает драить палубу перед затоплением родного линкора. Я немножко плавал и немножко знаю военных морячков, они бы этого боцмана взяли за шкуру и выкинули за борт. Правда, тогда бы не было великой драматургии.

«А Руслан – был», – как утверждает (надеюсь, справедливо) в № 7-м «Нового мира» Александр Архангельский. Кто таков, не знаю. Говорят, молодой, лет тридцати. И по молодости – отважный (т.е. не битый еще) отдал мне предпочтение перед Булгаковым. Как, впрочем, и ты. Выслушал это дело Максимов и сказал: «Что ж, это правильно. Все-таки «Собачье сердце», при всем блеске, при всех достоинствах – фельетон...» Не решишь ни оспорить, ни согласиться насчет жанра, но честно признаться, вещь эта коробит меня. За что, собственно, оскорбили собаку, представили ее сердце вместилищем наших пороков, гнусностей и мерзостей? Сказывают, Михал Афанасьич котов уважал, но в собаках он явно не разбирался: они таковы, какими мы их иметь желаем.

Тут я подползаю к «подсунутому долгу» и как господа испортили зверя. Почему же это «малосущественно» и чем мешает моим объяснениям «теплая кровь», сочающаяся из «тяжелой добычи»? Это ж не так надо понимать, что было травоядное милое существо, а мы его пристрастили к пище мясной. Нет, был зверь, но – заключивший договор с Человеком. И там было – любить хозяина, защищать его, даже ценою своей жизни, но не было – «пасти двуногих овец», это вставлено задним числом, жульнически. И все же он взялся выполнять и этот пункт, вот в чем он обманулся, в чем его трагедия, а наша – вина. Можно было бы написать

эпизод, где бы на охраняемую колонну напали посторонние (с целью, скажем, освободить ее, такое тоже случалось) – и он бы своих эзков тоже защищал ценою собственной жизни, да, собственно, и делает это – в «собачьем бунте». Тогда бы, может быть, яснее стала суть чудовищной подмены.

Кстати, на гнилом Западе не менее остроумно приспособили пса служить «добру» – искать наркотики в автомобилях. Он все отлично унюхивает, даже в бензине мототопке, но потом хозяину-пограничнику приходится долго вырывать у него из клыков пакет с героином. И вдруг догадываешься с оторопью, что ведь пес этот – наркоман (точнее – «наркодог»), такими его нарочно сделали господа. И значит, во спасение наше дни его сочтены и полны мучения, адского наркотического голода. А ты говоришь – малосущественно.

Письмо у меня затягивается и растекается в стороны, «мыслю по древу», а главное все не сформулируется. Может быть, оно в том состоит, что мы никого не имеем права втягивать в свои грязные, полоумные кровавые игры. Хоть от этого воздержимся – и на том Суде немного заслужим прощения.

Хотел еще про украинцев огрызнуться, да вспомнил, что ты не едешь на машине, а то бы знал, что самые беспощадные орудовцы – с хохлацким выговором. Так что тут моя маленькая месть. А голод на Украине я сам пережил в возрасте 1,5 года, я же из Харькова.

Надеюсь, у тебя все хорошо, ты полон замыслов и не слишком измучен перестройкой. Наташа, как и я, кланяется тебе и всем твоим и желает всяческого благополучия. А кроме того – уложить на обе лопатки твоего друга-противника О. Михайлова, тоже больно много воображать начал.

Обнимаю тебя. Твой Г.Владимов*.

* Продолжение воспоминаний Л. А. о писателе Георгии Владимове читайте в следующих номерах журнала «Грани». – Ред.

О сборнике с легендарной судьбой

Виталий АМУРСКИЙ

Из книг, которые когда-то согревали, наполняли светом мою юность, до сих пор храню я «Тарусские страницы» 1961 года. Изредка, не часто, конечно, беру этот сборник с полки, перелистываю, ощущая как с желтоватых страниц его (не от времени, а изначально были они такие – отпечатанные на бумаге не самого высокого качества) исходит некий – нет, не аромат – дух. Дух эпохи оттепели. Дух той высокой культуры, к которой было тогда устремлено общество наше, состоящее не только из командиров и подчиненных, не только из винтиков и тех, кто имел гаечные ключи.

Конечно, вес и репутацию «Тарусских страниц» ставили прежде всего некоторые знаковые произведения русской литературы первого послесталинского десятилетия – «Будь здоров, школяр» Окуджавы, «Трое из одного города» (позднее повесть вышла под названием «До свиданья, мальчики») Балтера, «Мы обживаем землю» Максимова, новая (после второго сборника «Литературная Москва» 1956 года), словно освеженная ливнем сирень, подборка стихов Цветаевой; вышедшие из мрака, в который их загнала власть, – Коржавин, Арк. Штейнберг... – однако главная значимость книги заключалась, прежде всего, в том, что она свидетельствовала: русская творческая мысль, хотя и хрупка, как ветка после морозов, – все-таки жива, способна дать побеги.

Впрочем, зная, какой тяжелой оказалась судьба тех «Тарусских страниц», как не просто сложились судьбы разных людей, отдавших свои силы и сердце этому изданию, нельзя забывать: никогда в культуре, в искусстве, в литературе ничего не бывает достигнуто окончательно.

В данном случае я имею ввиду, конечно, не творческие процессы, которые бесконечны как жизнь; я – об условиях, в которых мастер мог бы надежно чувствовать себя востребованным и в безопасности от произвола власть имущих.

Обстоятельства, в которых родился-таки Второй выпуск сборника в 2003 году (об этом там рассказано достаточно ясно и убедительно) – свидетельство моим словам. Что до мест появления обоих на свет – Калуга, Москва, – то, по большому счету это, конечно, детали, ибо «Тарусские страницы» прежде всего – Россия. Ушедшая, остающаяся в своих географических пределах и за ними.

Отдавая себе прекрасно отчет в том, что каждое сравнение хромает, я могу сказать о «Тарусских страницах», что понимаю это издание как проект, сверхзадача которого была и осталась – сохранить некое зеленое, живое пространство национальной (не сверхдержавной!) мысли, слова, образа там, где его если не уничтожали прямо и грубо, то и не старались поддержать.

Надо ли мне, русскому литератору-изгнаннику, более трех десятилетий живущему во Франции, никак не связанному с нынешним российским режимом, испытывающему к нему точно такие же чувства, как он к нашей культуре, к нашим чаяниям, особо говорить о том, со сколь щемящим душу чувством удовлетворения я отнесся к возможности опубликовать свои стихи в новом сборнике со столь легендарной судьбой.

Париж.
Франция

«В краю её Величества...»

НЕРАССКАЗАННАЯ СКАЗКА

Озёрами да речками
Искал русалку загодя...
Ах, сколько их не встреченных
Осталось в тёмных заводах!

У щучьих принцев женами,
В краю её Величества,
Качнув кувшинки жёлтые,
Исчезли – не докличешься.



БОРИСОВ-МУСАТОВ

Сплетенья рук и гибких веток арки,
 Очей очарованье, свежесть уст...
 О, эти приусадебные парки,
 Озёр и глаз неведомая грусть
 В Татьянах, Ольгах, Машах и Наташах,
 Чьи тени проплывают неспеша
 На акварелях ваших и гуашах,
 Лишь об одном шепча: – Жива душа!
 Жива душа художника, и мода
 Ей не нужна – не ждёт похвал творец.
 Так красоты не ведаёт природа,
 Сама собой являя образец.

ХОДАСЕВИЧ

Тоска ночная. Ходики, как встарь,
 У вечности отщипывают крохи.
 В дожде парижском блоковский фонарь.
 Не города смененные – эпохи.

Больничный бред: буржуйка, сырость дров,
 Сорренто, море, чайки, детский чепчик...
 И голос отдалённый: – Ты готов?
 – Готов. Путём зерна, – ты шепчешь.

РАССВЕТНОЕ

Памяти Николая Заболоцкого

В шестом часу утра, когда
 Пронзительна деревьев птицеречь,
 А «смерти нет» двусмысленно, как «да»;
 У дома в бочке холодна вода, и в ней игра
 Зари не долго длится, – в самый раз извлечь
 Перо, по-пушкински вздохнув: «Пора!..»

Не в сумерки и не в туман, что сед –
 Но – в свет тарусский, в тот прекрасный пыл
 Садовый, где весной сосед
 Белил стволы, земной сей прихорашивая рай,
 И, помнится, скворечник смастерив, забыл
 Стремянку унести в сарай.

СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ-ДЕ-БУА

Лебединых крестов стан,
 Пожелаешь – корми с руки,
 А в душе белизна листа,
 Лишь не пишется ни строки.

А в душе белизна полей,
 Незнакомой дороги плетъ,
 Да звенящих вдали над ней
 Колокольцев ямщицких медь.

А в душе снежок синекрыл,
 А в душе то Крым, то Урал,
 Где братишка братишку бил
 Наповал.

А в душе ветров круговерть
 И тоска, как сыра-земля,
 И чужая жизнь – равно смерть,
 Как своя.

А в душе то грохот, то тишь,
 Средь отчаянной белизны,
 И – за тысячи вёрст Париж
 До которого час езды...

* * *

Уроки утрат и морозцы, что лужи хватают.
 Туман по утрам. Деловых голубей воркотня,
 И соли с избытком чиновному люду хватает
 В пространстве Эвклидовом серо-обычного дня.

Уронишь иголку – стог сена, как гриб, вырастает,
 И, кажется, будто в каком-то расплывчатом сне,
 В имперских вольерах стихов независимых стаи
 Качаются тихо у цензоров хватких в пенсне.

А где-то вдали довоенные кружатся вальсы,
 В мерцающем космосе дыры такие, что ах! –
 Чернее, московским ассором размазанной, ваксы
 На детских побитых, потёртых моих башмаках.



* * *

Е. Г.

В морскую даль смотрю. На чаек. С мола.
Неужто, впрямь, вначале было Слово?

А, может быть, сначала волны были,
Что в берет каменистый так же били?

И крылья над кипучей бездной висли,
И облака дымились, словно мысли

Создателя безумного эскиза
Для будущих Софокла и Эсхила...

* * *

*Благославляю Вас на все четыре стороны...
Цветаева*

Дальнего странствия – облаку белому,
Неводу – рыбы и яблок – корзине,
Скалам – прибоа солёного, пенного,
Печке – поленьев в холодную зиму.

Путнику на ночь – еды и пристанища,
Дачникам – лета с короткими ливнями,
Звёзд – астрономам, пожарным – пожарища
Пышных закатов с хвостами павлиньими.

Красок – художнику, пахоте – борону,
Храму – свечей у святого распятия,
Каждому – путь свой в желанную сторону,
Тех, что четыре и тайная – пятая.

* * *

Сестре Татьяне

Земля готовится к зиме
Под небом бедным, нищим,
А мы в остывшей золе
Огонь вчерашний ищем.

Но прошлое не воскресить,
И время-всадник скачет
Туда, где Ариадны нить
Дорог не обозначит.

* * *

*В этих краях унижения не чувствовала,
возможно, только природа...
Из размышлений (Нарва)*

Мравинский взмахивает палочкой,
Земля смычки травинок вскидывает,
Под крыльями азартных бабочек
Поляна радостная вспыхивает...

Скреплять покой и трепет узами,
Маэстро не впервой, ещё бы!
И вот хмельной, раскатной музыкой
Вскипает нарвская чашоба.

Гремит, гудит, звенит, пиликает
Симфония лесного братства:
Шмелей, цветов и повилики –
Природы, вскормленной без рабства.

С залива бриз, коснувшись берега,
В неё вплетает птичье пение,
А солнце смешивает бережно
Лучи с зелёных листьев пеною.

Одна лишь ускользает искорка,
Быстра и, как малина, ала,
Туда, возможно, где хоть изредка
Душа – пусть не жила – бывала.

СТАНСЫ

Потемневшие вывески:
«Парикмахер», «Портной»...
Полетать бы над Витебском,
Как Шагал молодой.

В мягкой вате тумана
На вечерней заре
У стогов Левитана
Полежать на траве.

В тесной кухне московской,
Под сухое вино,
Поболтать о Тарковском
И о польском кино.

Ночью горькой, бессонной,
Прислонившись к окну,
Сквозь снежок невесомый
Встретить русскую мглу.

Ближих бледные лица...
Нет, не надо о том.
Память – чёрная птица
С перебитым крылом.

Русский художник с европейской культурой.

Николай Дронников

В Крепллин-Бисетр, на базаре-толкучке, по-французски «marché aux puces», по-русски «блошином рынке», — из тех, кто в любую погоду раскидывают на парижских окраинах свои многоцветные, как лоскутные одеяла, ряды, где за бесценок подчас можно приобрести домашнюю утварь, мебель, книги, всякую всячину, вплоть — если поискать хорошенько — до волшебной лампы Аладдина, купил за полфранка художник почтовую открытку. Купил из-за русского текста. На снимке — романтический заход солнца над морем. Отпечатана в Софии, в двадцать седьмом году. Отправлена — из Варны: «Прелестная Надежда Евгеньевна! Это наш путь на родину... С какой радостью мы встретимся в России!..»

Боже, сколько мыслей и чувств может вызвать такой случайный осколок чужой судьбы, чужой жизни!..

Пронзительная крошечная новелла об этом — «Находка», — включена Николаем Дронниковым в сборник-альбом «Русский в Париже».

Вспомнил я сейчас именно о находке не потому, что история эта интереснее, значительнее других. Но именно в ней сфокусировалось его отношение к окружающему миру, к людям. Известная мысль Паустовского о том, что поэзия находится у нас под ногами, следует лишь наклониться, чтобы подобрать ее, в данном случае нашла свое очередное подтверждение.

Старая фотография, дверной замок, подкова — все может стать предметом искусства. Надо тем не менее, чтобы тот, кому такая вещь попала в руки, был в душе художником.

Дронников из их числа. Из числа тех, кто любит и прекрасно разбирается в старых вещах, гравюрах, книгах... Прогулка по парижским «блошиным рынкам» одно из любимых его занятий. За увлеченностью этой — отнюдь не страсть коллекционера, антиквара, а тяга к живой, хранящей человеческое тепло, истории. Его дом в Иври с прекрасной библиотекой, со стенами, увешанными собственными картинами, афишами, со скульптурами, — подлинный музей. В этом доме он пишет, печатает, лепит, рисует, проводит часы перед мольбертом...

Говоря о живописи Дронникова, нельзя не обратить внимание на разнообразие привлекающих его тем, и вместе с этим — на диапазон подходов к материалу, к

выбору красок. Городские и сельские виды Франции, Голландии, Испании... Портреты, натюрморты...

Работает он интенсивно. Пишет лаконично, строго. Как живописец никогда не кокетничает с моделями. Безразличен к модным тенденциям, течениям. Думаю, что само понятие «мода» в приложении к творчеству Дронникова — нонсенс. Даже выходя иногда в область абстракции, он по существу остается адептом фигуративного направления, художником-реалистом в самом лучшем, серьезном понимании этого слова — ищущим, думающим, имеющим свой особый взгляд на мир...

Шагал, вспоминая о своем открытии Парижа, говорил, что этот город дал ему цвет, которого он не знал прежде. Как колорист, много лет проработавший в России, Дронников тут свою палитру усилил, но как график, вне сомнения, нашел немало. Именно нашел, потому что гармония изгибов арок мостов и ветвей старых деревьев, ритмическая игра городских крыш с каменными трубами, потемневшие от времени и дождей стены и шпили готических соборов, силуэты пешеходов и, конечно же, фигуры клошаров, в которых сохранились «живые персонажи картин Рембрандта, Веласкеса, Гойи, малых голландцев...» — тут были всегда.

С Францией Дронников связал свою судьбу в августе семьдесят второго, не вернувшись на родину из частной поездки. «С молоком матери я всосал: художник и советское общество — вещи несовместимые,» — говорит он.

Понимая, что вывезти свои работы, архивы будет невозможно, — начал постепенно уничтожать их. Отправляясь как бы на этюды на окраину столицы, в Медведково, предавал огню холсты, рисунки...

— Ты мог подарить, оставить все это друзьям, знакомым, — сказал я как-то Николаю, — зачем нужно было идти на такой крутой шаг?

— По-другому было нельзя. Ты знаешь, как это тогда было опасно. Стоило гэбэшникам хотя бы чуть-чуть пронюхать о том, что художник, собирающийся временно поехать на Запад, раздаривает свои картины, они бы, заподозрив неладное, никогда бы не дали мне визы. Чем бы все могло закончиться — можно только представить!..

Вопрос об учительстве — один из важнейших для понимания творчества любого художника. Своими на-



Портрет внука В. Поленова Александра Александровича.
Рисунок с натуры. Париж 1993 г.

ставниками Дронников считает: в технологии живописи – профессора Алексея Рыбникова, в портрете – профессора – антрополога Михаила Герасимова и профессора Михаила Курилку-старшего. В области теории искусств академика Алпатова и профессора Чегодаева. От первого – любовь к русскому народному искусству, от второго – к западным мастерам.

Матисс, Пикассо, особое внимание к японской и китайской художественным системам, прошедших сквозь призму Бурлюка, Маяковского и, частично, Ремизова, – все это по-своему отразилось на многих его работах.

Традиция иероглифа, символа особенно бросается в глаза при взгляде на портреты, выполненные Николаем во Франции. Исключительное внимание в них – к самым характерным чертам лиц, позам, выражениям, а также – к рукам, кистям рук... Тот, кому приходилось видеть, как работает Дронников (портреты он делает исключительно с натуры) знают: в концертном зале, на литературном вечере, в дружеской компании, расположившись по возможности не очень далеко от сцены или места, где находится тот, кого он хочет запечатлеть, –

Николай делает не один, не два, а большую серию рисунков. Ничего не подчищая, ничего не убирая, оставляя все так, как получилось сразу.

Быстро меняются листы. Первая линия, первое пятно – самые главные... В каждом портрете ему важны не точность *вообще*, а точность *конкретного момента*. Карандашные пометки подсказывают: нарисовано тогда-то, по такому-то случаю. Это существенно.

Галич, вешавший под гитару в мае семьдесят пятого года парижскому залу шутивно-печальные истории про Клима Петровича Коломийцева, несколько помнится, был иной, чем когда пел перед тем же микрофоном «Облака»... И – такой *разный* – Галич у Дронникова есть. Его Растропович тоже *разный*: дирижирующий прокофьевскую «Войну и мир» или играющий на похоронах Тарковского...

Единые и разные – Окуджава, Высоцкий, Некрасов, Максимов, Бродский, Солженицын, Синявский, Максим Шостакович, Баршай, Ашкенази, многие другие, составившие дронниковскую галерею «Портретов современников», часть оригиналов которой находится в его «домашнем музее», а часть разошлась по различным собраниям, – поистине уникальное явление в художественной русской жизни в эмиграции последней волны во Франции (о тех, кто покинул бывший Советский Союз в период начавшейся перестройки и позднее, говорить как об эмигрантах, естественно, не приходится).



Этюд могилы В. Поленова, сделанный в Бёхове.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

За время эмиграции Николай поездил по многим странам Европы, побывал в Африке, в Соединенных Штатах. Любая поездка по миру обогащает. Для него в каждой из них самым важным было знакомиться с лучшими музеями мира, видеть шедевры в оригиналах. Его работы также выставлялись в престижных залах на персональных и групповых выставках во Франции, Италии, Западной Германии, Швейцарии...

Каждая книга, каждый альбом, выполненные Дронниковым, начиная с обложки, а затем с первого до последнего листа, делались не в какой-то прекрасно оборудованной типографии, а в собственной скромной мастерской, очень небольшими тиражами. В каждом таком издании – тепло его рук.

Вспоминаю эпизод из нашего недавнего разговора.

– Что тебе вообще приносит искусство? – спросил я.
– Прежде всего, ощущение счастья. И боль, – был ответ.

Николай сохранил себя в эмиграции как художник. Как русский художник с европейской культурой.

Шагал говорил Дронникову: «Я не знаю в истории живописи подпольной живописи. Подпольная литература была. И литература может так, и в подполье, и вне, как сейчас вот, в России. Но живопись может развиваться только в условиях свободы».

Эти слова он запомнил.

Виталий АМУРСКИЙ.
Париж

Бёхово. Из воспоминаний

В конце пятидесятых, начале шестидесятых годов в Тарусе писали и художники, которых потом называли «неофициальными». Среди них был и Борис Свешников, учившийся с моим братом на Сретенке в Художественном училище еще в сорок первом году. Называл он мою живопись «французской», очевидно чувствуя в ней следы влияния, которое я испытал от знакомства с Матиссом и Ван-Гогом в сорок третьем году. Сам он там писал акварели во весь лист – избы с беззакониями, очень лирические и легкие, по колориту Борисова-Мусатова.

На моих этюдах присутствовала древняя архитектура. Это были не только следы учебы в институте. Я самостоятельно искал русскую живопись, ее истоки, в то время, как другие, «задрав штаны», бежали за Западом.

Белый храм XII века на сине-голубом небе. Решал проблему теплого белого с синим, указанную мне академиком Алтатовым.

Здесь и Византия, ее мозаики – шел к истокам, тогда как верх брали среди других художников Кандинский и Малевич.

Практика Суриковского института проходила в двух местах: близ Лопасни, рядом с имением Чехова в Мелихово, и на Оке, в Бёхове. В чеховских местах писал избы, крытые соломой, совсем как при писателе, который работал здесь доктором.

В Бёхове, деревне отрезанной рекой, условия житейские были хуже. Зато имелись места поленовские, с его домом-мастерской – места завидные.

Во времена Поленова здесь было, как в Абрамцеве. Собирался цвет художественного мира России. Главари будущего футуризма начинали жизнь в Строгановском училище, путевку в жизнь получили от учителей круга Поленова.

Сам музей с его мастерской, где на мольберте стоял громадный холст на тему Христа, выполненный углем, где проработанный рисунок на сером холсте смотрелся, как пример для наших дипломов. Вызывал трепет и благоговение, которые много лет спустя я испытывал, бывая в мастерских Франса Хальса, Эль Греко, Рембрандта, Рубенса...

Там же написал этюд с могилой Поленова, а переправившись на пароме через Оку, этюд с могилой Борисова-Мусатова...

Бёхово притягивало меня и девушкой из нашего института, с которой у нас были обоюдные симпатии.

Колония свободных художников в Тарусе, приезжавших на этюды, с легким презрением называла нас «академичками». Меня же стены института защищали от обвинений в «тунеядстве», давали возможность писать и рисовать обнаженную модель.

Николай ДРОННИКОВ.
Ivry-sur-Seine
France

«Меня зовут Булат...»

Игорь ШЕДВИГОВСКИЙ

Он пришел в редакцию калужской газеты «Знамя», когда еще не было «Молодого ленинца», когда у него не было партбилета, а были за спиной война, расстрелянный отец и репрессированная мать в ГУЛаге...

Он не мог не прийти: при «Знамени» через два года после окончания войны было создано литературное объединение, где мне довелось председательствовать. В газете печатались стихи, а это было его болью и радостью.

В ту пору «Литературные уголки», а потом и «Литературные страницы» формировать приходилось ответственному секретарю редакции.

Когда я увидел его в своем кабинете, густобрового, черноглазого, с густой шапкой черных волос, подумал: наверное, единственный грузин в Калуге.

— Меня зовут Булат, — отрекомендовался он. Фамилию я с ходу не запомнил. — Мне о вас говорил Николай Панченко.

— А мне Коля говорил о вас.

Мы оба рассмеялись. Фронтовое братство быстро разрушило условности.

— Что принес, Булат?

Стихотворение было довольно длинным. Меня потрясли строки, смысл которых мучил и продолжает мучить меня, выжившего в двух войнах: германской и японской:

*Лет в обрез.
И коротка немного
Жизни человеческой дорога.
И, недолгий путь свой подытожив,
Всё сполна на сердце положив,
Вдруг поймёшь,
Что ты без счёта должен
Тем, кто до сегодня не дожил.*

Булат рассказал о своем «сто первом» километре без права ездить в Москву и предупредил:

— Со мной у тебя будут проблемы.

Они были, эти проблемы. В редакции, как и повсюду, были свои «стукачи». Приходилось воевать, отстаивать, носить в обком «на визу» «идеологам». Стихи его

сами по себе не вызывали ни у кого сомнений. «Сомнительной» была личность стихотворца.

В пятьдесят четвертом году я был ответственным редактором альманаха «Литературная Калуга» за номером «2» (первый альманах вышел в пятьдесят первом году). Формируя его, обратился к Окуджаве. Он принес рукопись поэмы «Весна в Октябре». Все члены редколлегии, прочитав, единогласно приняли ее к публикации и признали достойной открыть раздел: «Поэзия».

...Год пятьдесят шестой стал для Булата «этапным»: вышел первый его сборник «Лирика» в издательстве газеты «Знамя». Он подарил его мне с поразившей меня надписью: «...одному из первых моих „открывателей“». Когда прочитал сборник, понял: почти все стихи «прошли» через «Литературные страницы» и альманах.

Не скажу, что мы с ним были дружны. Думаю, из наших никто этим не мог похвалиться: Булат держался на некотором расстоянии, таков был его характер, характер «одиночки». Но — приятельство было. Узнав, что у меня есть семиструнная гитара, он пару раз приходил. Оба пользовались примитивными аккордами. Правда, он позаимствовал у меня септ-аккорд на третьем ладе, а мне понравилась его вальсовая концовка на трех басовых струнах.

Спустя годы, когда слава барда гремела по стране и он, приезжая в Калугу, спускаясь с этажа «Молодого ленинца», неизменно заходил ко мне в «Знаменку», я как-то спросил его:

— Почему не научишься современному аккомпанементу?

— Боюсь заслушаться своей игрой, — усмехнулся Булат, — и забуду слова. Для меня они важнее мелодии.

...Помню пятьдесят второй год. Собрание литературного объединения уже при «Молодом ленинце». Зашел разговор о необходимости учиться у великих поэтов. Булат в шутку высказал:

— Литературные консультанты трубят в один голос: Пушкин, Пушкин. Все правильно — учиться надо. А что, если среди нас растет такой вот «Пушкин»? Надо, ду-



маю, прежде всего доверять своему внутреннему голосу, если, конечно, он есть.

Мне показалось, что в шутку Булат вложил нечто большее. Но сама мысль была забавной. К концу нашего «сидения» у меня сложилась эпиграмма. Я отвел Булата в сторону и прочел:

Уже он Пушкину грозит,
Уже к Парнасу длань простёр...
Но не всегда Булат разит,
И не всегда Булат остёр.

Ему понравился экспромт: «Давай в сборник». Я постеснялся: никогда не печатал стихи. Спустя много лет,

поздравив Булата с семидесятилетием, напомнил ему эту давнюю эпиграмму.

Ответ стоит воспроизвести целиком: в нем трепетная душа стареющего поэта, счастье творчества...

«Дорогой Игорь! Счастлив был получить твоё письмо. Спасибо за поздравление, хотя с чем поздравлять? С этой чудовищной цифрой?!

Просыпаюсь по утрам и представляю, что вот лежу тридцатилетний, кудрявый, но это лишь мгновение, а после... Слава Богу, что пока пишется, работается.

Четверостишие я вспомнил. Как все уже далеко!

Желаю тебе здоровья и здоровья.

Обнимаю. Булат».

1997 год

Наверное, самое лучшее
на этой земной стороне
попы и иереев сапого -
она шевелилась во мне.

Она еще очень неслышная.
Она земли как шкура.
Но чудный музика свежая,
и серого лоснящий слова.

Своей в душе, что меня не трогает,
своей смех наш короткий и мил
я слышу: выводит меня
какой-то бравурный шурбас.

Легко, необязательно и весело
кружится над скученным зором
та самая главная песенка,
кашарую снег я не ем.

Окуджава

1962 г.

Простой романс сверчка

Александр МАЙСЮК

Он – мне, прочитав мое стихотворение «Прива рыжего коня»:

– Ну что я вам скажу? Вы поэт Божьей милостью.

Что это значило – «поэт Божьей милостью», и в чем был смысл его высказывания я тогда не понял: либо нечто серьезное, либо тонкая шутка. Я был глуп. Мне были нужны подробности. Нужен был рассказ о самом себе.

Славное было лето шестидесятого года – сухое и жаркое. Наша студенческая стайка нежилась в свои первые каникулы под солнцем на песчаном берегу Оки под Серпуховым. В лозняке томились и жужжали маленькие мухи, время от времени злобно покусывая кожу. На быстрине пели волны. С противоположного крутого обрывистого берега отваливались куски породы и торжественно падали в воду. Ласточки выпархивали из норок и с необыкновенной точностью залетали обратно. Мы валялись на песке и хором пели «лабу», модные песенки той поры с некоторой долей хамства, потому что мы были «стиляги» и старались привлечь к себе внимание публики. «Приходи ко мне на пляж и со мною рядом ляж... Будем строить новый дом, будешь первым этажом». Или – «Мы идем по Уругваю, темь – хоть выколи глаза. Слышны крики попугаев, надвигается гроза...»

Коронкой была песенка про старика: «Жил с старухой старик, ел ши и кашу, заманили его на лабу нашу. Старик стал клевым чуваком, без самогонки, тянет горький коктейль через соломку...» Или: «Москва, Калуга, Лос-Анжелос объединились в один колхоз...» Я уже играл на саксофоне-теноре, бил в гитару особым приемом нехитрые рок-н-ролы и пел на тарабарско-английском языке. Всем нравилось.

Вечером лился портвейн и под мою дикую музыку дрыгались в самодельном танце наши мальчишки у Генки Баулина в его собственном доме недалеко от памятника Чехову, или мы ходили в городской сад на танцплощадку обнимать девочек. В круглой ротонде ладно играл военный оркестр под управлением майора Дзина, там я впервые услышал вагнеровский марш из «Тангейзера» и навсегда полюбил эту нежную музыку.

В городском саду нас ждала любовь и разлука, встречи на вечер и потери на всю жизнь.

В пятницу приехал Гошка, классный чувак на рифленых подошвах в квадратных очках и с «Филипсом» через плечо. Жил он в интернате для детей, чьи родители временно уехали за рубеж. Я впервые увидел настоящий заграничный магнитофон и смог его даже пощупать. Портвейн ждал. Гошка зарядил пленку и мы смогли насладиться настоящим Биллом Хелли и его группой «Комета». В особенности понравился «Рок эраунд де клок».

Когда изрядно вспотели, а это было уже в полночь, Гошка сказал, что теперь он поставит совсем другое, чего мы, олухи, никогда не слышали. Портвейн кончался. Сквозь легкое шипенье запел приятный тенорок нечто невообразимое: «Ты в чем виновата, ты в том виновата, что зоркости было в тебе маловато...» А потом: «А мы швейцару: отворите двери, у нас компания веселая, большая, приготовьте нам отдельный кабинет...»

Это было уже про нас. Похолодела кожа. Генка вынул новые припрятанные бутылки. Все взбодрились. А тенор пел и пел, а когда подошла очередь «По смоленской дороге леса, леса, леса...», и, в особенности: «может, будь понадежнее рук твоих кольцо...» чистые детские сердца не выдержали и навсегда отдались неведомому певцу.

В этих песенках не было ни рока, ни джаза, который мы так тогда любили, но в них не было казенщины и комсомольщины. Там все было правдой, тенор ничего не скрывал от нас из его собственной жизни, а жизнь эта, судя по песенкам, была нелегкой, послевоенной, нашей.

Кто это? «Грузин какой-то, Окуджава, а больше я ничего не знаю».

Жаль, что всесведущий Гошка не знал ничего про Окуджаву. Нам так хотелось объяснений, – в самом деле, как это грузин какой-то, а так классно сочиняет, необычно и завлекательно. Чудеса в Серпухове!

К утру я уже знал наизусть все песни с той пленки и она стала называться у меня в голове «первой пленкой», и так мы называем ее и до сих пор, когда поем ее всю подряд с моим другом и седобородым земляком Игорем Ступиным в светлые минуты пронзительной ностальгии, когда вспоминается босоное детство, благодатная юность и счастливые встречи в городском саду.



...Алик Шварц, добрый малый, профессиональный фотограф и неисправимый эпикуреец, муж подруги моей жены показал фотографию, где он, сидя на глубоком диване, обнимал одной рукой плечи какого-то ласково улыбающегося брюнета с усиками.

Кто это? «А это Булат Окуджава». Я поперхнулся. «Окуджава? Да как же это?» — «Он дружит с моим кузеном Изей Шварцем, и когда Изя приезжает в Москву из Ленинграда, то мы собираемся у нас на Суворовском бульваре и сидим... А Изя — композитор, а Булат — песенки сочиняет...»

— А познакомиться с Булатом можно? — спросил я дрожащим голосом, полным мольбы. Вместо ответа Алик светло улыбнулся, качнул прекрасно вылепленной головой с национальным орлиным профилем и набрал номер. Там ответили. «Булат, — сказал Алик, — это говорит Алик Шварц... тут у меня друг хочет с тобой познакомиться и свои стихи показать... Когда? В субботу? В два часа дня? На Флотскую приехать? Какая квартира? Сначала позвонить? Все, понятно!»

Много лет я ждал этой минуты, фантазируя и мечтая о том, как я встречу со своим кумиром.

Он показался мне высоким, прямым, с большой головой, чистым лбом, с просто стриженными черными волосами как бы в стиле древнеримских императоров, очень вдумчивыми глазами и минимальной лицевой мимикой. Говорил приятным баритоном на чистом русском языке.

В шестьдесят четвертом году старинный поэтимажинист Рюрик Ивнев рассказывал о встрече с Булатом в послевоенном Тбилиси, как тот, будучи молодым, пришел к поэту посоветоваться насчет судьбы, и Рюрик Александрович посоветовал ему отправиться в Москву. «Вы, Булат, ведь не знаете грузинского языка, а в Грузии без языка делать нечего, ваша судьба — Россия. Там вас поймут, и вы найдете себя».

— Да, правда, я тогда встречался с Рюриком... Как интересно... Надо бы позвонить ему... Да все некогда как-то...

Мы все любили его. Как понять природу этой любви? Был только голос, музыка и текст — никто из нас не знал, что это за человек, и как он выглядит. Видимо, тогда это было несущественно. Протяжное его пение, где длинно и отчетливо выпевались гласные звуки, редкие цезуры — казалось, что у него семилитровые легкие, так долго он тянул без прерывания и вдоха, — завораживало, примитивные гитарные аккорды его звучали скупно, но полностью музыкально, ничего не надо было добавлять к его пению, ничего не надо было

улучшать; песни, как доброе вино, ударяли в голову, они полнились самими собой, и вот на этот-то хмель благодарно и признательно отзывались наши души — с полной правдой!

Мы верили ему до конца. Кажется, прозвучи тогда булатовский клич — «Ребята, ко мне!» — и сбежалось бы к нему пол России. Нам нужна была вера в совесть, в правду, в честность, в любовь — без этого жизнь казалась изуродованной, казенные нечеловеческие заклинания о светлом будущем воспринимались как издевательство сильных над слабыми, а слабыми были мы все.

— Вот развели дискуссию — физики, лирики... Как писать о любви... Степан Щипачев? «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне...» А что же тогда любовь? Конечно, и вздохи, и прогулки! Старый, глупый, недаренный человек!.. А вот как надо писать. — Он подошел к книжной полке, взял книгу и быстро открыл ее на нужной странице, как если бы там была закладка, но закладки не было. «Они меня истерзали, сделали смерти бледней. Одни своею любовью, другие — враждой своей. Они мне хлеб отравили, давали мне яд с водой. Одни — своею любовью, другие своей враждой. Но та, от которой донныне душа всех больше больна, мне зла никогда не желала и меня не любила она»...

Булат помолчал.

— Это Гейне, перевод Аннолона Григорьева. Вот так надо писать о любви!

Задумался, ушел в себя, забыв обо мне, а я все смотрел на его большой просторный лоб, сведенные вместе несколько даже страдальчески брови, напряженный рот с небрежными усами, и все никак не мог наглядеться на своего кумира.

И тут произошло чудо. Пока Булат читал вслух стихи, у меня в мозгу вслед за его словами начинала звучать музыка, и я понял, что сочинилась песня. Но я боялся сказать об этом учителю...

На Фестивальную ехали на такси, а до дома пришлось метров сто идти пешком. Цель визита: сделать хорошую запись его песен для моих сослуживцев в Монголии, где я был тогда молодым офицериком, техником самолета, и договориться о прочтении им моих стихов, которые я активно писал все в той же Монголии.

При подходе к дому зашпорили, к какому подъезду идти; тут встретила беленькая прекрасная снегурочка в светлой аккуратной дубленке, и с двумя набитыми сумками в руках — продукты. Снегурочка улыбнулась и сказала: «Вам сюда». Я подивился, Алик замысловато улыбнулся своей неотразимой улыбкой и промолвил:



«А вы – Оля?» Оля улыбнулась уже снисходительно, и так мы и вошли в квартиру, улыбаясь.

Он был в клетчатой рубашке, серьезный, сосредоточенный, мне казалось, что он всегда был таким, целеустремленным и не теряющим впустую столь дорогое жизненное время. Мы прошли в кабинет, и я отметил, что кабинет отделялся от остального пространства двойными дверями – шум мешал.

Булат не предложил ни чая, ни кофе. Оля, жена Булата, скрылась в квартирных недрах, у меня дрожали руки, Алик достал фотокамеру и с холодностью профессионального фотографа начал делать снимки, прошептал: – «Это тебе Булат – как Бог, а я его песен не понимаю, грустные они какие-то... валяй, общайся!» – И снова лучезарная улыбка жуира. Булат подал мне руку и назвался просто: «Булат», я сказал, что я – Саша, и с тех пор учитель всегда говорил мне «Вы» и «Саша». Аристократично, отдаленно, уважительно и без фамильярности.

– Хорошая песня – это всегда хорошее стихотворение. Но не всегда хорошее стихотворение может стать песней. Эти две стихии должны соединиться, найти друг друга, тогда вспыхивает молния и зажигается свет.

Мой магнитофон «Комета» не сработал. Хотя перед тем я все проверил. Новая пленка «тип 6», купленная специально для этого случая, начала катастрофически рваться. Я готов был провалиться сквозь землю, то есть пол. Булат понимающе взглянул на меня, сказал, что он все это предвидел, достал свой магнитофон (кажется, «Грюндиг»), подключил его к проигрывателю, достал норвежскую пластинку и начал писать. Впереди было сорок пять минут времени, и мы говорили о поэзии.

Я сказал, что трудно совмещать мою теперешнюю инженерную работу и занятия литературой. «Кажется, поэт Светлов сказал, что литература не терпит вторых смен». Булат оживился.

– Да какие там смены у поэзии. Ведь это как дух святой – приходит неизвестно откуда и уходит неизвестно куда. Это же все неожиданно бывает. Едешь в метро, в автобусе, и вдруг строчки приходят. Ты их специально не зовешь, нельзя же, в самом деле, сказать себе – вот, сейчас напишу стихотворение про любовь! Стихи – это резонанс, отзвук, как в гитаре вдруг неизвестно отчего – висит она себе на стенке, и вдруг вздох, звук струнный. Поэзия место себе не выбирает. Вот я «Леньку Королева» придумал, например, в уборной. «По смоленской дороге» – в поезде... Главное – не пропустить, записать!

Я никогда не мог понять людей, которым не нравились песни Булата. Такие люди были. Еще в студенческом общежитии авиационно-технологического института на улице Мархлевского в начале шестидесятых годов заряжались длинные дискуссии о «смысле его песен». Помню, как способный математик Герман Барашевский остро реагировал на «Комсомолочку»:

– Ну, в чем здесь смысл? «А ее коса острижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колечко рыжее на виске ее дрожит. И никаких богов в помине, лишь только дела гром кругом... Но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом...» Как это понимать? Да и этот ваш Ванька Морозов: «Она по проволке ходила, махала белою рукой...» Это же насмешка над поэзией!.. И все в восторге! Тупари!

Я не мог ничего объяснить. Мне нравилась в стихах Булата именно эта недосказанность, эта акмеистическая емкость, это мастерство на малой, и как бы плоской площадке стиха создать глубину, угадывающуюся под тихой гладью стиха. Это создавалось как бы просто неспешным росчерком пера, в этом было что-то от китайских мастеров каллиграфии. «Горит пламя, не чадит, надолго ли хватит? Ах, она меня не щадит, тратит меня, тратит...»

В припадке откровения я как-то сказал, что развожусь с женою. Он нахмурил рот и произнес серьезно:

– Это тяжело, я знаю, я разводился. Это очень тяжело морально...

И глубоко и грустно вздохнул.

В квартире было чисто, прибрано, уютно даже и не совсем по-писательски, где повсюду валяются в изящном беспорядке книги, по стенам висят гнутые фотографии, пахнет бумажной пылью, а порой и мышами. Чувствовалась заботливая и уверенная женская рука. На книжной полке-стеллаже стояли крепкие тома с золочеными переплетами. Отчетливо прочиталось название: «Николай I».

Открылась дверь в кабинет и вошел маленький симпатичный черноволосый кудрявый мальчик лет пяти.

– Папа, у меня пальчик смотри, как гнется! – и согнул пальчик буквой «Г».

– Буля, я сейчас занят, – сказал папа серьезно и даже вроде бы строго. – Иди к себе, играй, я скоро освобожусь.

Посмотрев на книги:

– Что тогда было – происходит и теперь. Поразиительно, что ничего не меняется.

Чем больше занимаешься той эпохой, тем больше находишь сходства. Почти мистика.



Я недавно раскопал забавный эпизод. Можете себе представить, однажды охранка установила слежку за Львом Толстым! Причем организовал это все проходимец, который решил на этой провокации заработать... А?!

Я спросил у него, как он пишет свою прозу.

– Я лежу пишу. На диване. В толстой большой тетради, карандашом. Если что-то не нравится, стираю ластиком. Сразу на машинке? Это слишком механично, нет теплого отношения к тексту. Когда пишешь рукой, то это действительно – письмо...

– А вы много прозы написали?

– Сценарии у меня не получаются, да и пьесы тоже... Хорошо писать трудно. Нужно искать свое дыхание. Я, наверное, штук двадцать романов написал, с которыми ни к одной редакции ближе чем за километр и подходить нельзя.

Мне показалось, что Булат относится к своей прозе серьезнее, чем к поэзии.

– У вас изумительные песни. Их будут петь вечно, – сказал я.

Он посмотрел на меня внимательно.

– Я себе цену знаю. Знайте себе цену. Если вас будут хвалить, и говорить – о, как хорошо, – не верьте! А если будут говорить – вот это плохо, тоже не верьте. Надо знать, чего ты стоишь.

Из второй пленки меня поразил «Музыкант». Это был взлет почти космический. Неспешный ритм песни и великолепный гармонический переход – «Что касается меня, то я опять гляжу на вас» – завораживал. Вершины мастерства казались недоступными. Меня кру-

тило от своих собственных песен, я записывал их почти каждый день, показывал друзьям, и они говорили: «Ну, очень похоже с Окуджавой!» Было грустно, потому что меня не было. Я принес пленку с записями своих песенок.

– Ну, давайте посмотрим... – Закрутилось. Пошел звук. Там была протяжная строчка: «Я всё равно улыбаюсь...»

– Ага, Бернес! Слышите – Бернес! – радостно сказал Булат. – Бернес!

Я стоял в замешательстве. Где тут Бернес? Неужели ж мой голос похож на бернесовский? «Я всё равно улыбаюсь...» Что он имеет в виду? Тревога.

– Интонация ваша бернесовская... Это хорошо, это сердечно... Вообще, в песне должна быть сердечность, наивность и искренность. И – Боже упаси – никакой ложной многозначительности!.. Теперь часто встречается – вместо серьезности – ложная многозначительность, намеки какие-нибудь... А глубоко – не продумано. Так нельзя. Так не пишете. Так нельзя писать. Вообще, пока не родится конкретный замысел, идея, которая захватит – нельзя ничего писать. Но потом уже, когда ясность придет – не зевать!

Остановил магнитофон. Значит, неинтересно. Да и почему ему это должно быть интересно?

– Вы Вертинского слышали?

– Конечно. Еще в раннем детстве.

– Он был великий мастер.

Он, как и Вертинский, придумал в своих песнях театрик. И маленький оркестрик. У Александра Николаевича был белый Пьеро, над которым издевался хамский Арлекин, жизнь, а у Булата – бумажный солдат, над которым потешались. И потешались не просто какие-то там стражники чиновного типа, но и все остальные, рядом стоящие, не замечающие доброты и самоотверженности солдата.

Вообще, незамеченная доброта, измена великим жизненным нравственным основам – Вере, Надежде, Любви – его тема, его тихий крик всем нам, его скрытое христианство. «Я хороший, мы все хорошие», – увидь это! Возьмемся за руки!

В журнале «Юность» напечатали «Грузинскую песню». У меня родилась мелодия. Песня была записана на той же кассете. Я сказал ему об этом. Он не захотел слушать.

– А у меня еще мелодии нет... Не знаю, как... Иногда слова бывают впереди музыки, иногда музыка впереди. Чаще всего – все вместе. Тогда хорошо, тогда наполненность...



Меня поразило, когда я узнал, что Булат был коммунистом. Это как-то к нему не шло. Нонна Григорьева, член парткома московской писательской организации рассказала мне, что Булата хотели исключить из партии, и особенно усердствовал в этом прозаик Сергей Смирнов. Но Булат был тверд:

«Не вы мне давали партийный билет, а мои фронтовики товарищи. И вам я этот билет не отдам!»

После выхода отдельной книгой «Бедного Авросимова» я заявил Булату:

– Наверное ругать вас будут. Наверное, догадываются они...

Имелось в виду, что где-то там злые люди догадываются, что в книге этой есть замаскированный протест, как-то так хитро спрятанный в подтекст.

Я вообще тогда полагал, что Булат мастер подтекста. Напишет, к примеру, что-нибудь этакое хитрое, вроде маленькой поэмки «Семь дней недели», и посвятит, допустим, хорошему «устойчивому» поэту Константину Ваншенкину, а журнал «Юность», благодаря посвящению, все это печатает без цензурных трудностей.

– Догадываются? – как бы правильно поняв меня, легко бросил Булат. – Ну и пусть догадываются. А денежки-то – вот они где уже! – и он звонко хлопнул себя по джинсовому бедру. И засмеялся медленным смехом. Кресло было кожаное, добротное, глубокое.

Про него говорили, что он как грузинский князь, высокомерен, ни с кем не хочет общаться. В поездках сторонится литературных коллег, не вступает в дружеские посиделки.

Мне же казалось, что Булат был просто другим человеком – он серьезно относился к литературе, много и глубоко думал, был сдержан. Но и человеческое было ему не чуждо. Как-то раз я застал его часов в двенадцать дня в несколько «утомленном» состоянии.

– Пойду водички попить. Вчера с друзьями позволили себе.

Мне подумалось тогда: надо было бы предложить в магазин сбегать, или почему я не взял с собой ничего из спиртного? Пригодилось бы. А с другой стороны – как к такому человеку как Булат с бутылкой приходить? Это все равно что в храм с водкой заявиться...

– Вы слышали, Саша? Галича исключили теперь уже и из Союза кинематографистов. Вот какие дела. Что ждет нас?.. Все тяжелее жить...

Грустной была последняя встреча. Я все больше и больше понимал: неведомая сила заставляет меня сочинять то, что, как казалось мне, понравится Булату. Понравится ему – вот главное. Но чувство правды говорило, что так нельзя, что надо писать так, как требует душа. И ему мои сочинения уже не нравились.

У вас все хуже и хуже. Я даже не понимаю, в начале стихи были лучше, а теперь хуже.

Но мне уже было ясно, что из нашего общения ничего не получится. Я взял от Булата главное – глубокое осознание того, что нужно быть самим собой. Разлука приближалась. И тут меня дернул соблазн, нечто, чего я никогда себе не позволял.

– А что у вас есть новенького из песен, из поэзии?

Он очень странно посмотрел на меня, прикусил губу, в глазах у него закололись холодные жесткие льдинки.

– Все, что я пишу, у меня опубликовано... В столе ничего нет.

Мы попрощались холодно, неловко. Он стал мне чужим, далеким.

Через несколько лет я вычитал где-то про Анну Ахматову, что КГБ подсылало к ней «литературных мальчиков», чтобы те у нее выпрашивали, а госнадзор знал бы, над чем она сейчас работает. И вроде бы у нее был уже отработанный прием, как этих мальчиков распознавать. Я с грустью подумал, что и Булат принял меня за одного из таких.

Больше мы не встречались. Я и грустил, и был рад, – «не сотвори себе кумира», хоть и разлука, но зато – свобода. Надо было плыть по своей волне. Через несколько месяцев мы встретились в ЦДЛ, он спросил – почему не звоню. Я понял, что это была все та же его прекрасная вежливость, и сказал, что... Не помню. Через несколько лет он меня уже не узнал.

Осталась фотография и память, целых три пленки, его голос и благородство. И когда теперь мне попадает под руку этот небольшой снимок, я снова вижу себя рядом с Булатом, себя – глупого и наивного, пронизанного тогдашней верой в то, что когда-нибудь все в жизни будет хорошо, и что добро победит зло.

«...Счастлив, что живу»

Булат ОКУДЖАВА

Много лет я занимаюсь авторской песней. Первые, которые услышала еще в шестьдесят втором году, были песни Булата Окуджавы в совершенно варварском исполнении, но меня они покорили сразу и навсегда.

...Прошли годы. Я была первым председателем Клуба самодеятельной песни Московского университета, участницей множества концертов и фестивалей, но с Булатом Шалвовичем дороги меня не сводили. И только в девяносто третьем году мне посчастливилось, и не только слушать песни в его исполнении под аккомпанемент его сына, но и присутствовать на беседе с ребятами из Новокузнецка.

На фестиваль Клуба самодеятельной песни в шахтерский городок Юргу каждый год организаторы приглашали бардов. Там выступали Кукин, Тури-янский, Никитин, а в тот год пригласили Окуджа-ву. Он сразу согласился по причине того, как потом

говорил, что никогда не бывал в Кузбассе – интересно ему было.

Приехал он с женой и сыном. Жили они в гостинице, все остальные – в палатках. Не помню точно, где записывалось интервью, но не на природе, а в какой-то комнате, довольно большой, народу в ней оказалось много. Как мне помнится, запись осталась только у авторов интервью и у меня. Не знаю, опубликовали ли Саша и Валерий его в газете «Новокузнецкий рабочий» – я вскоре уехала в Германию и связь с ними потеряла. А они в это время ушли из жизни. Совсем недавно в своем достаточно большом аудиоархиве, который вывезла из Барнаула, я нашла эту запись...

Мне кажется, что это одно из последних интервью Булата Шалвовича Окуджавы.

Вита ЛЕВИНСОН,
Германия

Юрга. Кузбасс. 1993.

Фестиваль «Бабье лето».

– Нас интересует такой вопрос: гласность и бардовская песня, как песня протеста.

– Лет десять или пятнадцать тому назад – не помню, меня спрашивали об авторской песне, и я сказал тогда, что авторская песня умерла. Авторской песни в своем первоначальном смысле, родившейся на кухне, несущей в себе протест, отчаяние, грусть и исполнявшейся для пяти-шести единомышленников, – этой песни больше нет. Она закончилась. Пришли новые времена, авторская песня должна приобрести новое качество. Когда она вышла на эстраду – она уже приобрела другой характер. То, что было в начале, при зарождении, утратило свой смысл.

– Слушая Ваши записи на пленках, я понял, что слово «поэт» Вы не приписываете себе. Считаете себя литератором, но не поэтом. Вы не изменили эту точку зрения?

– Нет, я просто не решаюсь назвать себя поэтом, писателем, интеллигентом. Не решаюсь. Об этом пусть

другие скажут. Нельзя ведь сказать о себе: «Я прекрасный человек». А когда сейчас говорят направо – налево: «Мы, интеллигенты, считаем, что...», «мы, прогрессивные интеллигенты, думаем...» – понимаете, это смешно. Позвонила мне недавно одна женщина и говорит: «Булат Шалвович, мы, приглашаем вас на встречу интеллигенции с Президентом». – «Кто это “мы”?» – «Мы, интеллигенты московские», – сказала она. Я ей ответил: «Я не могу точно решить: интеллигент я или нет, поэтому воздержусь и не пойду».

Есть такие деликатные вещи... Конечно, я и стихи пишу, и прозу, мне легче говорить, что я литератор.

– А вот интересно, что Вам легче дается, а что больше писать – стихи или прозу?

– Больше. Вы знаете, для меня это всегда было занятием почти одинаковым, если исключить формальную сторону. Стихи, как известно, отличаются от прозы. Но и там и там я рассказывал о себе. Я, можно сказать, выворачивал себя то в прозаической форме, то в поэтической. Стихи, тем не менее, писать легче, потому



что стихи пишутся спонтанно, на ходу, в машине – где угодно. А проза – это систематическая работа.

– *Вспоминаю некоторые Ваши интервью, когда Вы говорили, тогда работая над историческим романом, что у вас нет возможности иметь материал под рукой, и друзья в этом плане Вам помогали. Как это происходило? Где они их доставали и удовлетворяли ли вас те материалы?*

– Нет, ничего подобного не было, я ведь писал не историческую прозу в буквальном смысле, пособие для изучающих историю я не писал. Мне важен был фон, а там я уже исповедовался на этом фоне, – ведь все мои герои – это я сам, и женщины, и мужчины, плохие и хорошие. Но мне было лень ходить в архивы и сидеть там. Поэтому друзья мои, связанные с историей, доставали для меня нечто такое, что мне было важно: мемуары, переписку тех лет. И все. Больше мне ничего не пужно было – лишь создать фон.

– *Нам горько видеть все то, что происходит сегодня в политике...*

– Да, мне тоже горько. Но я понял, я представил одну вещь: мы были диким обществом, которым управляли из-под палки. И эта палка заставляла нас придерживаться каких-то общих правил перед заграницей и перед самими собой. А потом палку убрали. И мы проя-

вились в чистом виде, то есть такие, какие мы на самом деле есть. Но мы всегда были такими.

Я вспоминаю сейчас Грузию – прекрасную, благородную, утонченную. В то время я жил там и учился в Тбилисском университете и помню проявления антиармянских, антиазербайджанских настроений. Говорили, к примеру: «Он армянин, но он хороший человек». Так, по-дружески...

– *Но это гасилось.*

– Это гасилось, но на самом деле это все было. И в России было и там. Вот и проявилось там с большой дикостью, потому что маленький народ и у него много всяких исторических причин – выживать, негодовать и прочее.

– *Булат Шалвович, Вы можете утверждать или нет, что национальная рознь и разногласия в своем корне имеют разногласия в религии.*

– Я недостаточно сведущ в этом вопросе, мне трудно что-то утверждать. Вы знаете, когда умный, циничный человек захочет быть вождем, он сможет сыграть на религиозных, национальных чувствах, да и просто на ненависти к другому народу. И заставить эту толпу себя возвысить. Плевать ему и на толпу, и на народ. Это я сплошь и рядом замечаю в русском патриотическом движении, когда наблюдаю эти митинги. Стоит на них



За обеденным столом на даче в Переделкине. Слева направо: Ольга Окуджава, Татьяна Максимова, писатель Владимир Максимов и Булат Шалвович. Из архива М. Рошина.



толпа несчастных неудачников, ну мало ли, всякие обстоятельства в жизни бывают, а один выступает, который и разжигает их страсти. Он хитрый, прохиндей – я вижу это прекрасно.

– *Приходилось ли Вам в жизни менять свои убеждения? И не грешно ли это?*

– Нет, не грешно. Мне приходилось менять, я могу вам это честно сказать. Поскольку вы связаны каким-то образом с моей поэзией, помните, в пятьдесят седьмом году я написал песню, где есть такие слова: «...И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной».

– *Помню, прекрасная песня...*

– Написал я ее совершенно искренне, веруя во все это. Времена переменялись. Я многое узнал, многое понял. Сейчас эту песню я не исполняю, хотя считаю поэтически хорошей. Перестал ее исполнять, потому что «комиссары в пыльных шлемах», хотя среди них было много честных людей, но нравственно слепых, сами того не понимая, творили зло. Мой отец был фанатичный большевик, прекрасный человек, бесребренник. В своем автобиографическом романе я пишу о нем, как о прекрасном человеке, но совершавшем преступление по своей воле. Затем расстрел в тридцать седьмом...

Название всего романа «Упраздненный театр». Первая книга выходит в журнале «Знамя». Называется «За ближайшим поворотом».

Так что убеждения меняются. Это жизнь.

– *То есть исторических романов Вы не пишете и не собираетесь уже никогда писать?*

– Не знаю, я долго не писал, последний закончил в восемьдесят третьем году. «Свидание с Бонапартом». Десять лет не возвращался к историческим романам, а сейчас опять захотелось...

– *Опять же вопрос с гласностью... Тогда Вы нашли эту нишу самовыражения?*

– Я никогда не писал в угоду моде, как некоторые предполагают. Был период романтики. Это не моя заслуга, что я возник тогда – меня вынесло время своим потоком, оно продиктовало мне свои настроения. Если бы я сегодня возник – вряд ли кто-нибудь обратил бы на меня внимание. Мне просто повезло.

– *Есть такое расхожее выражение, трюизм своего рода: «Поэт в России больше, чем поэт»...*

– Я этого никогда не понимал. Может быть, может быть... Поэт для России всегда был Личностью, челове-

ком высокого гражданского накала. Оракулом, что ли... Но это оспаривается. У каждого свое мнение.

– *Что Вы думаете о развитии нынешней политической ситуации? Вы входили в какую-то организацию, в «Апрель», например, или еще куда-нибудь?*

– Да, вначале меня всюду приглашали как свадебного генерала. Затем забывали. Что касается «Апреля» – он был замечательным изобретением. Понимаете, был единый Союз писателей, состоящий из антагонистов, внутри постоянно велась страшная драка. Вот тогда решили собраться единомышленники и в этом же Союзе писателей создать секцию под названием «Апрель». Собираются друзья, и они каким-то образом пытаются облагородить этот Союз писателей своим примером. Потом из этого ничего не вышло. Ну, «Апрель» выпустил несколько альманахов, помог нескольким молодым писателям, выделил несколько литературных премий. Сейчас он существует, но это уже что-то другое.

Я вообще считаю, что в Союзе писателей надо создать несколько секций и не так, как раньше было – по профессиям: драматурги, прозаики, поэты, да? И все они ссорились между собой. А нужно объединить тех же драматургов, прозаиков, поэтов, но только тех, которые с уважением относятся друг к другу и объявить секции – «Октябрь» или «Март» или «Апрель» – я не знаю... Я в Союз писателей не хожу. Там идет постоянно какая-то борьба...

– *Политическая?*

– И политическая тоже. Но я опять нашел для себя объяснение. Считаю, что наше общество дикое, находится на весьма низком уровне культуры. И потребуются большой срок, чтобы достигнуть нормального цивилизованного состояния. Никакие будущие вожди во главе государства нам не помогут. Никто нас не спасет, мы сами должны спастись. Когда мы достигнем такого уровня культуры, что поймем, что государство – это не божество, которому мы привыкли поклоняться, а рабочий орган, который за наши налоги обеспечивает нас работой, защищает нас и не вмешивается в нашу личную жизнь. Это будет замечательно. Жизнь в конце концов заставит, с болью, с кровью, с мучениями, но заставит. И это будет замечательно в итоге.

Вот сейчас говорят: развалили СССР, виноват Горбачев. А в другом виноват Ельцин, в третьем – Петров или Сидоров. А я думаю так: был слон, большой слон, кто-то его вел за поводок. Слон шел и все кричали: «Боже, какой слон, какой замечательный, самый лучший в мире!» Но он шел, старел, хирел, загнивал внутри. И в один прекрасный день упал. Тогда



стали искать виновного, кто его повалил. А слон развалился сам.

– *Барды всегда были явными или скрытыми диссидентами?*

– Конечно, мы не революционеры по сути, не бросали бомб, на баррикады не выходили, но своими песнями открывали людям понемножечку глаза, создавали в обществе определенное настроение. И это не может не радовать. Я не могу сказать, что я политическая фигура. Скорее могу признаться, что я – легкомысленный грузин. Даже что произойдет с моими произведениями – меня по-настоящему никогда не волновало. Мне важен сегодняшний день...

– *Простите, Булат Шалвович, но Вы были членом коммунистической партии?*

– Был. В пятьдесят шестом году я вступил в компартию, когда реабилитировали моих родителей. Мне показалось, что начинаются новые времена, и я буду бороться за это новое. Через год я понял, что ошибся...

– *Шестидесятников сейчас обвиняют во всех грехах...*

– Идет обыкновенная борьба отцов и детей, как всегда было. Во все времена. У нас это приняло нецивилизованные формы, как все. Поэтому лютуют помой. За что шестидесятников ругать? Их надо судить по их законам. Разве они могли все предвидеть? Один молодой человек меня недавно ругал последними словами. Ну, не очень молодой, лет сорока. Он выступал на вечере и говорил примерно следующее: «Ваш романтизм засорил мозги...» и прочее, прочее. «Вы были привержены коммунистической идее, хотели социализма с человеческим лицом». Хотел, конечно.

И тогда я его спрашиваю: «А вы были в то время в комсомоле?» – «Да, был». – «Значит, на собраниях комсомольских присутствовали?!» – «Да». – «Голосовали “за”?» – «Голосовал». «Так в чем же дело? Почему вы меня-то обвиняете?»

– *Что Вы делали девятнадцатого августа, в день путча?*

– Я девятнадцатого августа после операции на сердце находился у своей приятельницы в глухих лесах Америки. Когда никаких известий не было, я подумал, что мне, наверное, и возвращаться нельзя. А моя приятельница, которая немножко знает рус-

ский язык – все время по утрам слушала американское радио. Вот однажды я спускаюсь по лестнице и спрашиваю ее:

«Ну, что там нового?» А она мне говорит: «Передавали, что Лукьянов приехал к Горбачеву, а Горбачев ему сказал: «Я тебя знаю сорок лет, не вешай мне спагетти на уши». Она так перевела. (смех)

– *Вы тогда уже не были членом партии?*

– Нет. Что касается компартии, то мне было легко вести эту двойную жизнь, как говорится, потому что я стоял на учете в писательской организации, а у нас никаких собраний не проводилось. А если и проводились, то можно было и не присутствовать. – «Где вы были?» – «А я писал». – «Ну, извините». Поэтому я и не ходил на все эти сборища, мне это было ни к чему.

– *Как Вы оцениваете сегодняшнее состояние авторской песни?*

– Сейчас я не могу ничего сказать, потому что давно не соприкасался.

Последний автор из молодых – это Вероника Долина. За ней я уже никого не знаю. Правда, недавно приехали ко мне в Переделкино Васильев и Иващенко. С большим интересом их слушал. Интересно сатирично и поэтически интересно.

– *Пластины с Вашими новыми записями будут появляться?*

– Появятся, но не скоро. Мы с сыном хотим аранжировать те песни, которые я никогда не пел сам. Это произошло случайно. Года два назад меня пригласили в Америку выступать. Много концертов. А я сам от себя устал, а в то же время хочется деньги заработать, там платят хорошо. И я предложил сыну: «Давай полетим вместе, ты будешь мне слегка подыгрывать, не аккомпанировать, а так, чуть-чуть фон создавать». Сыногласился. А он композитор, музыкант очень хороший. «Давай попробуем».

Попробовали. Получилось весьма симпатично. И мы поехали с ним. Выступали в Америке удачно. Затем в Израиле и Польше...

– *Значит, вкус к жизни Вы не потеряли?*

– Нет, я счастлив, что живу.

Авторы интервью Валерий ЧЕРВЯКОВ
и Александр ЗАМОГИЛЬНОВ

Неистовый Аркадий...

Александр ПОЛОВЕЦ

Однажды, было это много лет назад – в «Панораму» зашла женщина, зашла без предварительного звонка и не условившись о встрече. В тот раз конец дня случился не такой напряженный, каким он станет завтра – сразу же на утро после сдачи в типографию очередного выпуска. Сотрудники редакции понемногу расходились кто куда...

– Наталья Белинкова-Яблокова, живу сейчас в Монтерее, – представилась она с порога наборного участка, где меня застала. – И почти сразу добавила:

– В эмиграции с шестьдесят восьмого года. Вот, хотела вам показать журнал, он только что вышел в Европе, «Новый колокол».

Я взглянул в оглавление – имена достойные, что сказать, хотя многие прикрыты псевдонимами, вроде «А. Анатолев». Сейчас-то не секрет, что под ним скрывался Анатолий Кузнецов, сценарист, автор «Бабьего Яра», попросивший в шестьдесят девятом году политическое убежище в Англии.

А то и просто «читатель» – его «Письмом из России» открывался журнал, за ним следовал «Побег» Аркадия Белинкова. А дальше – Милован Джилас, югославский диссидент, «Нового класса», за что и отсидел очередной срок в коммунистической Югославии; Эдуард Штейн с «Записками о польской тюрьме». Редактор журнала – моя собеседница, как выяснилось вскоре в нашем разговоре, – вдова Аркадия.

– И легко отпустили, долго ждали разрешения – все же шестьдесят восьмой, не семьдесят пятый, когда стали выпускать понемногу?

– Бежали мы... А журнал вышел только что – вторым изданием, теперь уже в Москве. Первое же его издание состоялось в семьдесят втором в Англии. Может, редакция расскажет о нем, поместит рецензию?..

Бежали... Слышал я об этом побеге. Вспомнил передачи «Свободной Европы», пробивавшиеся сквозь чудовищный вой и треск советских глушилок к допотопной «Спидоле» – еще там, в шестидесятых. Что-то отрывочно знал и от знакомых, связанных с миром неофициальной литературы и стало быть не всегда легальной.

Вот так состоялось мое знакомство с этой замечательной женщиной, вынесший на своих плечах груз,

какой немногим доставался – даже и тогда, там – в Советском Союзе. Вряд ли Рональд Рейган, назвавший СССР «империей зла», был знаком с содержанием «Нового колокола» – оно многократно подтверждало тезис нашего тогдашнего Президента.

Потом мы обменивались письмами, иногда телефонными звонками. И совсем потом, уже спустя годы, я пытался разыскать Наталью – ни один из сохранившихся у меня номеров телефона ей уже не принадлежал. А мне нужно было, и как можно скорее, получить ее согласие на публикацию ее письма в редакцию в готовящемся к выпуску в Москве моего сборника «Между прошлым и будущим» – я испрашивал такого разрешения ото всех, чьи письмами завершалась книга. Кажется, именно объявление о продаже вышедшего сборника в «Панораме» подсказало Наталье идею позволить мне самой:

– Вышла, наконец, книга с текстами Аркадия – не хотите ли познакомиться?

– Хочу, конечно!

И вот она, книга – в твердом переплете, издана в Москве престижным издательством «Новое литературное обозрение», едва уместившаяся в прочный почтовый конверт. «В распе с веком» и подзаголовок – «В два голоса»... Какой там «в два» – многоголосье! Судите сами: Тынянов, Солженицын, Чуковский, Маршак, Олеша, Шкловский, Струве... – не просто фон или перечень упомянутых в книге имен, но это фигуранты, активные участники действия – по иному и не назовешь содержание шестисотстраничной книги. И, конечно же, – сам Белинков Аркадий Викторович.

В октябре сорок третьего Белинкова исключили из комсомола на собрании в Литературном институте: «...до посадки ему оставалось прожить три тревожных месяца», – пишет Наталья в одной из первых глав. Забрали его «...вместе с многочисленными вариантами романа, записками, черновиками, даже вырванными из книг факсимиле...» в сорок четвертом году. Среди предъявленного ему в допросах было и такое в донесах бывших «друзей» и сокурсников: «Говорит, будто бы в Советском Союзе нет свободы творчества... Да



Аркадий Белинков – автор «Черновика чувств». 1943. Этот портрет украшал рукописный экземпляр романа, пролежавший в архивах КГБ пятьдесят лет...

еще, что договор Молотова-Риббентропа развязал Вторую мировую войну». Ну и тому подобное...

А главным было – обвинение в создании в апреле сорок третьего года самостоятельного литературного кружка, который и собрался то «всего три раза, просуществовав меньше месяца», – вспоминает Наталья в главе, названной «Цена черновика». Да и сам Аркадий на допросах открыто заявлял следователю: «У меня... антимарксистские взгляды на литературу». Куда уж больше!... Следом за Белинковым были арестованы и приговорены к длительным срокам его друзья – мало кто из них вернулся из лагерей.

А Аркадий – вернулся, отбыв в заключении до мартовского Указа Президиума Верховного совета пятидесяти шестого года – о пересмотре дел политзаключенных. Вернулся – после двадцати двух месяцев следствия, сопровождавшегося пытками. После приговора к расстрелу, замененного по ходатайствам Алексея Толстого и Виктора Шкловского на двадцать пять лет заключения...

Тогда, в шестьдесят восьмом, Белинков вывез с собой и рукописи, написанные в лагерном подполье – некоторые из них тоже приведены в книге. И ведь не оставлял он там писательского труда – наперекор чудовищным обстоятельствам, да еще будучи подвержен серьезному заболеванию сердца!

В его лагерных воспоминаниях есть и такое: после ареста Берии, заключенным торжественно объявили, что за хорошую работу их будут хоронить не с биркой на ноге, а в гробах! «Каждый режим обречен на строго определенные поступки», – этой фразой Белинков открывал свой «Роман о государстве и обществе, несущихся к коммунизму».

В семинаре Ильи Сельвинского в Литературном институте, чьим любимым учеником стал Аркадий, отмечался его и поэтический дар. Только все его стихи оказались изъяты при обыске и, как значится в следственном деле, «за неадекватностью уничтожены», – рассказывает Наталья Белинкова в одной из первых глав... Зато в КГБ пятьдесят лет хранилась переплетенная самим Аркадием и превращенная в самостоятельную книгу рукопись «Черновика чувств», благодаря чему она и сохранилась.

«...Два голоса» – один из них Аркадия – эмоциональный, даже резкий, временами надрывный, на грани крика. Этот крик слышен и сегодня – поводов к тому прибавляется ото дня ко дню: вот и памятники «усатому убийце» восстанавливают – даже и в московском метро. Дела...

Зато голос Натальи Белинковой, в главах перемежающих сохранившиеся страницы белинковских текстов, звучит спокойно (можно только догадываться – чего ей это стоило) даже при описании тяжелейших испытаний, через которые им с Аркадием довелось пройти. Белинкова не злоупотребляет аллитерациями, инверсиями, образностью, что в контексте этого повествования могло бы стать помехой – слог ее чист, внятен и этим она достигает высокой степени художественности – читать ее главы хочется, не отрываясь.

Пересказывать даже просто их содержание было бы непозволительно, а очень хочется, чтобы читатели узнали об этой замечательной книге, вышедшей мизерным тиражом, которого, наверное, не достанет даже и тем, кому надо бы книгу иметь в первую очередь – соратникам Белинкова по литературе, сидельцам тех лет, да просто всем, кому довелось быть с ним знакомым. Но и иным его университетским коллегам здесь, в Штатах и в Европе, не всегда одобрявшим его борьбу с советским режимом...

А не стало этого замечательного человека в семидесятом году – немного успел он прожить здесь, в усло-



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

виях, когда его таланты оказались широко востребованы – в американских и европейских университетах, в издательствах... Совсем немного не дожил Белинков до своего пятидесятилетия, и двадцать лет до крушения режима, борьбе с которым он посвятил свою недолгую жизнь.

А книга – осталась, как памятник людям, чьи судьбы были принесены в жертву борьбы за их идеалы, осталась как наглядное пособие поколениям – дабы не вернулись времена, в которых были погублены жизни миллионов современников...

К сожалению, совсем не богата книга иллюстрациями, всего одна вклейка с уникальными фотографиями... Хотя и откуда бы им взяться, ведь остались дома при победе, были изъяты при обысках, да и просто потерялись!

Но и при этом, в книге все с лихвой окупается «выпуклостью», живостью образов, описаний ситуаций, нередко по существу просто «дантовских», через которые довелось пройти Белинковым – это я отношу к текстам пера самого Аркадия, но и Натальи – повторяю, блестящей рассказчицы, выпускницы Московского университета, владеющей превосходным повествовательным слогом, отточенным в годы работы в Литературном институте и в издательствах, в ее публикациях в «Новом мире», а после побега – в эмигрантских русских изданиях.

Ну вот, скажет читатель – Половец опять хвалит книгу, едва она попала к нему в руки...

Так вот, признаюсь: книг в руки мне попадает немало – и я искренне признателен авторам или издателям, их присылающим. Только далеко не все из присланного, а то и найденного на полках магазинов, побуждает меня сразу же «взяться за перо» – отложив прочее, иногда и, казалось бы, неотложное.

А эта книга – из числа, захвативших меня полностью – от первых ее страниц и до самых последних с библиографией (коих без малого двадцать три страницы!), что само по себе дает представление о колоссаль-

ной работе, проделанной автором-составителем, но и определяет масштаб фигуры самого Аркадия Викторовича Белинкова.

Признаюсь, не утерпел я, взяв книгу, сразу заглянул в ее последнюю главу «Вместо эпилога», и подзаголовок: Российские единомышленники об Аркадии Белинкове. Кто они? Назову только некоторых из числа пришедших в октябре девяносто шестого года в Центральный дом литераторов на встречу, посвященную памяти Белинкова: Г. Беляя, А. Гинзбург, Д. Данин, Л. Зорин, С. Лесневский, Л. Либединская, И. Лиснянская, М. Литвинов, П. Набоков, Б. Сарнов, М. Чудакова... это «шестидесятники», причем иные приехали из дальних мест, где они оказались, нередко и из эмиграции.

А вообще-то, список можно было бы продолжить, включив в него и всех нас, кто оставил страну, оторгнувшую от себя своих граждан, в разные годы, при разных обстоятельствах – но по схожим причинам. Но только среди немногих, Аркадий с женой Натальей нашли в себе мужество бежать оттуда, подвергая себя опасностям и многим житейским коллизиям, которые им довелось испытать.

Мне же эта книга помогла пополнить отрывочные сведения, которыми я располагал ко дням знакомства с Натальей Белинковой о беглецах.

Лично с Аркадием познакомиться я не успел, о чем буду жалеть отныне, и о чем написал Белинковой, перевернув последние страницы книги. И спустя день, прочел ее ответ: «...А в том, Вы что с Аркадием нашли бы общий язык, я не сомневаюсь».

И ведь правда, где-то рядом проходили, а встретиться не случилось. Жаль...

А сейчас мне только и остается, что позаимствовать у классика часть заголовка этих заметок, вполне соотносимую с личностью Аркадия Викторовича Белинкова.

США

«...Твоих холстов не общего убранства»

Галина ДАНИЛЬЕВА

К истории двух портретов Марины Цветаевой

Встреча первая

Мальчик родился в Одессе. В прошлом веке и позапрошлой империи – в царской России.

Его звали почти невыносимым для Москвы и таким обычным для Молдаванки именем – Файтель. Мама называла сыночка Файей, Молдаванка – Филей (Семен Липкин тоже будет величать друга по-одесски); позже, в художественном училище, Файтель Мулляр будет прозван «Сезанном».

В августе двадцать третьего Файе-Филе было двенадцать лет, Марине Цветаевой почти тридцать один, и минул уже год и три месяца, как она с дочерью Ариадной покинула советскую Россию.

Даже в городе у моря, где лето живет дольше, все-таки прощание с ним начинается в августе, в месяце, когда заканчиваются летние каникулы.

К новому учебному году покупал необходимое и Файтель Мулляр в магазинчике с огромным старым каштаном напротив, тремя шербатыми ступеньками перед дверью и всегда будто немножко испуганным окликом колокольчика... В тот день вместе со стопкой купленных necessities мальчик унес сборник стихов Марины Цветаевой «Версты». Сборник вышел в Москве, в двадцать втором году, и на его обложке был изображен Амур с завязанными глазами. Книжица не была оплачена.

Случайно ли она оказалась примкнувшей к тетрадкам в клетку и линейку, контурным картам и учебникам? Или прельстило что-то будущего художника – мальчик отдаст всю свою большую жизнь живописи – может быть, слепой Амур? Кстати, обложка книги была оформлена художником Вышеславцевым. Среди строк, посвященных Мариной Цветаевой этому человеку, есть и такие: *«Над дремлющей борзой склонюсь – и вдруг – / Твои глаза! – Все руки по иконам – / Твои! – О, если бы ты был без глаз, без рук, / Чтоб мне не помнить их, не помнить их, не помнить!»*

А молва, что Филька Мулляр «украл Цветаеву», порхала по Молдаванке...

...В другом веке, веке новеньком – ХХI, известный художник Файтель Лазаревич Мулляр вспоминает без сожаления об этом давнем проступке, вспоминает в Москве, в легендарном Брюсовом переулке, в квартире, служащей одновременно и мастерской.

Огромное окно, цветущие веточки багульника, особенно трогательные оттого, что за окном хотя и конец марта, а зима не покинула город и укрепились невиданными оледенелыми крепостями сугробов. А еще в окне прорастает, возвышаясь над заводью машин, тянется к все-таки весеннему небу храм Воскресения Словущего, что на Успенском Вражке, хранящий чудотворную икону Божией Матери «Взыскание погибших». Ту самую, перед которой двадцать седьмого января двенадцатого года венчались Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Вот такая неслучайная случайность, имя которой – судьба...

В комнате с огромным окном немного картин развешено по стенам; гораздо больше, скрывая себя и друг друга, в тесной роскоши дремлют на полу за мольбертом, прислонившись к могучему книжному шкафу. На подрамнике – портрет, подле – другой. Оба датированы сороковым годом.

...В тридцать девятом в СССР, вслед за приехавшими в тридцать седьмом дочерью и мужем, вернулась Марина Ивановна Цветаева с четырнадцатилетним сыном Георгием (Муром). Плавание из Европы, в которой – Гитлер, в Россию, в которой – Сталин. Последний раз семья собирается вместе – Болшево, дача НКВД, поселок «Новый быт». День ангела Марины – тридцатое июля – последний праздник. Арест дочери в августе, мужа – в октябре.

Бездомье, безденежье, безысходность. С декабря тридцать девятого по июнь сорокового – жизнь между Домом творчества писателей в Голицыне и Лубянкой в Москве. Многострочие переводов и последние строки собственных стихов.

В это время от поэта Семена Липкина узнает Марина Цветаева о мальчике из Одессы, укравшем когда-то ее сборник «Версты». Мальчик стал художником.

Летом сорокового ему посчастливится жить в Доме творчества художников, что в семи верстах от ее



Тарусы, от Тарусы детства Муси и Аси Цветаевых. В то лето будто попрощаться с началом пути, будто окольцевать жизнь, как стихотворение, придет Марина Цветаева в последний раз в свой маленький городок на берегу Оки...

Случайно узнав, что Файтель Лазаревич в Тарусе, Марина Ивановна захочет навестить его, но они разминутся. Весть о том, что «к нему приезжала Цветаева с какой-то женщиной», растревожит художника, а ощу-

щение недавнего ее присутствия позволит самому воображению водить кистью. Так родится портрет-видение, портрет-легенда: портрет Марины Цветаевой, заглядывающей в окно комнаты-мастерской художника в его отсутствие. Правда, комната была на втором этаже, но ведь и гостя была не простой, а той, что умела сниться, и иногда сама становилась сбывшимся сном...

Тем же летом Файтель Муллер окажется в Переделкине со своим другом, Семеном Липкиным, – будут



подыскивать ему дачу; припозднятся, зайдут к Борису Пастернаку и встретят там приехавшую Марину Цветаеву. Так состоится знакомство воочию.

Эта встреча поэта и художника – и другая, мимо-летняя, зимняя в Гослитиздате – сделали возможным дополнение иконографии Марины Цветаевой еще одним портретом, написанным хотя и по памяти, но при жизни поэта...

...Глядела вглубь себя зеленою глаз будто без зрачков, курила непрерывно, забывала стряхивать пепел, и он в свободе своей тихонько опускался то на грудь, то на краешек юбки... Демон – *ничего – все* видящий...

«Демон, в образе поэта-женщины, трагический символ лица», – так об этом портрете скажет сам художник.

Первым же был все-таки «портрет-легенда».

Вертикальный холст, как узкое окно, густая зелень лета – основной тон несколько сумеречного мазка, взгляд из глубины пространства – собственно, взгляд пространства, которое есть временное жилище художника, – встречается со взглядом, точнее вглядыванием-заглядыванием в окно женского лица, «символа лица»... Остальное предоставляется допонять зрителю, который не сможет не увидеть детали-символы жизни творца: распятие, жертвенную чашу, алеющую как рана...

Этот портрет – подарок художника Культурному центру «Дом-музей Марины Цветаевой». Другой же тогда остался жить в тихой квартире с цветущим багульником – в квартире-мастерской заслуженного художника России Файтеля Лазаревича Муллыра, в Брюсовом переулке, в московском мире избранных, что рядом со всеобщей Тверской...

Мы уходим в этот холодный, но яркий мартовский день от художника, прошедшего через беды войны, знавшего Мандельштама, Ахматову, Пастернака, Мейерхольда и многих, многих других; мы уходим из дома, где не вянут цветы с лугов прошлого века, ибо живут на холстах...

Мы уходим растревоженными простотой слов прощания: «Не забывайте меня...»

Встреча вторая

Август две тысячи пятого года. Лето, будто яблоко, вырвалось из дырявого мешка буден и покатилося на встречу осени... Сегодня в Марининном Доме оба портрета Марины Цветаевой работы Файтеля Муллыра (достаточно удачно окантованные и явленные зрителю так, что и незрячие разглядели бы) вывешены на одной из стен прихожей квартиры номер три, мемориальной квартиры поэта. Прихожая, по словам Марины Цветае-



вой, – «место, где все начинается», но здесь же и завершается путешествие по «дому-кораблю».

И хотя, покидая в двадцать втором Борисоглебский дом, Марина Ивановна еще не переступила черты тридцатилетия, вглядываясь в трагедию ее ухода из жизни, логично остановиться перед портретом сорокового года, прижизненным портретом поэта, провидящего свою Елабугу; так уж случилось, что – Елабугу. Дату же своего ухода, «сухое лето», она назвала еще в начале сентября тридцать шестого...

Час нашего второго совместного визита в Брюсов переулок директор музея Эсфирь Семеновна Красовская (отношения которой с Файтелем Лазаревичем уже с первой мартовской встречи были заявлены как «служебный роман», а к августу доросли до служебно-сердечного) оговорила еще на прошлой неделе. Поэтому у меня было время прочесть поэтический сборник художника «...Мне было сказано». Книжечка-подарок тиражом в сто экземпляров вышла во всех смыслах подарком – и художнику, и нам – в издательстве «Доброе слово» благодаря любви-служению его друга Ирины Георгиевны Мясниковой. Вместо предисловия дан отрывок из ее дневника. И в этом документе (что документальнее дневника?) читаем: «Я встретила не эффективное оригинальничание, а глубокое своеобразие и непреходящую чувственность в передаче своей Натурицы – Вселенной».

А книжица открывается – на обороте обложки под портретом автора его стихами:

*...Уйди из объятий Каинова панибратства,
Вот хлеб насыщенный, и насыщное вино,
и корни древа.
Младая жизнь блудливо возвернется в чрево
Твоих холстов не общего убранства.*

Вот оно – вот формула, в которой квинтэссенция первого сердечного ответного удара: *холстов не общее убранство*.

Нас ждут. Художник свежесвыбрив, в ослепительно-голубой наглаженной рубашке, которая ему к лицу. Файтель Лазаревич гуляет, к сожалению, не ежедневно, но выглядит загоревшим, как человек, живущий под солнцем. Под своим солнцем? Так это же, наверное, солнце его Одессы, его детства, с которым художники умеют не расставаться.

Окно. В марте – багульник, в августе – рябина. Конечно же, рябина. Еще не ржавая, но вполне вошедшая в силу: кисти тяжелые, покорные, красные, а листья совсем летние – ясно-узорчатые, густо-зеленые.

Серьезная наполненность разговора с директором о выставке работ Файтеля Лазаревича в музее, о каталоге, об афише, пригласительных билетах. И – куда деваться? – о материальной стороне, необходимой для воплощения задуманного, такого долгожданного.

Присутствующая здесь же Ирина Георгиевна перебирает картины: окантованные – только что с выставки, их шестьдесят – и неокантованные, исполненные в смешанной технике, написанные маслом; акварели, чисто графические работы и те, которые иначе как фресками назвать не могу.

Эсфирь Семеновна мгновенно превращается в девчонку-лакомку в кондитерской: «Все хочу. Это обязательно. Это тоже. Это совершенно замечательно! И этого Пастернака, и того Бабеля, Мандельштам нам нужен (еще бы!), Эрнбург пригодится, портрет Ахматовой в унисон с нашим скульптурным портретом – повесим рядом... Все беру, все».

Множество и многообразие работ. Библейские сюжеты, по-своему прочитанные художником, пронзительно звучащая еврейская тема с вплетенным в нее мотивом детства; портреты, в которых живет время, которые время переживут. Путь от Серебряного века к железному сквозь войну... Провинция довоенная. Война. Руины послевоенные... Натюрморт, натюрвив... Обнаженная натура... Обнаженная до потаенного, до сокровенного, до божественной открытости – до правды.

Ахматова когда-то сказала, перелистывая иллюстрации Муллера к рассказам Бабеля: «От Библии до Бабеля у него все годится». И это все – только жизнь, одна-единственная, такая короткая жизнь художника, жизнь человека, какой бы длинной и богатой на встречи и разлуки она ни была...

Стен-то не хватит. Две выставки! Черда тематических!

Что Бог даст. Что сможем. Что успеем...

И мне – рассказ о «коллекционере, сыне коллекционера», который приходил, говорил много слов – все слова восхищения, записывал двенадцать часов рассказы Файтеля Лазаревича на диктофон, один раз даже позвонил «аж из Америки» и – пропал. И еще – о телевизионщиках, продержавших художника под зонтиком и слепящим светом лампы три часа – снимали для передачи, а ничего так и не показали...

Мне совершенно ясно, от чего устал художник и человек в возрасте девятиности пяти лет, чего не хочет, – устал от пустой траты времени и сил, безрезультатности общения и разочарования, от нового гостя, забредшего в его дом и тревожащего память, а значит – душу.



Файтель Лазаревич говорит мне, наклонившейся-потянувшейся к нему, будто боясь не расслышать, обронить даже не слово, а интонацию. Он говорит свое кредо, которое надо услышать: «Хребет, на котором ребра жизни: жизнь слишком коротка, чтобы понять, есть Бог или нет».

Молчу – понимание (мгновенное) с вопросом-возражением (робким): а может, не надо понимать, ведь понимают умом, а Бога, как говорила Анастасия Ивановна Цветаева, надо не умом, а сердцем и тогда – *принять* вместо *понять*? И ведь в этом нет противоречия, если вспомнить слова святителя Григория Паломы: «Сердце... есть хранилище помыслов. Сердце есть сокровенная хранилища ума и первый плотский орган мыслительной силы».

Но я ничего не сказала, я только слушала дальше, каждое слово и мысль прятала в себе, чтобы потом, позже, наедине...

Дальше было о войне, которую видели глаза очевидца-художника и о которой рассказано на холстах и листах.

«...Вспоминаю, как генералу де Голлю преподнесли мою работу. Тот этюд, на котором пленение Паулюса. Де Голль такую благодарность высказал, стал говорить о слиянии двух культур – французской и старой русской... Слезы не текли, но на глаза наворачивались. Держал руку де Голля, президента Франции, однако дело не в этом.

Они уехали. Получаю «повестку» на почту. Оказывается семья де Голля выслала мне в Москву два тома Истории французского романтического искусства, живопись. Иду на почту – не отдают. Говорят: «Вечером приехали – забрали...» Кроме этой «повестки» на почту у меня ничего не осталось...

Рассказывает о том, как Долорес Ибаррури приехала в Сталинград. «Она в рабочей печати выступала под именем Пассионария – „Пламенная“. Ее сын Рубен – погиб в сорок втором, защищая Сталинград. Не могли найти его могилу. К приезду матери, по распоряжению обкома, привезли из степи землю, из степи же – тюльпаны. Оградить было нечем, так спинками металлических кроватей оградили... и попросили меня написать это. Я отказался. Обманывать мать, говорить, что здесь лежит ее сын! Может быть, надо было это сделать, но я не смог...

И все-таки в сорок четвертом году меня попросили съездить в Сталинград написать дом Павлова, исторические, не остывшие еще руины.... Встреч было много – Василий Гроссман, Константин Симонов... Вот, если это интересно, то я могу рассказать...»

Но нам надо было расставаться, и, как оказалось, опять надолго...

«Файтель Мулляр – художник с Молдаванки, или художник из Зурбагана» – рабочее название материалов к биографии в жанре пересказанных историй.

Поэтическая Россия.

Взгляд из «прекрасного далёка»

Анатолий БЕРЛИН

*На родину Есенина и Блока,
В Россию Пастернака, Гумилева
Вернётся позабытая эпоха
Серебряного пушкинского слова.*

В 1999 году, в наиболее тяжелые перестроечные годы, открывая в российском посольстве в Вашингтоне юбилейный вечер, посвященный 200-летию юбилею А.С. Пушкина, Сергей Юрский сказал буквально следующее: «Русская культура, основателем которой явился Александр Сергеевич Пушкин, просуществовала двести лет»... Позже, в личной беседе он пояснил: «Все это в России уже никому не нужно и умрет вместе с нами».

Прошли годы... Миновали тяжелые для культуры времена, и стало ясно, что великий актер, к счастью, ошибся в своих прогнозах.

Надеюсь, что нотка оптимизма, зарифмованная мною в приведенном четверостишии в противовес предсказанию Сергея Юрьевича, не была предсудительной. Заметим, однако, что эта «нотка» относилась исключительно к поэзии – далеко не самому массовому, не самому «зрелищному», а потому и едва ли не самому «чуткому» показателю состояния культуры. Продолжив свои последующие рассуждения применительно именно к поэзии, предоставляю читателям возможность самим экстраполировать высказанные в этой заметке мысли на понятие культуры в ее самом широком смысле.

Начиная разговор о перспективах развития русской поэзии, хочу опять обратиться к Пушкину, как «солнцу» нашей поэзии, отправной ее точке.

Меня однажды спросили: «Как вы думаете, сколько еще лет в России будут помнить (читать) Пушкина?» Я сначала слегка растерялся от такого «кошунственного» вопроса, и, поняв позже глобальную его сущность, попытался честно ответить на него хотя бы самому себе.

С одной стороны, не секрет, что многие столичные школьники старших классов не могут внятно объяснить смысл пушкинских строк: «бразды пушистые

взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке»... И я лично не усматриваю в этом ничего предсудительного: меняются времена, нравы, атрибутика и, соответственно, исчезают и нарождаются слова и понятия, отражающие иной быт. Изменяется язык.

С другой стороны, язык Пушкина был, есть и останется навсегда той основой, фундаментом, на котором, собственно, и зиждется сам «великий и могучий».

При всем сказанном, мне представляется очевидным, что ответ таится не в сфере лингвистической, «культурологической», а в сфере, как ни прискорбно признать, политической.

Если предположить, что на каком-то витке развития российского общества по неизвестным нам причинам «властям» понадобится (не приведи Господь!) низложить «наше все» и предать забвению его имя, то, убрав изучение Пушкина из школьных программ и прекратив переиздание его произведений, и без того достаточно тонкая популяция «хранителей прекрасного» постепенно «уйдет с миром», и, спустя всего одно поколение, можно будет с горечью констатировать печальный факт забвения имени демиурга, создателя современного русского языка и гения литературы, каким является Пушкин.

А пока, не перевелись поэты на Руси! И дело не в том, каков почтовый адрес поэта – тот факт, что значительная часть произведений создается сегодня авторами, по тем или иным причинам проживающими вне России, лишь подтверждает глубокую любовь к русскому языку тех, для кого он остается родным, пушкинским.

В этой связи расскажу лишь об одном, близком мне факте. Вот уже более двенадцати лет в Лос-Анджелесе существует небольшой островок русской культуры, своеобразная сцена, с которой лучшие ее представители общаются со своей зарубежной аудиторией. В литературно-музыкальном салоне «Дом Берлиных» русская поэзия и музыка являются предметами культа и отношение к русскому поэтическому Слову здесь самое трепетное.

Два года тому назад «Дом Берлиных» учредил ежегодную литературную премию «Серебряный стрелец».



География проводимого нами конкурса – Россия, Америка, Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Туркмениния, Белоруссия, Украина; возрастной состав участников – преимущественно молодежь двадцати-тридцати пяти лет, уровень представленной поэзии, состав судейской коллегии – двадцать один судья из четырнадцати стран мира, – яркое подтверждение того, что русская поэзия находится на новом витке своего развития. Век технологий, подаривших людям планеты возможность мгновенного общения, во многом способствовал «выживанию» всей мировой культуры и русской поэзии, в частности.

Этим летом мы с женой побывали на родине. Хочу прокомментировать еще один важный, с моей точки зрения, феномен возрождающейся России: склонность к реставрации былых, к счастью, не полностью утраченных, ценностей.

Не знаю, замечают ли, скажем, петербуржцы то, что нам бросилось в глаза и приятно поразило: возвращается старая российская символика, возвращаются имена и названия, даже рецептура блюд...

Реставрируются здания, бывшая культура интерьера, налаживается изготовление предметов искусства в старых добрых традициях императорских фарфоровых заводов, великих мастеров прошлого...

Одним словом, идя вперед, Россия бережно воссоздает традиции дореволюционных времен, величие своей культуры. Не могу себе представить, чтобы следуя подобным путем, она с такой же мудростью и терпением не стала воссоздавать культуру и правильность речи – былой ее «флёр». «Вначале было Слово»...

Не думаю, что в свой следующий приезд мне удастся услышать: «Не соблаговолите ли Вы, сударь?..» или нечто подобное, но то, что язык станет правильнее, культурнее, изящнее, что он постепенно очистится от позднейших наслоений, на это я надеюсь и не без оснований.

По тому приему, который мне как поэту был оказан в Петербурге, Москве, Переделкине, по реакции слушателей, пришедших на чтения, по последовавшим предложениям от музея А.С. Пушкина на Мойке и от переделкинского Дома творчества о дальнейших встречах, я могу судить о том, что интерес к поэтическому слову не иссяк, изящная словесность продолжает быть частью нашей культуры, той культуры, без которой, по опре-

делению Юрия Карякина, «нет достоинства, нет „самостояния человека“, без которой трудно или невозможно ориентироваться в мире этом, зато легко потерять – потерять себя в нем, запутаться». Голоса поэтов современности множатся, крепнут и слышатся все яснее и громче.

Вслед за пушкинским откровением, поднимающим нас до философского величия строки: «Я жить хочу, чтоб думать и страдать», автор настоящего эссе позволил себе в своеобразной «переключке времен» продолжить мысль Поэта, поставив перед современными творцами новую цель: «...и многое познать, чтоб выжить, и выжить, чтоб затем познать».

Успехов Вам, Ваше Величество Поэзия!

Возвращаясь к «Памятнику»

В продолжение дискуссии, разгоревшейся в свое время на страницах литературного Альманаха «Интер-Лит», участников которого хочется поблагодарить за столь трепетное отношение к истории русской изящной словесности, позволю себе привести несколько собственных умозаключений по вопросу «Памятника», после чего постараюсь сделать соответствующий вывод.

Начну с того, что «Пушкинский Календарь», изданный в 1937 году издательством «ОГИЗ» к столетию со дня гибели поэта, открывается исследуемым нами знаменитым стихотворением, упакованным в соответствующую советскую пропагандистскую обертку:

«Великий русский национальный поэт стал родным и близким для рабочих, колхозников...» Далее цитировать нет необходимости.

Книга «Звезда пленительного счастья»¹ также открывается великим «Памятником». Далее цитирую: «А он с полным правом – как никто другой из поэтов – мог сказать о себе в конце жизни: “Я памятник себе воздвиг”... Этот памятник – все его творчество...»

В пушкинской энциклопедии², отмечено: «В своем знаменитом “Памятнике”... Пушкин с воодушевлением перечисляет все недавно завоеванные русскими народы, которые рано или поздно откроют его книги».

И еще: «Эпиграф взят из оды Горация “К Мельпомене”»³.

В своем эссе «Александр Пушкин и его время» некто В. Н. Иванов пишет:

¹ А. С. Пушкин. «Звезда пленительного счастья», Москва 1990.

² Пушкинская энциклопедия 1799–1999, Москва 1999.

³ Александр Пушкин, Жизнеописания, факты и гипотезы, Москва 1996.



«Позднее поэт напишет, уже в Михайловском, стихи «Желание славы»:

*...Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражён всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Всё, всё вокруг тебе звучало обо мне...*

Но ведь эту славу Пушкин уже имел тогда... И, может быть, эти стихи „Желание славы“ были как бы первой наметкой к величественному „Памятнику“ поэта.»

Если проанализировать отношение В. Н. Иванова к сложным, как общеизвестно, взаимоотношениям Поэта с адресатом его стихотворения — графиней Елизаветой Воронцовой и ее мужем, наместника его Величества графа Воронцова, то становится очевидным изрядное «лукавство», с которым он пытается обелить Пушкина в очередной, весьма неблагоприятной любовной интриге поэта. Но это — тема совсем другого диспута. Нас же интересует в этой связи только тот непреложный факт, что Пушкин к тому времени, действительно, был в зените славы. Только очень известному поэту могли сойти с рук подобные «проказы» в адрес столь высокой особы.

Из полного собрания сочинений⁴ узнаем, что стихотворение «Памятник» при жизни Пушкина не печаталось. И далее: «В автографе помета: 21 августа 1836, Каменный остров». «Стихотворение является вольным переложением оды Горация, с заменой соответствующих мест характеристикой собственного творчества. Переложение это сделано по образцу подобного же переложения Державина».

С другой стороны интересно отметить, что ни в одном из имеющихся лично у меня изданий, являющихся «сводом архивных материалов и подлинных свидетельств современников»⁵, я не нашел материалов, отражающих значимость стихотворения «Памятник». И если бы этому стихотворению в то время придавалось какое-либо серьезное значение современниками, то оно, бесспорно, было бы упомянуто ими наряду со скрупулезными отчетами о долгах поэта и прочими подробностями его жизни.

По-моему, начатая Лениным и Луначарским еще на заре советской власти канонизация Пушкина как осно-

вателя русской литературы, использовала стихотворение «Памятник», не вдаваясь в детали его написания, в качестве самого яркого свидетельства «народности» великого барда.

Это цельное, хотя и не оригинальное произведение, с моей точки зрения, являлось программным как для Пушкина, так и для ряда других поэтов «всех времен и народов». В нем поэты, не стесняясь подражать друг другу, считали своим долгом взойти на нерукотворный пьедестал. Пушкин же, который, по всей видимости, не мог не думать о возможных трагических последствиях своих многочисленных опасных конфликтов, тем более посчитал необходимым написание своего варианта «Памятника».

Допустимо предположить, однако, что для Пушкина «Памятник» мог явиться данью моде, своего рода эстафетной палочкой, или просто шуткой, баловством, которому он сам лично большего значения не придавал, ибо в противном случае такое весомое и, безусловно, благонадежное, с точки зрения цензуры, произведение увидело бы свет при жизни Поэта.

А, может, он просто не успел? Жизненные обстоятельства в ту пору складывались для Александра Сергеевича самым неблагоприятным образом: огромные долги, сложные взаимоотношения в семье, скандалы в «свете». До шуток ли и пародий ему было? Ведь менее чем через три месяца после написания «Памятника», в ноябре тридцать шестого года Пушкин отправил Дантесу письмо с вызовом на дуэль...

Как бы то ни было, спасибо Александру Сергеевичу за «Памятник». Мы выросли с этим произведением на устах, мы пронесли его через всю жизнь, поколения русскоязычных народов необъятной России помнят его наизусть. Поэт оказался пророком. И это главное.

При подготовке к двухсотлетию юбилею Пушкина у меня возникла необходимость перевести «Памятник» на английский язык, что я и сделал, стараясь сохранить в своем переводе не только основное содержание, но, что не менее важно, и «музыку» этого послания Поэта потомкам.

P.S. Повторюсь: Пушкин явно не претендует на оригинальность. Напротив, присутствует сознательная и очевидная ссылка на предыдущие варианты.

⁴ А. Пушкин «Золотой том», Полное собрание сочинений, Москва 1997.

⁵ В. Вересаев «Пушкин в жизни», Советский писатель, 1936. Переиздан 20 лет спустя в двухтомнике из серии «Жизнь гениев», Лениздат 1995; Г.М. Дейч «Все ли мы знаем о Пушкине», Москва 1989.



С тем, что последний катрен заставляет задуматься о цельности всего стихотворения, пожалуй, соглашусь. Лично я посоветовал бы, скажем, другому закончить «Памятник» на четвертом катрене (в любом из двух известных вариантов). Но опять же, кто посмеет критиковать Поэта? Остается попытаться заглянуть ему в душу... На тот момент Александр Сергеевич почему-то решил обратиться к своей Музе с просьбой, изложенной в последнем четверостишии, и мы, действительно, никогда не узнаем в точности, что эти горькие, саркастические строки могли означать...

У меня, однако, имеется своя версия, по которой в этом заключительном (а он и на самом деле был едва ли не последним) катрене Пушкин обращается к самому себе, пытается урезонить свое восставшее эго:

*Веленью Божию, о Муза, будь послушна,
(Принимай все так, как суждено Богом).*

*Обиды не страшась, не требуя венца,
(Поэту была нанесена страшная обида, после которой и венец не так уж значим).*

*Хвалу и клевету приемли равнодушно
(Пожелание себе не обращать внимания на обиды, клевету и хвалу, которые не важны в предчувствии надвигающейся гибели).*

*И не оспаривай глупца.
(Не спорь со «светом» — он того не стоит).*

Заканчивая свое эссе, не удержусь от соблазна познакомить читателя со своим «Памятником»... Насколько ирония переплетается в этой работе с нескромностью автора, судить вам.

Лос Анджелес
США

ПАМЯТНИК

*Воздвиг я памятник вечнее меди прочной...
...нет, я не весь умру...*

Гораций;

*Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...
...весь я не умру...*

Державин;

*Я памятник себе воздвиг нерукотворный...
...весь я не умру...*

Пушкин;

Я в свой черёд взойду на пьедестал
И памятником стану после смерти,
Надеясь не смутить мемориал
Иронией безумной круговерти.

Поэтов единит Пегаса зов.
Когда стихов армада за плечами,
Нерукотворный грезится ночами,
И маятник рифмует бег веков.

Благословен компьютерный экран,
С которого читают наши лица.
Полночных бдений виртуальный храм
Хранит надёжно каждую страницу.

Каким бы ни был способ бытия,
Но на излёте завтрашнего акта
Отыщут в хламе диво артефакта —
Мой стих, в котором: «...весь не умер я».



ПУШКИН

*I Feci quod potui, faciant
meliora potentes**

Я – гения российского потомок.
Мой скромн дар, и голос мой негромок.
Пожар поэзии горит в груди моей,
Знакомые рождаются сюжеты,
И образы забытых давних дней,
Привычным ямбом будучи согреты,
Витают в зодиаке «Близнецов»**.

Их бег веков неумолимо множит.
Душа Поэта их воспеть не может,
Покуда не найдёт, в конце концов,
Себе приюта.
Муза растревожит,
Помедлив, торопливых двести лет,

Оставленный в снегу кровавый след;
Вздохнёт опять привычно и свежо
Поэзии российской божество.

Обворожит восторженностью станса,
Где рифма восхитительно легка,
Восходами наивного румянца
Смущения,

забытого слегка,
Элегии пленительной строкой,
Записанной задумчивой рукой...

В обличье новом явится поэт
И сочинит ликующий сонет.

NON OMNIS MORIAR***

Нет, весь не умер я!
Душа в заветной лире
Пережила мой прах и снова обрела
Частицу, ощутимую в эфире,
С надёжною опорой для пера;

Порывистость, характер мой неровный,
Отвага эпиграмм и острый шарж ...
Поэзии слугитель благородный,
Готовлю в путь свой старый экипаж.
Пройдя короткий путь во имя чести,
Покинул этот мир без чувства мести,
И, одолжив у вечности минут,
Я, обмакнув стило, вернулся снова
В стихию осени, к родной науке слова,
Воспеть земли заброшенный уют...

NIHIL EST IN INTELLECTU, QUOD NON FUERIT PRIUS IN SENSU****

Арины Родионовны сказанья
С младенчества он помнил наизусть.
И старенькая пушкинская няня,
Поэзии не ведавшая суть,

Лелеяла преданья старины,
И видел мальчуган цветные сны:
Попа, его работника Балду,
Царевну-Лебедь со звездой во лбу,

Людмилу, что похитил Черномор,
И рыбки человеческий разговор,
Гвидона – князя с белкою волшебной,
Хрустальный гроб со спящею царевной

И даже золотого петушка,
Что вынул старый евнух из мешка.

* Я сделал то, что мог; кто может, пусть сделает лучше (лат.).

** Автор так же, как и А.С.Пушкин, родился под знаком «Близнецов».

*** Весь я не умру (лат.).

**** Нет ничего в уме, чего бы не было раньше в ощущениях (лат.).



**HOMO SUM, HUMANI NINIL
A ME ALIENTUM PUTO***

Французских просветителей идеи
Витали мыслью дерзкою по миру,
А Пушкин, ещё будучи в Лицее,
Уже писал "Руслана и Людмилу" –
Поэму образов, коварства, наставлений,
Любви прекрасной, сердца откровений...

Двору, салонам, дамам полусвета –
Друзьям минутных слабостей поэта,
Открылась истина, что состоялся гений
Среди балов, театров, впечатлений,
Признания бесчисленных грехов,
Обид и ссор, и писем, и стихов,
Что не поглотит гордого эстета
Река забвения, зовущаяся Лета.

Эмоций нераскрытый фолиант,
Страстей поклонник, дерзкий дуэлянт,
Он душу Петербурга постигал...
И следовал за балом новый бал.

ARS LONGA, VITA BREVIS**

На холмике, зовущемся Парнасом,***
Умолкли птицы, стало тихо разом.
Сосна седая помнит двести лет,
Как приходил к её стволу поэт.

Он не был счастлив в этом мире прозы
И повседневной мерзости людской.
Прекрасные порывы, словно розы,
Хранят недолго тонкий запах свой.

Перо остыло,
 чуждое мгновенье,
Как облако на небе, разошлось...

Необоримой волей Провиденья
Тревожат музы наше поколение,
И тянется рука к изгибам лиры...

Вернитесь, павшие кумиры!

JUNCTA JUVANT****

Наш баловень поэзии печальный
Страстями жил.
Уже и берег дальний
Был дымкою столичных фонарей
Окутан.
Зарево идей
Сильней пылало.
Всё смелей и резче
Он остроумием опасным в залах блещет
И, вольнодумством модным увлечён,
Дуэль ведёт и с властью, и с царём.

Союзы тайные, восторженные речи
И с Чаадаевым бесчисленные встречи;
Достойная дворянская забава –
Игра в отмену крепостного права.
Монархия, республика, свобода
И счастье угнетённого народа,
Аристократов мысль – убить царя,

Кровавая декабрьская заря...
А ветер воет над Невою злее...
Бестужев, Кюхельбекер, Трубецкой,
Полковник Пестель, либерал Рылеев
Готовят план невыполнимый свой.

Поэт наш, от столицы отлучённый,
Михайловскою ссылкой награждённый,
Не смог примкнуть в своём раденье штатском
К восстанью декабристов на Сенатской.

Узнал он позже, брат семьи опальной,
Об акте заключительном, финальном.

Остался шрам на камне, на мундирах,
В казарменных конюшнях, на квартирах,
В истории российского дворянства,
В душе поэта, в судьбах государства.

* Я – человек, ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

** Искусство вечно, жизнь коротка (лат.).

*** В селе Бернове Тверской области, где любил бывать А.С.Пушкин, есть холм, прозванный Парнасом.

**** Единодушие помогает (лат.).



LITTERA SCRIPTA MANET*

Друзей своих любить не мудрено:
Вся жизнь проходит с ними торопливо.
Во встречах и прощаниях счастливых
Взрослеем, старимся с друзьями заодно.

А лира именитого поэта
Слетала с кончика пера потоком света,
Играли красками необычайных тем
Полотна ненаписанных поэм.

Влюбляясь в каждую хорошенькую даму,
Пропитанный гармонией и драмой,
Он, небом избранный, творил на радость всем,
Чтоб в сладких песнях передать потомкам
Историю российской славы громкой;
И в Болдино – немойтой стороне,
Забытом захолустье в центре мира,
Слагал предания о гордой старине,
Воспел Петра – жестокого кумира;
«Онегина», зачав ещё на юге,
Дописывал под вой осенней вьюги.
Деревни покосившийся пейзаж
Пропитан был поэзией печальной,
Перо скрипело, таял карандаш –
Работал по ночам поэт опальный;

Объятый тишиной и слогом новым,
Склонялся над «Борисом Годуновым»,
Вёл разговор с тенями не спеша
О Моцарте, об Анджело, Сальери...

Мерцали свечи, до утра горели,
Волнуясь и растроганно дрожа.

И вдохновением его жила душа.

EXCIDAT ILLA DIES!**

На Чёрной речке снег лежал махровый,
Шинель и шуба брошены на снег;
У Комендантской дачи – бор сосновый,
Стволы берёз белели на просвет.

И торопились оба секунданта
Отмерить десять вдавленных шагов,
И пулю француз-иммигранта
Неумолимый рок уж был готов
Пронзить поэта чувственное тело,
Что никогда не надевало риз,
И завершить трагедией умело
Натали Николаевны каприз.

Когда молва для каверзы готова,
Развязка удивительно близка...
Как камень из пращи, взлетело слово
И опустилось прямо у виска.

Душа освободилась от предела,
Молчанием почтив жестокий мир...

Лишь хмурая свеча во тьме горела.
Поэт ушёл.
Продолжил жизнь кумир!

* Написанное остается (лат.).

** Да погибнет тот день! (лат.).

ТАРУССКИЕ ЧТЕНИЯ. СТИХИ

Евгений АВЕРЬЯНОВ

НЕМНОГО О БОДЛЕРЕ

* * *

А. Ф.

Одной княжне

Я наверно придумал свой самый жестокий романс,
С феерическим кружевом этого страстного танго.
Так великий Бодлер уходил с головой в декаданс,
Так наверно пылают цветы неприступного манго.

До Тибетских вершин долетают поэтов слова,
Оголяются чистые, чистые вечные души.
В диком танце кружится, кружится моя голова
Ароматом любви все устои ломая и руша.

Там, где остров Бурбон,
там где нет повседневных забот,
Там, где родина дальше, а мне она ближе и ближе...
Но куда же несёт меня временный друг покобот,
Всё равно я в мечтах перед Вами в цветущем Париже.

Я проснулся в Москве, тяжело, я видеть, занемог,
Телефон разорвался, февраль ещё выюжит и выюжит.
Завтра снова идти как в прицел в перекрестье дорог,
А Бодлер?

Что Бодлер, ведь пишу я, наверно, не хуже.

Не погашу любви свечу,
Как мотылёк летящий к свету.
Но и о чувствах промолчу,
Вы сами скажете поэту,

Как я шагал лихой порой,
Всегда беспечный и безбрежный.
Для Вас единственный герой,
Всегда фатально неизбежный.

Вы мне напомните без слов,
Как жил на гребнях ожиданий.
Любовь – основа из основ,
А Вы предел моих желаний.

И потому сады в цвету,
И потому бушует лето.
А я пришёл и не уйду,
Вам легче погубить поэта.

Чтоб снова встретить Вас...в Раю,
Где осмелев, я крикну в вечность:
– Знай, и у смерти на краю,
Я жив лишь Вами, друг сердечный.

* * *

* * *

Ещё октябрь не расплескал любви последней,
Ещё не смолкли в сердце трели соловья,
А я сегодня будто молодой Есенин
Шагаю в осень. Осень, осень, ты – моя.

Пусть кудри русые порастрепало жизнью,
Пусть серебро висков сгустилось в суете лет,
Пусть каждый день меня ведёт к великой тризне,
Но лучше осени любви на свете нет.

Я знаю, долго мне ещё брести по свету,
За летом осень, неизбежен жизни круг.
Пусть только женщины любовь простят поэту
И небеса намолят мой ушедший друг.

В моей душе ещё так много дикой силы,
Но и меня когда-то в храме отпоют,
И в золотом убранстве родина – Россия
Пускай подарит мне последний свой приют.

*Памяти Президента Польши
Леха Качиньского*

Всплеск-удар и померк белый свет,
От крушения до смерти недолго...
Мне сегодня прощения нет,
Потому, что река моя – Волга.
За тугой непроглядный туман,
За поля, чуть оттаявшей стыни.
За великий и страшный обман
На намоленных долах Катыни.
И просвета у вечности нет –
Снова жертвам могила открыта.
Это к Богу спешит Президент
Со своею блистательной свитой.
Попутру будет чистой роса.
Будет утро бессонным от стоны
Вечных душ, что ушли в небеса
В необъятное Божие лоно.



ЗА СТАРЫМ ЗАБОРОМ

*“... я искала его и не находила его;
звала его, и он не отзывался мне.”
/Ветхий завет. Песнь песней. 5:6/*

За серым забором, дощатым, неровным,
когда-то изящным, давно уж не новым,
устав от цветенья, глициния вянет,
молочная жимолость в нежности тает,
камелия новые тянет отростки...
Я глажу седые, шершавые доски.
Вьюнок-ползунок старый дом обнимает,
миндаль без плодов чуть блестит и сучает,
паук в гамаке закачался над бездной,
да запах откуда-то стружки древесной.
За тихим, усталым, знакомым забором,
где яблони дремлют над яблочным сором,
там память гуляет моя одиноко,
и смотрит ей вслед серо-синее око.

ЛЕСНИК

Ты думаешь, я кто? – Да я ... лесник.
Вот лес шумит, гудит, и в нём есть дело:
вошёл, вдохнул, поговорил, приник –
жалею и лечу больное тело.

Я – ствол среди деревьев, и я здесь свой.
Все доверяют мне свои секреты:
и тишину, и гнев, и скрип, и вой,
смеются, плачут и дают обеты.

И всё при мне. Я без людей привык:
пугают голоса, здесь шаг их лишний.
Меня не привлекает встречи миг,
и берег их чужой, к тому ж – не ближний.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

СВИДАНИЕ С МАРИЕЙ СТЮАРТ В ЛЮКСЕМБУРГСКОМ САДУ

Глядит Мария в Люксембургский сад.
Кому же здесь назначено свиданье?
В каких веках её витает взгляд,
каким столетьям отдано дыханье?

Сияет мрамор. Свечи зажжены –
ещё с апреля их каштаны держат...
И в канделябры ветки сплетены,
и тихий свет над лепестками брезжит...

Придёт ли Он? Падут ли кружева
с озябших плеч
и сбудутся объятья...
Мария ждёт... Ещё свежа трава,
ещё никем не брошены проклятья.

Пока ещё свободен эшафот,
в него покуда трон не превратился.
И как всегда безмолвствует народ,
и этот день последний не случился.

...Цветут каштаны. На земле весна.
Под майским солнцем отдыхает Сена.
Мария ждёт, предчувствия полна,
и вдаль глядит из мраморного плена.

Прекрасен старый Люксембургский сад.
Он помнит много – у него спросите:
в каких веках её витает взгляд?
и кто придёт – палач или спаситель?



ПОЭТАМ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

В душе живут их песен отголоски,
 обрывки строчек,
 отблеск бытия.
 И падают на стол мой капли воска
 от их свечей.
 И длится жизнь моя.
 Мне так легко с далёкими друзьями –
 не потому ли голос мой не стих?
 Глотаю рифмы и дышу стихами
 великих соучастников моих.
 И вместе мы пролистываем будни,
 летим,
 смеёмся,
 плачем между строк...
 И что ещё со мной на свете будет,
 наверно, знает бледнолицый Блок.
 Но он таит, таит свои догадки
 и прячет по цезурам от меня.
 И дарит мне Ахматова повадки
 холодного, сокрытого огня.
 И шепчет Гумилев, где красть дыхание,
 отчаянье переплавляя в страсть.
 Одной строки небрежное касанье –
 вздохнуть поглубже,
 выжить,
 не пропасть.
 А если оскудеет взгляд на небо
 и истощится тяга к небесам,
 свою со мной поделит пайку хлеба
 от голода погибший Мандельштам.

БЕЛЫЙ ВАЛЬС

Я так давно с тобой не танцевала.
 Нет, не давно, а просто –
 никогда...
 Но музыка прекрасная звучала.
 О, не в прошедшем...
 Ведь она – всегда.
 Я никогда с тобой не танцевала.
 Но объявили Боги белый вальс.
 Иду к тебе... Заоблачного бала
 круженье сводит иль разводит нас?
 Иду к тебе
 во сне
 и по наитью...
 Среди созвездий Млечного пути
 к каким мирам нам выпадет отплыть,
 какие звёзды суждено найти?

 Ещё тебе не подавала руку,
 ещё в ответ слова ты не шептал.
 Ещё мгновенье замыкаться кругу,
 ещё столетье проходить сквозь зал.

 А музыка звучит и ждёт полёта,
 она зовёт, она живёт в тебе...

 На облаках трубач
 придумывает что-то
 и белый вальс играет на трубе.

ТРОЛЛЕЙБУС НАДЕЖДЫ

Булату Окуджаве

Убежали голубые электрички
 И зелёные умчались поезда—
 Заповедных далей переключка
 Увела неведомо куда...
 И, качая красными боками,
 Разбрелись трамваи по дворам.
 И такси в погоне за деньгами
 Урулили по чужим делам.
 А попуток нету и в помине –
 Никому со мной не по пути...
 Только ночь на переулках стынет.
 Мне одной через неё идти...
 Но когда сквозь улицы глухие
 Я устану свою боль нести,
 Он придёт, внезапен, как стихия,
 Он предстанет на моём пути—
 Синий сгусток чистого тумана,

Облако, сбежавшее с небес.
 Просто так, возьмёт и чудом станет,
 Самым добрым среди всех чудес.
 Тот троллейбус синий – он живучий,
 Он всегда к спасению готов.
 Перелётный, уличный, плавучий
 Подрывник отчаянья основ.
 Он со мной, конечно, вступит в сговор
 И свои мне двери распахнёт.
 И надежды выжившее слово
 В мою душу – запросто – плеснёт.
 У него простое постоянство:
 Чьё-то горе – вот его беда.

Между нами тянутся в пространстве
 То ли струны, то ли провода...



АКВАРЕЛЬ

Тропинка в осеннем дыму
Почти не заметна и мглиста,
Как мысль, что доступна уму
Художника-акварелиста.

На тёплом сыром сквозняке
Трепещет зонта паутина.
И, стало быть, близко к реке –
Он чувствует интуитивно.

На звук откликаюсь любой,
На линии промельк и цвета,
Душа занята не собой,
А чтением сквозного сюжета.

Плакучие ивы, туман,
Шаги бесполезной прогулки
Навечно сложились в роман,
В напев музыкальной шкатулки.

Так в каждом порой пустяке
Ответ приближается важный,
Как в чьей неизвестно руке
Китайский фонарик бумажный.

* * *

Она стоит на дне морском
В утопленном селе.
Там рак на паперти глазком
Косит навеселе.

Когда прокатится волна
В отверстия окон –
Звенят её колокола
И травы бьют поклон.

Чуть пахнет ладаном вода.
А ведь и хора глас
Был слышен мне, в неё когда
Входил я первый раз.

Теперь там сонной рыбы тень,
Глухие камыши...

Порой она в прозрачный день
Видна на дне души.

ДОРОГА НА СЕВЕР

Чем дальше к северу, тем небо холодней,
Светлей поля становятся от снега.
Там за окном течёт России млеко,
Как часовой звезда стоит над ней.

Чем ближе к Питеру, тем суше имена –
То Клин, то Тверь, а то вдруг Бологое.
Припоминая сердцу дорогое,
Душа сама позёмкой взметена.

Перенимая севера черты,
Она всё меньше кажется Москвою,
Но больше зимней гаванью морскою,
Что проступает сном из темноты.

УТРО ТУМАННОЕ

Трава речная, цветы на окнах,
Седое небо, деревьев старость.
Вот что когда-то снимал фотограф
И что от жизни былой осталось.

Роса и гроздья рябины спелой,
Домой лесная тропа во мраке,
Сестра и мама на чёрно-белой,
На пожелтевшей фотобумаге.

Чуть близоруким омыто светом
В лиричном стиле шестидесятых,
Застыло время в раю бесцветном
В немых картинах, на память снятых.

Труд кропотливый и ненапрасный,
И громоздил свой увеличитель
В слепом чулане под лампой красной
Отец – художник, фотолюбитель.

Я помню – молча вдруг проступало
Изображенье во тьме волшебной.
Что если в кадре и не пропало –
То взгляд спокойный и задушевный.

То куст крапивы в тени сарая,
То я, застывший в пальто нелепо,
Дорога в поле, колодец с краю,
А остальное – всё небо, небо.



ЗАПАХ МОРЯ

Ещё пахнет морем запястье
Руки твоей сонной.
И вкус на губах, словно счастье,
Ночной и солёный.

Я чувствую рядом с тобою –
Звучит равномерно
Спасительный шёпот прибора.
Стук сердца, наверно.

Во мгле подмосковной очнулась
Метелица-вьюга.
Я вспомнил – вчера ты вернулась
С приморского юга.

Окно приоткрыто. Светает.
Усталость и нега.
И в комнате запах витает
То моря, то снега...

Александр КАЦУРА

ГОРЯЩАЯ БИБЛИОТЕКА

*Библиотека Александра Блока
в Шахматове была сожжена
взбунтовавшейся толпой в 1918 году*

Нет, не постигнуть скрытый смысл
преподанного нам урока.
Знаменем дымных коромысл
горит библиотека Блока.

Книг и архива не жалея,
зато как огонь взошёл высоко!
В пространство ввинчен чёрный шлейф –
горит библиотека Блока.

На лицах черни страх и блуд,
и радость странного разгула.
Владыкой мира будет труд,
владыкой мира будет дуло.

Молчи, художник и поэт,
оставь свои сомненья, зодчий.
Шуршанье правильных газет
закроет уши, застит очи.

Ну что пучина? Что дурман?
О чём гудит Средневековье?
Европы совестный туман
завесил наше перековье.

Но разве мы не говорим
в истоме, мертвенно-сурово,
что очистителен наш дым
и что извечно наше слово.

Что наша жертва глубока
и неподдельна наша участь.
И что в иные облака
уйдём бестрепетно, не мучась.

Что всем живым живой укор –
нагой народ в свистящем поле.
И что ещё не кончен спор
о мессианской нашей доле.

Не так уж страшен чёрный хлам,
костяк обугленного крова.
Но разрывает сердце нам
когда-то брошенное слово.

Завет *свободы и добра*
через овраги и мученья –
ковчег литого серебра,
ладья всемирного ученья.

Да, в прабиблейской глубине,
предвестьем тёмного улова,
хрипит и корчится на дне
чахоткой дышащее слово.

Не *слово*, нет. Усталый бред.
Нет Истины. И нет пророка.
И вот уже почти сто лет
горит библиотека Блока.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

* * *

Меня смущает двадцать первый век.
Я не люблю компьютеров и кнопок.
Куда как лучше свист шампанских пробок,
гусиное перо, батист и хлопок –
да,
я – консервативный человек.

Живу ли я со временем в ладу?
Скрипит во тьме древесная телега,
вдали, за кручею, скучает конь Олега,
бредут монахи в поисках ночлега,
и что-то там Орфей поет в аду.

Но только я от книги подыму
глаза, и за окно уставлюсь взглядом,
как станет страшно всё, что копошится рядом,
больное время истекает ядом,
и всё скрывается в презрительном дыму.

Уж не слышны трамвайные звонки.
Торговцы оседлали “мерседесы”.
С пучком кинзы стоят полпреды из Одессы,
летят листки пустой, цветистой прессы,
в траве разъятые белеют позвонки.

Всё как-то меньше милых простаков,
уже вокруг совсем иные книги,
культурный хмырь влачит свои вериги,
и сверху до низу пошлейшие интриги,
и рынки, полные трудами челноков.

И правят бал густые наши СМИ,
от правды ложь едва ль мы отличаем,
у телевизора глазами мы вращаем.
Экранный бред мы запиваем чаем.
А информация? Поди её возьми!

И подозрителен мне этот Интернет –
как беспредельный призрак интерната,
как крошево всемирного салата,
как проводов запутанная вата,
как дым безалкогольных сигарет.

Всё перепуталось –
и я согласен в том.
От CO₂ постепенно прогреваясь,
планета наша, не грустя,
не каясь,
а только лишь кряхтя и кувыркаясь,
всё вертится и вертится волчком.

«ДОЛОЙ СВОБОДУ!»

Из действующих мы выбыли,
а зритель, – он вяло ропшет.
Зачем этот тяжкий выбор?
Канат над пропастью – проще.

Да ведь пропасти было не видно
За кучей дутой соломы.
И как же было обидно
Наткнуться на эти обломы.

Я помню одежду немодную,
Обыденную, людскую.
И локти толпы голодной,
однако ж по ним тоскую.

И рабскому чувству в угоду
пришёл к пахану из банды:
«Возьмите нашу свободу,
но дайте миску баланды!»

Пахан усмехнулся сурово:
«К чему вам гражданские риски?
Вы – верите мне на слово.
Я – каждому дам по миске».

Трешат и рушатся своды,
и мы тому очевидцы.
Меняем нашу свободу
на варево из чечевицы...

Уверенность наша баранья,
Иафета, Хама и Сима,
скрежещущее признание –
свобода невыносима.

Как и прежде, в цене терпенье,
как и прежде – хомут на шее.
Ах, какое в душе сомненье!
Ах, как небо над нами синее!



* * *

* * *

Я не знаю пути обратно,
я смущён перед горной кручей.
Но картина вполне понятна
со своей игрой неминучей.

Узловатой рукою тычет –
отыгрались ли, нет – мир вам на
долгий срок, лет эдак на тысячу –
пусть непрощенная, но нирвана.

Что нирвана, когда рванина
прилипает ожогом к коже
так, что струпья присохшей глины
довести способны до дрожи.

Что нирвана, когда рванина –
дым, прорехи до горизонта...
Оглушительная равнина,
бесконечная наша зона.

Что нирвана? Что вера в единое?
Это – им. Это – вам. Это – мне.
Жилка бьётся по-голубиному
В неосознанной глубине.

М.

Мне жалко вас, мадонна. Я живу
в шестнадцатом, насквозь продутым веке.
От Брейгеля уходят вдаль калеки,
горят под небом северные реки.
Уходят не во сне, а наяву.

Шальные тени бродят по стене,
на влажной штукатурке стынет фреска.
В ней много глубины, но мало блеска.
С ума сойти готов дела Франческа
и Леонардо хмурится во тьме.

Мне жалко, очень жалко вас, мадонна.
В вас всё отрешено и всё бездонно,
в вас всё запрещено и всё подробно –
улыбка, сон, причуды – монотонно
всё льётся на больную жизнь мою.

Мне жалко вас, мадонна. Я живу
уже в продлённом двадцать первом веке.
И что же? Всё текут
продымленные реки
и неулучшенной породы человеки
всё безнадежней ткут свою канву.

Вокруг дремотно, лживо, мелко-грязно,
всё скручено предельно безобразно,
а я?
А я –
в немыслимом раю.

Живу, пишу, страдаю – всё надомно.
Спасибо вам, не спящая мадонна.

Предательски дрожит моя строка.
Мне жалко вас, ушедшие века.

Петр КРАСНОПЁРОВ

* * *

Храм как игольное ушко.
Пройдёт, пройдёт ли нить поэта?
Как будто Храм, и в нём светло,
Но мой ли Храм и Храм ли это?
Не знаю, ханжество претит,
Власть иерархов над умами,
Что чёрной карою грозит
Всем, кто не с ними, кто не с нами,
Как будто на железный прут
Нанизывает жестко души...

Да это храм, смиренный люд,
Они внутри, а ты снаружи,
Ты что-то хочешь возразить,
Но разве можно против Бога,
И вот ты сам себя казнить
За помысел готов жестоко.
Не надо! В этом нет души,
Но только пагубные сети.
Да это храм, и всё страшит,
И мы беспомощны как дети.



РОССИИ

Невозможно остаться.
Да нет мочи расстаться! –
С этим смогом густым,
С этим траурно-стойким
Миром древней застройки,
Где живём ли, гостим?
С этим зорко подробным
Краем, точно загробным,
Чернокнижных лесов,
И зловеще зелёных
Трав, грозой упоённых,
Сладко давящих снов.
Точно я не набрался
Едкой пыли пространства
От загибших морей.
Не впитал до отпада
Неги полураспада
Рудниковых солей.
Точно я тобой тронут
И утянут как в омут
В корневища твои,
Во плоти и с грехами,
В искупление ли, пламя,
Твоей страшной любви.

* * *

Ещё родит земля, ещё кормит,
и зависим мы все от неё,
ещё нив золотятся волны,
ещё светит солнце твоё,
дорожим ли мы, бережём ли,
так всё зыбко, всё тонко здесь,
шар Земли, по которому ходим,
как он мал, как конечен весь.
Вот иссякнут залежи нефти,
и весь выгорит газ в пластах,
что мы сможем беспечные дети,
народившиеся в веках?
Мы, приученные к комфорту,
как мы выживем через век,
не горят пустые конфорки,
не горит электрический свет.
И компьютерная паутина
омертвела, она ни к чему,
бесполезная как рутина,
как преданье ушла во тьму.

Ты судьба и судьбина,
Ты труба и турбина,
Адский воздуховод.
Никому не расстаться,
Ничему не остаться –
Всё в тебе пропадёт.
Что твой Молох калечит,
То и Бог не залечит,
Отвернётся в слезах,
Но что взор твой полюбит,
То и Бог не погубит,
Возвеличит в венцах.
Но повенчана с небом,
Ты повязана гневом
До скончания век.
Лишь утешная влага
Чужестранного флага
Что слеза из-под век.
Невозможно – и можно.
Ведь не столь ты безбожна,
Открести – пожалей!
С каждым годом страшнее,
С каждой ночью душнее,
С каждым утром родней.

* * *

Да мне везло – во все глаза свой сон
В толпе людей я празднично читал.
Тот самолет с названием «Циклон»
В столпах дождя и мрака наплывал.
Везло же мне! С невидимых небес
То высоко, то низко рокоча
Пробрасывал он быстро, как слепец,
Прожекторную тросточку луча.
Творение нечеловечьих рук,
Дельфин ли, дирижабль над головой?
И радостно захватывала вдруг
Причастность к его славе неземной.
А он над самым ухом стрекотал –
Как будто бы кузнечик полевой.
Теперь я мог увидеть, как он мал,
Всего лишь метра полтора длиной.
Цеплялся я за выступления его,
Дельфин мой, унесёшь – не унесёшь?
Как на пружинках щёлкало крыло,
И он с трудом взлетал со мной сквозь дождь.



Татьяна НЕДЗВЕЦКАЯ

АВГУСТ

Сквозь мокрый август листьями кружа,
Блудливо осень тропы выбирала,
Чтоб призрачная узкая межа
Всё явственнее лето отторгала.

И ей лениво думалось о том,
Что скоро листья зацелуют окна,
Перечеркнёт дождями старый дом,
Дворняге от хвоста до рёбер мокнуть.

Старухе с кошкой в доме горевать
И по привычке печь топить до света.
С утра почтовый ящик проверять –
Ан нет ли писем – тех, которых нету.

На горькие обидные слова
Дрожащим пальцам не давая волю,
Писать самой: «Что, дескать что – жива...»
Сквозь мокрое стекло в босое поле
Глядеть, вздыхать – дожить до Покрова...

ЗАГОРЯНКА

I.

Ну, слава Богу! Вот опять покой.
И в доме обитаю я да мыши.
Лишь изредка бывает еле слышен
Звук голосов в низине над рекой.

Приметы осени – наш облетевший сад,
И в грядках не копаются соседи.
И почтальонша на велосипеде
Не объезжает все дома подряд.

Не слышен шум пилы – глухой забор
Назло врагам возвел мясник Павлуха,
Не помогло – его бульдогу ухо
Отгрыз соседский старый пес Мажор.

Из черноплодки булькает вино –
До Рождества неплохо бы заначить
Хоть пару банок. А луна в окно
Глядит забытой кошкою на даче.

II.

Скученность деревьев и дождя,
Всклоченных кустов осиротелость –
Всё, чего мне так давно хотелось –
Всё пришло. И этот день гош для
Того, чтоб косо падал свет
На фамильный старый наш буфет,
Где стоит в красивой строгой рамке
Свадебный прабабушкин портрет,
Веера печальные останки,
Прадедом написанный сонет.

Нынче поздно. Осень. Выйду в сад,
Где земля не чтит касанья листьев,
Где заросший пруд – немножко мистик,
Дарит мне тяжёлый мутный взгляд.

Дачники уехали. Покой
В Загорянке. Будет ждать апреля
Ставень заколоченный. И прелью
Листьев мёртвых пахнет над рекой.

III.

С ума схожу под этой крышей!
Сентябрь лежит и еле дышит
Больной собакой у ворот.
Дом пуст. На даче не живёт
Никто. И заколочен крепко ставень.
И осень в сумерках листает
Поэму об умерших листьях.
И в этом нахожу корысть я –
В щемящей грусти есть улада –
Кому приятно то, что рядом?
О, трепетная грусть ухода!
В печали этой нету брода.
Прощаньям я пою осанну!
Прощаться – никогда не рано.
Прощай! Да здравствует свобода!



СЧАСТЬЕ

Ребёнку тёплые носки
надела я после купанья.
И жизнь ослабила тиски,
дав полчаса для оправданья.

А если говорить точней, –
для подтверждения старых истин
о том, что путь наш бескорыстен
и силы наши – от корней.

И я, глядящая в окно
во время передышки редкой,
всего лишь навсего – звено,
зелёная живая ветка.

И завязь нежная – мой сын,
теплом обласканный так щедро.
А ствол – один, и род – один,
корнями уходящий в недра.

И все мы – жители земли –
родня в каком-нибудь колене,
язык животных и растений
забывшие от них вдали.

И если в корень заглянуть,
не испугает даже Лета:
мы все бессмертны – в этом суть
и смысл

Земли,
Воды
и Света!

* * *

Паутину из воздушных петель
день за днём без отдыха плела.
Козий пух – как тёплая зола,
козий пух – как время – серый пепел.

Шли гуськом дожди и холода,
хищный зверь свои владенья метил –
паутину из воздушных петель
я плела. Меня вела звезда.

Слишком тёмен путь наш или светел,
я не знаю, – не разобрала.
Паутину из воздушных петель
или околесицу плела?

Если кто и слышал, – не ответил...
Близко подошла ко мне зима,
но полны, как сердце, закрома
лёгкой мукою воздушных петель.

* * *

Поленовский московский дворик
и школьный чопорный кирпич,
как тень, легли на подоконник,
и в памяти защёлкал бич,
чтобы опять я шла по кругу,
где девочки, попарно в ряд,
сосредоточенно друг другу
в затылок не дыша глядят;
по бесконечным коридорам
больших и малых перемен,
в том прошлом времени, в котором
не происходит перемен:
все тот же спёртый, лицемерный
там воздух, бледность детских лиц
и блеск, решительный и скверный,
в глазах у первых учениц.
Американское посольство
направо, прямо – чахлый сквер –
арбатское землеустройство
на поздний сталинский манер.
Пустая колокольня рядом,
асфальт, озвученный дождём...

И мы, отравленные ядом,
домой, счастливые, идём!

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

*Востока страшная заря
в те годы чуть ещё алела...
Александр Блок*

Гости ушли. И седой сигаретный дымок
медленно стал оседать на портьеры и стулья.
Угломонились хозяева этого улья,
свет погасили и заперли дверь на замок.

В воздухе плавно кружились обрывки речей,
плавали лица, и плавился воск оговорок.
Нос щекотал аромат мандариновых корок,
хвои согревшейся и догоревших свечей.

Век уходил, и детей своих звал за собой...
Через окно проникало сияние снега,
и, багровея, заря разливалась в полнеба
над захмелевшей Россией,
над общей судьбой.

Таруса – всхожее жито для «разумного, доброго, вечного»...

Из записных книжек Николая Панченко

Сейчас, когда пишутся эти строки, – весна. Как и в 1961 году, когда собирались в Тарусе авторы «Тарусских страниц» – Булат Окуджава, два Юры – Трифонов и Казаков, Наум Коржавин, Борис Слуцкий, Надежда Мандельштам (всех не перечислить) и решали: «Выйдет альманах или не выйдет?»

Не должен был выйти – припозднились: кончилась «оттепель» в стране, а весна и не начиналась. Но для сеятелей «разумного, доброго, вечного» всегда весна, особенно, если кончилась оттепель. Об этом говорили всерьез, шутили. И продолжали сеять.

И альманах вышел. И даже очень естественно – осенью! – был предъявлен читателю обильный и – скажем оценочно – первоклассный литературный урожай. В поэзию и прозу страны вошли имена, без которых она уже не могла существовать, и которые определили будущее отечественной словесности не на одно десятилетие.

Тридцать лет спустя выходит Второй выпуск «Тарусских страниц», а рядом, не желая отставать ни по уровню, ни по срокам, начинает жизнь младший брат «Тарусских страниц» – еще один тарусский альманах – «Русский Барбизон».

Не всякий губернский город может предъявить в доказательство своей культурной значимости два таких альманаха.

Да, Таруса – всхожее жито для «разумного, доброго, вечного». И «Русский Барбизон» – так частенько называл Тарусу Константин Георгиевич /и в шутку и с гордостью/, засвидетельствует это своими выпусками.

Таруса Цветаевой – это вечная тема отечественной литературы и ее уездного альманаха «Русский Барбизон».

Таруса Паустовского – повесть, добрая и мужественная, начало которой положено, кажется, в 1954 году.

Таруса Заболоцкого, Юрия Казакова, Надежды Мандельштам, художников Поленова, Борисова-Мусатова, Ватагина, Свешникова...

Бредет по земле световое пятно...

Выпуск таких альманахов – давняя традиция российской глубинки.

Возрождается Россия. Еще немного и мы скажем – возрождается ее рукой литература. И возникают неожиданно – словно и не исчезали никуда – структур-

ные образования нашей российской культурной жизни. Да они и впрямь не исчезали, если посмотреть глазами старика, а не современника. А современникам моим, выпавшим почти на всю свою жизнь из истории, остается довольствоваться этим фактом выпадения и внеисторического существования, как это сделала, скажем, Надежда Яковлевна Мандельштам.

А затем, опираясь на свой опыт, радоваться со всеми возвращению в историческое русло и укреплять веру в победу вечного-непреодоляющего над временным.

Сколько бы ни преуспевала наука, все равно главным в ней будет отношение человека к человеку, соседа к соседу, народа к народу, короче говоря, постижение того, что мы называем словом с в о б о д а.

И чем меньше свободы в обществе, тем больше места она занимает в сердцах, обращенных к Истине.

Таким сердцем, обращенном к истине, было сердце Надежды Яковлевны Мандельштам.

Таким сердцем общества был круг друзей и близких знакомых Надежды Яковлевны.

Просто знакомых у Надежды Яковлевны было всегда мало: они или отходили от нее /с нею и нелегко и опасно!/ или становились друзьями.

Мне случилось вести первый вечер памяти Надежды Яковлевны (на окраине Москвы, в районе Кузьковского, чуть ближе Ново-Гиреева), в молодежном клубе.

В зале на триста мест сидели и стояли в проходах. В фойе, чтобы пройти, надо было протискиваться. И среди этих пятисот или семисот человек не было ни одного «чужого» лица: все друзья Надежды Яковлевны по Тарусе, Москве, Воронежу, Пскову, все с ее всегда тесной и такой всегда многолюдной «кухни».

А в ставни зала /он находился на первом этаже/ стучали – чтобы не сказать: ломились! – те, кто пришел сорвать этот вечер. Их «опознали» и не пустили.

Это было одно из первых торжеств свободных людей. Настроение было похоже на День Победы сорок пятого года.

Выступали и те, кто сейчас с нами. И те, кого уже нет среди нас: отец Александр Мень, Миша Поливанов.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Многих нет: Варлама Шаламова, Андрея Синявского, Володи Вейсберга, Иосифа Бродского, Иры Семенко, Ал. Ал. Любичева... Да только ли их...

Но так и устроена эта несовершенная и удивительная жизнь, что уходящие из нее, не уходят, а продолжают ее совершенствовать. Как Осип Мандельштам и Иннокентий Анненский, Афанасий Фет и Ахматова.

Как Надежда Яковлевна.

И сегодня нет уже в мире зала, способного вместить всех ее друзей.

Не уходят сердца, обращенные к Истине. Они оставляют найденный ими звук Истины. И люди подхватывают этот звук прежде, чем он затихнет.

Но это не значит, что с уходящими уходят их проблемы. Они остаются, чтобы стать внятнее и постижимее.

Именно потому мы сегодня вместе с Надеждой Яковлевной можем сказать, что чем больше свободы в обществе, тем острее проблема свободы.

Получая свободу и – тем более – завоевывая ее, мы не знаем, как с нею обращаться. С атомом освоились кое-как. Плохо, но все-таки. А со свободой – никак. И не только мы... И Европа. И Америка.

Читайте Надежду Яковлевну. Там об этом все сказано. Только читайте внимательно. Не обманывайтесь легкостью слога: чем легче слог, тем нагруженнее.

Как у всякого большого писателя.

Не ищите в прозе Надежды Мандельштам секретов и тайн. Большой писатель – открытая система.

Частная, но столь же открытая как та Вера /Вера Надежды!/, которую Надежда Яковлевна исповедовала.

В мире предметном эта система похожа больше всего на великую реку – с высокими берегами. Где совершенно конкретны такие понятия, как мощь, глубина и высота.

И еще – неизменность Пути.

Поэтому почти везде рядом со словом **с в о б о д а** вы найдете слово **с в о е в о л и е**.

Нравственность – что? – свобода.

Безнравственность – своеволие.

Политическая мудрость – свобода.

Политический экстремизм – своеволие.

Экономическое развитие – свобода.

Экономический беспредел – своеволие.

Суесловие – своеволие.

Все это вы найдете к книгам Надежды Яковлевны – Первой, Второй, Третьей. Будет, может быть, и Четвертая. Жизнь Надежды Яковлевны невозможно исчерпать любым количеством ее книг.

Великая река течет.

Об истоках ее можно только догадываться.

И последнее, что я хотел сказать. Надежда Яковлевна – как и Осип Эмильевич – постоянно уточняла, что же все-таки делает человека интеллигентом?

«Может, отношение к литературе?» – спрашивал Осип Мандельштам. – Пожалуй, но не совсем. И тогда, вспоминала Надежда Яковлевна, как решающий признак он выдвинул отношение человека к поэзии.

У нас поэзия играет особую роль. Она будит людей и формирует их сознание.

«За поэзию у нас убивают».

Почему? Потому что поэзия истинная /Пушкин – Мандельштам/ – свобода. И она же власть, которую добровольно принимает душа человека.

Я повторяю – истинная поэзия.

Но есть и «как бы» поэзия – оборотень ее, принимающий ее внешний вид. Все, как в поэзии и все наоборот.

Анна Ахматова, вспоминала Надежда Яковлевна, называла этого оборотня /девяносто процентов советской поэзии/ – суррогатом. И горько замечала: кто начал с «суррогатов», тот на всю жизнь отравленный. Ему не отличить уже лица поэзии от картонной маски.

Ему, скажу я, претит понятие «интеллигент», потому что не быть ему интеллигентом: не с того начал.

Свобода, понятая, как своеволие, широко открыла и в наши дни, несоветские, свои ворота «суррогатам». Уже и интернет, доступный всем, набит этими «суррогатами».

Бойтесь суррогатов! – это предупреждение, заклинание и наставление нам от Анны Ахматовой, Осипа и Надежды Мандельштам.

«Т.С.» – 25 лет спустя – это мысль, пожелание: хорошо бы!.. И ничего больше. Да и что можно было решить в 1985 – 1986 годах, когда никто не знал про себя – и про других тоже! – кто и на каком свете?

«Т.С.» – 30 лет спустя – это, простите, уже не воздушный шарик. Это 50 тыс. (тех, еще настоящих) рублей, на которых удалось заложить в Тарусе Дом-музей Марины Цветаевой. И Дом хороший, почти подлинный, и в него собрано все, что удалось собрать – настоящее – если не цветаевское, то их времени и их круга.

50 тысяч, как обычно, достали из воздуха. Второй выпуск предложили издательству «Икпа» – вроде как советско-финскому, которое само не знало, почему оно «Икпа».

Но когда «Икпа» стала тянуть с выпуском, удалось в порядке компенсации вытянуть из нее эти 50 тысяч.

Выпуску «Т.С. – 30 лет спустя» «Литгазета» посвятила полосу, больше полосы президентская газета «Российские вести», три разворота калужская газета «Провинция-информ».



Какие-то еще небольшие газеты и журналы, в числе их «Мир Паустовского», телевизионная программа «Лад» сняла об этом сборнике трехчасовой фильм и часовой выпустила на экраны по второму российскому каналу.

И, конечно, рекламные листки.

А главное – создан сборник – 60 авторских листов, но вот не смог вовремя пробиться и читателю. Из-за той самой коммерциализации издательской практики и своеволия, подменившего свободу, что отодвинуло на годы все существующие точки отсчета подлинности литературно-художественной (выразимся современно) продукции.

Это случалось не только с нами, с миром, куда мы опрокинулись с дивной жадной свободных рук и мозгов. А в руки, протянутые за Истиной, получили камни и этими же камнями по мозгам.

Пока все...

Об остальном, когда у вас будет возможность взять в руки «Т.С. – Тридцать лет спустя». И на суперобложке его, как и заведено, прочитайте имена авторов: Иосиф Бродский, Фрида Вигдорова, Александр Галич, Николай Глазков, Наталья Горбаневская, Фридрих Горенштейн, Юлий Даниэль, Юрий Домбровский, Всеволод Иванов, Юрий Казаков, Наум Коржавин, Владимир Корнилов, Петр Краснопёров, Лазарь Лазарев, Владимир Максимов, Надежда Мандельштам, Осип Мандельштам, Лариса Миллер, Булат Окуджава, Николай Панченко, Константин Паустовский, Федор Поленов, Ольга Постникова, Давид Самойлов, Андрей Синявский, Борис Слуцкий, Александр Солженицын, Юрий Трифонов, Марина Цветаева, Борис Чичибабин, Варлам Шаламов, Виктор Шкловский. Составители Нина Бялосинская и Николай Панченко – всего 77 авторов.

А пока о другом, о том, что «чуть-чуть» не случилось – о второй попытке издать такой сборник.

За тридцать лет было предпринято много попыток издать «Т.С.» Конечно, под другим именем и в другом городе. И даже в другой стране. Но того, что удалось нам в 1961 году, не получилось. Но однажды чуть-чуть не получилось. Но об этом чуть-чуть надо, видимо, хотя бы чуть-чуть рассказать.

...Было это летом 1968 года. Весной этого года умер большой поэт Илья Сельвинский. И до сих пор – временно! – забыт. А за год перед этим не стало Анны Ахматовой. Еще за год – в 1965 году – судили (кто судит, вы знаете) Синявского Андрея и Юлика Даниэля. Один был выдающийся критик, второй – прекрасный поэт.

Ряды рядели. Молодые СМОГИ /самые молодые гении/ стали бунтовать – тихо, законопослушно, с брошюрой ... под мышкой. А их пытались «растлить» – это слово у палачей было узаконено и означало: арестовывать с высылкой, вербовать, накачивать водкой. Наркотики тогда еще в ходу не было. В качестве наркотика хватало идеологии.

Несколько авторов «Тарусских страниц» и их друзей с помощью Льва Славина – был такой средний писатель и честный, очень хороший человек (к счастью, возглавлявший комиссию СП СССР по работе с молодыми) создали при этой комиссии мастерские, куда втянули с улицы (а потом и просто вырывали из бандитских рук) талантливых молодых.

Возглавляли комиссии «тарусяне» – Давид Самойлов, Арк. Штейнберг, автор этих строк, то есть я и наши друзья: Арсений Тарковский, Глеб Семенов и ...Левик.

Собранные под крышу Союза писателей (при ожесточенном сопротивлении этого Союза) «молодые» были как-то защищены. Они собирались к нам на семинары читать свои стихи и говорить о них, а мы приглашали к ним своих учителей: Шкловского, Каверина, Светлова, каждый из которых в меру своего мужества и тяжелого опыта наставлял, предостерегал, пробовал поставить этих шатких и талантливых на твердые ноги.

Иногда (а это было не просто опасно – смертельно) собирались по несколько человек у кого-нибудь дома, где можно было меньше бояться стены: стены были везде с ушами, но в разной мере. А в революционные праздники, особенно, когда к ним по воле календаря пристраивались выходные, а у кого-нибудь отпускные, уезжали с Каланчевки (если поездом), и с Казанского (если автобусом) в Тарусу. И там говорили.

Те, что решили не бояться, с теми, кого назначали своими. Это было время таких отъездов для разговора, для чувства рядом честной руки, это же было время рождения кухонь («кухня» Сахарова, «кухня» Якира, «кухня» Надежды Яковлевны Мандельштам).

Мы – нас было, как потом выяснилось, очень много – не десяток, а сотни, которые «изготавливались» на кухне Надежды Мандельштам. Среди самых близких – Варя, моя жена, она знала Варечку от рождения (разумеется, своего), Женя Левитин – мандельштамист и искусствовед, о. Александр Мень, Нина Бялосинская... Попытка перечислить всех делалась не раз, но ни разу успешно; кого-то все равно забывали.

А «своих детей» из мастерской при Союзе писателей мы иногда показывали Наде. Начиналось рукописями, но не всегда кончалось встречами. Встреча с Н. Мандельштам – это почти посвящение в иной статус.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Одних, близких мне, я так и не представил: не решился. Сам – до Нади – сказал: нет! Другие не выдержали разговора с Н. Я. По стихам были приняты и одобрены Рихтерман и Миллер. По встрече высший «бал» получила Постникова – «колдунья». Но ей тут же и сказано было, чего ей в себе бояться, и она, кажется, не услышала! – а могла бы по своим данным продолжить линию «великих русских женщин» в поэзии.

Вот так мы жили. В это время травили и выслали в Горький Сахарова; «упразднили его «кухню». Арестовали и изгнали – Слава Богу! – на Запад, а не на восток Солженицына. Убили в подъезде Костю Богатырева – поэта и переводчика Рильке, бутылкой от шампанского. И тут всех не вспомнить...

Вот так жили. Готовились к иному времени: понимали, тирания не может быть вечной. И много говорили о свободе – что это? Как и для чего существует, для тебя или же для твоего врага тоже.

Уточняли – старый и вечный вопрос – кто и почему может в России (не только в России) называться интеллигентом. Какова связь этого священного слова с понятием «четвертого сословия», которому клялся Осип Эмилевич Мандельштам.

Наши загородные поездки, встречи, особенно короткие и немногочисленные, часто назывались «пирами». Давала Надечка Никите, моему сыну, трешку и говорила: беги за пиром: это что-то сверх обычного – триста грамм буженины, какие-нибудь конфеты, шоколадка. А если приходила Анна Андреевна, пир принимал более, я бы сказал, античный вид, хотя бы от того, что вам купила Анна Андреевна, прямо от дверей послала за водкой. В нашем доме водки не было. Мы говорили: это роскошь – водка! – достаточно буженины для пира и для того, что все еще пока живы в то время, когда вокруг чума.

Пиры во время чумы. Что мы могли кроме пира – противопоставить чуме, где чума – пир. А чума везде, и, значит, для таких бедолаг как мы – везде – пир.

– Как вам удалось выпустить «Т.С.»?

– Как удаются авантюры?

Они или удаются или нет.

По условиям жизни 1960–1961 гг. у нас ничего не должно было получиться.

Но нам очень захотелось. Кому?

Два человека: Роман Левита, гл. ред. Калуж. изд. И В. П. С. – ред. Отдела худ. литерат.

Далее: несколько «маленьких хитростей»:

Обл. альманахи везде и плохо (графоманы).

Реш. ЦК об улучш. обл. альманахов.

Мы решили: районный альманах. В Кал. обл. 27–29 районов. В кажд. районе – по очереди спуститься, на так называемый, «низовой уровень» – что любит наше начальство.

И еще: такое решение освобождало нас от претензии графоманов области (а их было несколько десятков).

Выбрали Тарусск. район. Почему?

1. Тут всего лишь один (м. б. два) графоман. И то – краевед.

2. Тут Паустовский (как сейчас говорят: «крыша». Очень был тогда авторитетен).

3. Таруса тесно связана с писателями столицы.

4. У Тарусы – традиция таких литер. и худож. связей. Кроме Паустовского здесь жил Н. Заболоцкий, Ф. Вигдорова, Арк. Штейнберг, Н. Оттен, Н. Я. Мандельштам, дочь Марины Цветаевой; это родина М. Цветаевой, Поленова и т. д.

Это фасад нашего здания: в том числе и оформление дочери великого художника Борисова-Мусатова.

А задача: ввести в литературу те имена, без которых она уже не могла существовать. Издательства и журн. принадлежали партноменклатуре – Сафроновым, Кочетовым, Кожевниковым. Идеиное и эстетич. противостояние литер. интеллиг. сов-парт. номенклатуре.

«Новый мир» (Сим.–Твард.), «Юность» – либеральнее были, но и они не позволяли себе решить эту задачу.

Мы попыталась ее решить: ввели в литературу с лучшими произведениями (проза и стихи): Юрия Казакова, Бул. Окуджаву, Бориса Балтера (их рукописи лежали без движения в «Юности»), Наума Коржавина, Е. Винокурова, Бор. Слуцкого, Вл. Корнилова, Дав. Самойлова, Вл. Максимова, Юр. Трифонова.

Первые публикации Н. Я. Мандельштам (псевд. Н. Яковлева), впервые полн. (так много стихов) (Марину Цветаеву), Н. Заболоцкого – из архива (многokrатно отвергнутые) и т. д.

Что еще помогло?

Сборник был сделан очень быстро:

24 июля сдан в набор.

14 окт. подписан в печать.

Тираж брали (и его нам делали) по частям: тираж 75 тыс. – по тысячам. Типография работала круглосуточно. Платили рабочим чл. редколлегии.

Первая тысяча – к XXII съезду КПСС. Ушла в Кремль и там продавалась.

Где деньги взяли?

Вместо обл. альманаха и коммерческого переиздания Марка Твена (разрешение Госкомиздата).



- Как вам удалось выпустить "Т.С."

З-Как удачного авантюриста?

- Оке или удачный или нет.

По условиям жизни 1960-61 гг. у нас ничего не должно было получиться.

Но нам очень захотелось. Кому?

Два человека: Роман Левада, гл. ред. Калужок, худ. и В. П. С. - ред. отдела худ. изданий.

Далее: несколько "маленьких хитов":

1) обл. альманахи - везде и плохо (графика-^{плохо})

Мы решили: районный альманах.

Кол. обл. 27-29 р-нов. В каждом районе -

по одному (спустившись на так назыв. "низовой

уровень" - что значит наше народное)

и еще: такое решение освобождало нас от префигии графманов области (а их было несколько десятков).

Благодаря Тагусск. район. Почему?

1) Тут всего лишь один (м.б. два) графман. Кто - кто-то.

2) Тут Тагусовский (как сейчас говорят).

Крышка. Очень был тогда авторитетен)

Э Тагусск тесно связана с литературной и писателями столицы.

У У Тагусск - традиция таких книг и худож. связей (игруш

Реш. Уж. об упрощ. обл. альманахов.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Обеспечили рекламу. В «Неделе» и рекламные «выпуски».

Заявок было много – считали до 750 000, потом конверты с заявками сваливали в угол небольшой комнатки.

Конечно, эти скачки – с препятствиями:

1. Обком КПСС. Секретарь Алек. Конст. Сургаков /не прочел: понимал, что все равно обманут/.

2. Обллит /цензура/. Разговор директора Алексея Фед. Сладкова с ценз. Г. И. Овчинниковым.

3. Статья в обл. газете. Прекратить печатать.

4. 31 тыс. вывезли – днем и ночью в Москву – в магазин № 100 и с машин торговали на вокз. площадях.

5. Да конца года и позже не раскупалась розница офиц. журналов (в киосках).

6. Ругательная статья в «Литер. и жизнь».

7. Полуругательная в «Лит. газ.».

Библиография

«Литература и жизнь». Февраль 1962г. №14. Редакционная статья.

«Литературная газета». 9 января 1962 г. Евг. Осетров. «Поэзия и проза «Тарусских страниц»; «Знамя». Калужская газета. 23 декабря 1961 г. «Во имя чего и для кого». / Н. Кучеровский. Н. Карпов/.

«Огонек» № 14, апрель 1989. Илья Мильштейн. «Калужский инцидент».

8. Решение ЦК. Запретить альманах. Кал. изд. закрыть.

Сняли с должностей с партвыскааниями:

Секр. Обкома;

Гл. цензора;

Дир. и гл. ред. изд.

Я за месяц до погрома подал заявл. об уходе. Но у меня зарезали книгу стихов (прищемили хвост).

Пришлось уехать из Калуги.

Помнят до сих пор – персона non grata.

Двум журн. /казахст. республ. в Алма-Ата и Ташкент/ «Звезда Востока» удалось что-то похожее повторить.

Мы пытались в Горьком / Нижнем Новг. / в 1969–1970 г./ – не вышло.

В 1990–1991 г. – «Тарусские страницы. Тридцать лет спустя». Лежит в «Моск. рабочем» – все, кроме печатанья тиража...

«Литературная газета» № 28 /5354/ 17 июля 1991 г. «Тарусские страницы» 30 лет спустя /полоса/.

«Вопросы литературы». Выпуск VI, 1994 г. Н. Панченко. «Когда называют стихи» /интервью/. Есть о «Т.С.».

«Тарусские страницы» переведен на английский язык и в сокращенном виде вышел в США.

«...Тарусские страницы», так же, как и два сборника «Литературная Москва» (1956) является одним из важнейших изданий русской творческой интеллигенции СССР, выступившей против государственной опеки над литературой».

Вольфганг Казак

«Лексикон русской литературы XX века».

Москва. РИК «Культура», 1996 год.

«Первый, кому удалось пробить цензурный бетон, был К. Г. Паустовский (Г. Свирский). «Тарусские страницы» сразу же были осуждены консервативными силами».

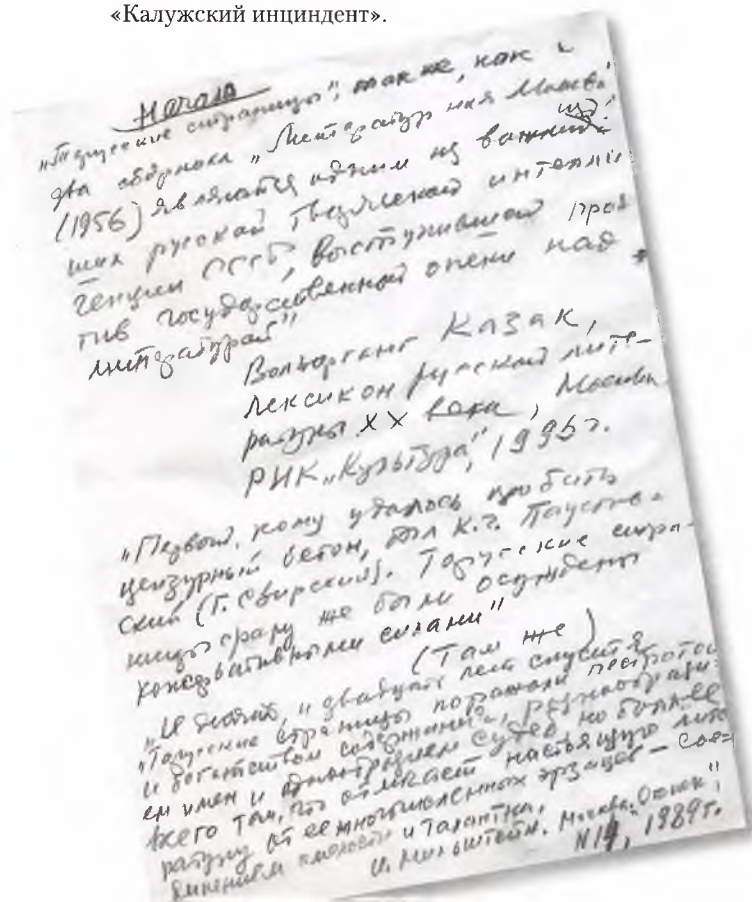
Там же.

«И десять, и двадцать лет спустя «Тарусские страницы» поражали пестротой и богатством содержания, разнообразием имен и однообразием судеб, но более всего тем, что отличает настоящую литературу от ее многочисленных эрзацев – соединением смелости и таланта».

Илья Мильштейн

Москва.

«Огонек» № 14, 1989 год.



Содержание

Мы – из XX века.

Слово к читателю Олега Воробьева. 4

«Т.С.» 1961. 1991–2003.

О судьбе сборника «Тарусские страницы».

Документы с грифом «Совершенно секретно». ... 6

«Тарусские страницы». Тридцать лет спустя.

В разговоре принимают участие

Нина Бялосинская, Николай Панченко,

Булат Окуджава и Роман Левита. 13

«К гипотетическому будущему мы готовы
больше, чем к настоящему...»

Сорок лет со дня выхода в свет

«Тарусских страниц» (2001). 20

АНТОЛОГИЯ «Т.С.»

Николай Панченко.

Слово о великом Стоянии. 24

«Слушать музыку звёзд...» Стихи. 40

Анастасия Цветаева.

Моя Таруса. Письмо А. И. Цветаевой

Е. Ф. Куниной. Тарусские воспоминания:

неизвестный фрагмент. 44

Владимир Лазарев.

Сестры Цветаевы. Эссе. 53

Алла Страшнова.

В поисках Анастасии Цветаевой. 54

Борис Гаврилов.

После Тарусы. 57

Белла Ахмадулина.

«Дорога на Паршино, дале – к Тарусе...» Стихи. 64

«Т.С.» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Константин Циолковский.

«Мы с ним повстречались в далёком

„когда-то“...» Из воспоминаний

Лидии Каннинг (1961). 70

Ольга Панченко.

На калужском перекрестке.

Исторический очерк. 80

Надежда Мальцева.

«...Пепел родины живой». Стихи. 84

Софья Островская.

Анна Ахматова. «Блистательное имя её...» 89

Татьяна Жилкина.

Владимир Набоков. Из небытия. 96

Елена Николаева.

Молодые годы Юрия Олеши. 104

АНТОЛОГИЯ «Т.С.»

Тамара Семенова-Бенини.

Константин Паустовский.

Глава из монографии. 110

Татьяна Жуковская.

«Здесь, в Тарусе, я растворилась

в природе...»: от Италии к Тарусе.

Софья Герье в тарусском формате. 116

Наталия Мезенцева-Пушкина.

Из «Записок» правнучки А. Пушкина. 121

Варлам Шаламов.

Неизвестные страницы.

Мастерство Хемингуэя как новеллиста. 130

Юрий Левитанский.

«Благодарен ветру и звезде...». Стихи. 136

Виктор Шкловский.

Слова освобождают душу от тесноты.

Рассказ об ОПЯЗе. 142

ПОЧТА ВЕКА

Юрий Казаков.

«Четырнадцать кварталов счастья...»

Письма Т. Жирмунской. 148

Ариадна Эфрон.

«...Теплится во мне всегда Ваш огонек –

как свечечка с рождественской елки».

Письма к тарусскому врачу

М. М. Мелентьеву. 156

«...Таруса – этот маленький провинциальный

городок – олицетворял для него Россию».

Из переписки В. Д. Поленова

и Л. В. Кандаурова (1910–1917). 166

«Т.С.» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Отец Владимир Зелинский.

Детство и царство. 178

Ольга Постникова.

«...До седьмого пресветлого дня». Стихи. 185

Борис Крячко.

Оборванная сюита. Десять лет спустя.

Корни. Отрывок из повести. 190

Александр Гордон.

Таруса – Ладыжино. Сценарий «Убийцы».

Андрей Тарковский в Тарусе. 200

Наталия Семенина.

Тарусское лето Петра Семенина. 204

Валентина Ботева.	
«...В сплетение слов и дыханий». <i>Стихи.</i>	
<i>Графика к роману М. Булгакова</i>	
«Мастер и Маргарита».....	207
Семен Липкин.	
Распад сердец. <i>Стихи.</i>	
<i>Л. Чуковская, А. Солженицын,</i>	
<i>И. Бродский о творчестве поэта.</i>	213
Татьяна Рыбакова.	
«...Поняла ветер».	
<i>Художница Ева Левина-Розенгольц</i>	218
Софья Богатырева.	
Мой первый Самиздат.	
«Голубая книга» <i>Осипа Мандельштама</i>	220
Виктор Кузнецов.	
Поколение Юрия Трифонова	224
АНТОЛОГИЯ «Т.С.»	
Павел Антокольский.	
«Прошное еще предстоит»	227
Вероника Лосская.	
Служение родине...	
<i>Марина Цветаева об отце</i>	231
Юрий Домбровский:	
Ното Liber – человек свободный	238
Екатерина Короткова-Гроссман.	
«...Человек не просто значительный,	
но и необыкновенный». <i>Василий Гроссман</i> ...	247
Юлий Даниэль.	
«...Лицо потерянного рая».	
<i>Из стихотворений шестидесятих годов</i>	254
Всеволод Иванов.	
Кавказский пленник. <i>Рассказ</i>	261
Александр Ревич.	
<i>Поэмы.</i>	267
Лариса Миллер.	
«...И огненно настурция цветёт». <i>Стихи</i>	273
«Т.С.» ПРЕДСТАВЛЯЕТ	
Юрий Карякин.	
Из переделкинского дневника	277
Лев Аннинский.	
Удары шпагой.	
<i>Воспоминания о Георгии Владимове</i>	288
Виталий Амурский.	
О сборнике с легендарной судьбой.	
«В краю её Величества...» <i>Стихи</i>	297
Русский художник с европейской	
культурой.	
Николай Дронников.	
<i>Бёхово. Из воспоминаний</i>	300
Игорь Шедвиговский.	
«Меня зовут Булат...»	304
Александр Майсюк.	
Простой романс сверчка	305
Булат Окуджава.	
«...Счастлив, что живу»	310
Александр Половец.	
Неистовый Аркадий... ..	314
Галина Данильева.	
«...Твоих холстов не общего убранства».	
<i>Художник Файтель Муляр.</i>	317
Анатолий Берлин.	
Поэтическая Россия.	
Взгляд из «прекрасного далёка»	322
ТАРУССКИЕ ЧТЕНИЯ. СТИХИ	
Евгений Аверьянов	329
Нина Адлаван.....	330
Ирина Алексеева	330
Андрей Анпилов	332
Александр Кацура	333
Петр Краснощёков	335
Татьяна Недзвецкая	337
Юлия Покровская	338
Николай Панченко.	
Таруса – всхожее жито	
для «разумного, доброго, вечного»...	
<i>Из записных книжек</i>	339

Художественное оформление и макет М. Гольдман
Верстка Е. Метченко
Корректор А. Сидорова

Дом-музей
Цветаевых
в Тарусе



Фотографии Бориса Барбараша

На Оке



Памятный камень
на берегу Оки



ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика, литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию
свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения,
которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных
или политических ограничений.

В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус, В. Гроссмана,
Ю. Домбровского, Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна, С. Левицкого,
Н. Лосского, В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России
журнал будет следовать прежним принципам,
в первую очередь публикуя произведения,
помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом
традиций российской культуры.

Journal «Grani»

Журнал ГРАНИ – 2012

№ 241–242, №243–244

с цветными иллюстрациями

«ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ»

третий выпуск

спустя пятьдесят лет

I том – № 241–242

II том – № 243–244

**Для оформления подписки,
писем и сообщений:**

GRANI

BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE

CEDEX 94431

FRANCE

Представители:

РОССИЯ

**T. Zhilkina
17, Milashenkova str., app. 61
127322, Moscow
E-mail: grani.08@mail.ru**

АМЕРИКА

**K. Troosh
600 Fifth Ave
San-Francisco CA 94118
E-mail: katia@katias.com**

ФРАНЦИЯ

**N. Fedorovsky
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57**

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**